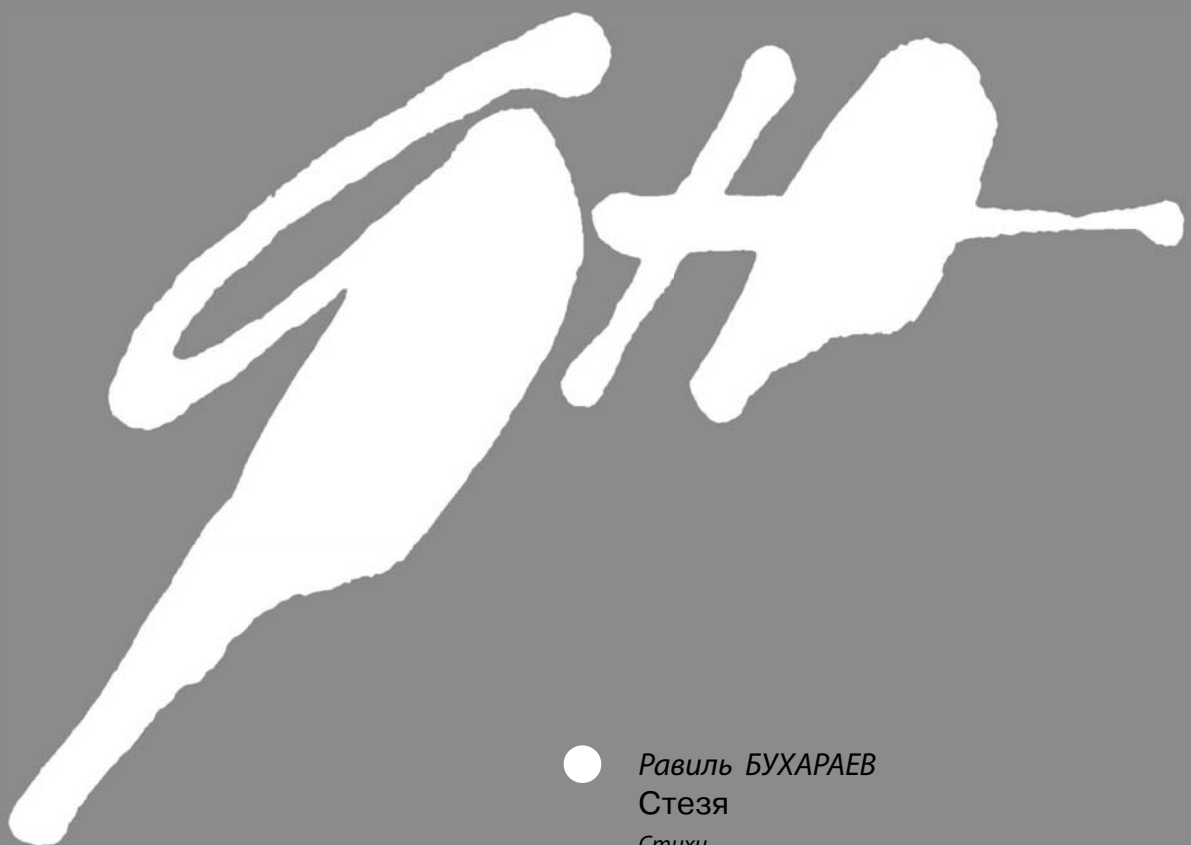
ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ



Равиль БУХАРАЕВ
Стезя
Стихи

Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ
Энергия страха, или Голова желтого кота
Роман. С туркменского

Светлана КЕКОВА
Плащ с двойной подкладкой
Стихи

Евгений АЛЕХИН
Подробности одиночества
Повесть

Владимир ДЕГОЕВ
Северный Кавказ: исторические очерки

ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2011

4'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

4'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Равиль БУХАРАЕВ. Стезя. *Стихи* **3**

Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ. Энергия страха, или Голова желтого кота. *Роман. С туркменского. Перевод Сергея Баймухаметова* **6**

Светлана КЕКОВА. Плащ с двойной подкладкой (*из старых тетрадей*). *Стихи* **99**

Евгений АЛЕХИН. Подробности одиночества. *Повесть* **103**

Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Воробьиное царство. *Стихи* **117**

Алла БОССАРТ. Сад Ренессанса. *Рассказ* **122**

Алексей ПОРВИН. Роднее всей слезной соли. *Стихи. Вступительная заметка Евгения Абдуллаева* **131**

Нация и мир

Геннадий РУСАКОВ. Мой друг Саид **134**

ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Владимир ДЕГОЕВ. Северный Кавказ: исторические очерки. *Историко-этнографическая экспозиция* **146**

Публицистика

Юрий ВЭЛЛА. Ставь чум выходом к солнцу. *Художественно-этнографический мотив* **160**

Виктор ДЯТЛОВ. «Граждане ближнего зарубежья» и другие… *Динамика формирования стереотипов* **166**

Критика

Георгий КУБАТЬЯН. Внесистемная единица.
Заметки о книге Мариам Петросян **187**

Книжный развал

АндрейПУСТОГАРОВ. ВорошиловгрАД, который всегда с тобой **200**
Евгений АБДУЛЛАЕВ. Полет в себя **203**
Игорь ПАНИН. Спасительное неумение жить **206**
Владимир ОГНЕВ. На распутье эпох **208**
Александр ЗОРИН. Плотность культурного слоя **212**
Даниил ЧКОНИЯ. Разбирается сердце на краски **214**
Александр СЕНКЕВИЧ. Городлюдей **217**

Эхо

Счастливый случай... *Рубрику ведет Лев Аннинский* **220**

Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ **(МФГС)**

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Равиль Бухараев

Стезя

Увенчание Пушкина в садах Сололаки в Тифлисе

Грузинские розы, в руке — виноградная гроздь;
венок на курчавую голову — пир в полумраке.

За вечное празднество духа, за рабскую плоть
любите меня на рассвете в садах Сололаки!

Награда едина, и жизнь так мгновенно проста!
За вечную праздность в союзе любви и печали,
за горечь хмельную и слезы — венком увенчали.
Как звездная Азия пряно целует в уста!

Но рабский восторг обещает мне храм на крови.
Меня вы поймете едва ли, поймете едва ли...
Так чьи же молитвы возносятся в горние дали,
чтоб в мокром бокале журчал так тревожно Аи?

Не смерть ли моя разрезает набухший гранат?
Мое ли бессмертье восходит зарей над Кавказом?
Мой горный венок! — и увенчанный чувствами разум
в заветной дремоте отныне не просит наград.

Лукавый венок! Никакого не нужно названья
для жизни и смерти: почтим равновесье в судьбе.
Морозные розы венка или слезы признанья
останутся равно в садах на рассветной траве.

Так пойте и пейте! В божественном, смертном краю
умру и воскресну! За жизнь в умирающем злаке,
за рабскую верность, за бедную душу мою
любите меня на рассвете в садах Сололаки!

Бухараев Равиль — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1951 году в г. Казани. Окончил механико-математический ф-т Казанского ун-та (1974) и аспирантуру МГУ по кибернетике. Пишет стихи на русском, татарском, английском и венгерском языках. Печатается с 1969-го. Автор более 20 книг стихов и прозы. Переводит татарских поэтов. Составитель ряда поэтических антологий и исторических монографий на англ. языке. Лауреат Гос. премии Республики Татарстан им. Г.Тукая за поэтическое творчество. С начала 1990-х продюсер на русской службе Би-би-си. Живет в Москве и Лондоне.

Дикая лоза

Едва сомкну глаза, как озаренно снится
природная лоза: лиана-кровопийца,
дикорастущий бес.
Задушено величье:
терзай абхазский лес,
корми гнездовье птичье!

Сон: зелень хороша и на стволе обвитом.
Сон: чаща — что душа, бессмертная самшитом.
Сон: царствует озноб, какого не нарушу.
Сон: и высокий лоб не исцеляет душу.

Нужна самшиту дрожь, хоть плоть его железна.
Лианы не тревожь — работа бесполезна:
лоза взрастет сама, но сквозь века и грозы,
сквозь мерный труд ума и рук метаморфозы,
впиваясь в телеса смоковницы нелепой,
смущая небеса живучестью свирепой...

О, дикая лоза, утеха человека!
И грозная слеза сползает из-под века.

Воронка солнца

Въезжала молния с разгона
В утес над пропастью сырой,
Жилье таежного кордона
Высвечивая под горой.

Шумели мокрые березы,
И, лодкой реку бороздя,
Под кров Герасима и Розы
Мы завернули от дождя.

Аил — кедровый шестигранник,
Где в центре — кованый таган...
Здесь каждый осторожный странник
В почете, как Бильге-каган.

В пространстве этом еле зримом,
Вокруг укромного огня
Не очень громко пахло дымом
И кислым духом чегеня,

Но за глаза хватало света
Для чаепития и мне
И тем, кого лучи рассвета
Не застают на топчане.

Я оценил удобство крова,
Но ускользала с дымом суть...
«Алтайца жизнь была сурова,
затем открылся светлый путь», —

но я, взрослея, не в бреду ли
почел за счастье и за честь,
как бы вставая на ходули,
казаться выше, чем я есть?

Ведь, кроме искуса причастья
к чужой судьбе своей судьбой,
сейчас не знаю выше счастья,
чем быть в ладу с самим собой...

Я засыпал. Кончая дело,
Сшибались лбами облака,
Река, как вечный ливень, пела,
А ливень лился, как река,

И кров — хибарка без оконца —
Отверстый в космос наверху,
С зарей предстал — Воронкой Солнца!

Я видел, лежа на меху:

На угли очага живые,
Как поколения назад,
Летели ливни световые,
Летел наклонный солнцепад!

Аила скудное убранство
На звонком солнечном свету
Обозначало постоянство,
Необходимость, простоту,

Где радости и лихолетья
Сплетались в ежедневный труд,
Где протекли тысячелетья,
Да и сейчас еще текут!

Многоэтажный вспомнив улей,
На землю возле очага
Я встать решился без ходулей,
И твердь освоила нога;

Бил свет сквозь верхнее отверстье,
И — беспощадно, наяву
Я ощутил свое столетье,
В котором грежу, но — живу!

Чем завершится эта проза?
Когда мы покидали кров,
Герасим был в тайге, а Роза
Доила трех своих коров.

Тиркиш Джумагельдыев

Энергия страха, или Голова желтого кота

Роман

С туркменского. Перевод Сергея Баймухаметова

Соотечественникам, ушедшим из жизни, так и не увидев свободу.

1. Сон

Когда Абдулла очнулся, он услышал крик дочери.

— Мама! Мама! Иди сюда!

Краем сознания отметил, что Айдым кричит по-туркменски. Обычно дома, с ними, она разговаривала на русском. Испуга в ее голосе не было, скорее удивление и радость.

— Мама! Папа проснулся!

Абдулла повернул голову, хотел спросить, что случилось, но дочь уже пулей вылетела из комнаты.

Настенные часы показывали без десяти пять. Уж наверняка ночи, а не дня. В таком случае, почему Айдым не спит, а сидит возле него?

Абдулла огляделся. Он лежал в большой комнате, на диване, накрытый пледом. Да, вчера вечером он здесь смотрел телевизор, московский телеканал НТВ. Вспомнил, что закончился выпуск новостей, красавица Миткова попрощалась...

И — все. Обрыв. Ни звука, ни изображения, даже черноты — полное отсутствие чего бы то ни было. Впрочем, всплыли какие-то картинки, похоже, из сна. Ну и слава аллаху, а то как-то совсем уж не по себе.

Абдулла поднялся, распрямил плечи, развел руками в стороны. Вроде бы нигде ничего не болит.

В комнату стремительно вошла Сельби, на ходу просовывая руки в халат. За ней дочь.

— Как же ты напугал нас! — запричитала Сельби, впрочем, не без укоризны.

— Чем напугал? Что с вами?

Абдулла сел на диван. Айдым пристроилась рядом, прижавшись к нему и одновременно заглядывая в лицо. В глазах ее не было испуга, а, наоборот, мелькали смешинки. Ну, значит, ничего страшного.

Тиркиш Джумагельдыев (род. 1938) — туркменский прозаик. Начал печататься в 1957 г. Автор многих повестей и романов («Компромисса не будет», «Невестка», «Спор», «Земля помнит все», «Потерянный» и др.). Во времена СССР был постоянным автором «ДН». За все последующие годы — единственная публикация: очерк «Раздумья на краю туркменского кладбища» (№ 6, 2001).

Светлана Кекова

Плащ с двойной подкладкой

(из старых тетрадей)

* * *

Мать в лесу ребенка нянчит,
у нее цыганка клянчит:
«Дай копейку, дай пеленку,
погадаю я ребенку!».

Червь в лесу деревья точит,
птица мелкая поет.
Кто нам голову морочит,
жить спокойно не дает?

Путник в греческом хитоне
в лес собрался по грибы,
на его видны ладони
иероглифы судьбы.

Каждый символ что-то значит:
вот — земля, а вот — огонь…
Но в глубоких складках прячет
человек свою ладонь.

Плащ надев с двойной подкладкой,
он не хочет в мир иной,
он доволен кисло-сладкой,
горькой участью земной.

Крепнет капель перебранка,
гриб под деревом торчит,
спит ребенок, а цыганка
то хохочет, то молчит.

Тишина сродни безлюдью,
дождь подобен молоку,
черный ворон кормит грудью
вороненка на суку.

И, имея смерть в резерве,
что же в жизни видит он?
В небе — кресты, в сердце — черви,
темный лес со всех сторон.

И человек, и мошка

Мир сей сложен, и посему смертен.
св. Василий Великий

1.

Мир смертен, потому что он непрост.

Луна встает над миром в полный рост.
Ты говоришь: «Луна встает над миром
и тянет к нам прощальные лучи…».
Я отвечаю: «Лучше помолчи,
не то она проявит сходство с сыром,
А взглянет вверх узбек или чуваш —
появится чурек или лаваш!»

Луна лежит, как пресная лепешка,
а рядом — соль рассыпанная звезд.

Мир смертен, потому что он непрост —
в свой час умрут и человек, и мошка.

2.

Как фолиант, зачитанный до дыр,
внезапно превращается в жилище
твоей души,
так весь подлунный мир
для человека есть источник пищи.

Смотри вокруг — и зрение насыть,
корми любовью слух и осязанье…

В реке подвижной рыбам легче плыть,
вода для птиц страшна, как наказанье
за их грехи.
Воды зеркальный ад
внезапно поглощает тело суши.
и рыбы не плывут, а вверх летят,
ведь рыбы — птиц загубленные души.

3.

Голодным ли мерещится съестное
иль сытый размышляет о еде,
когда сосна, как существо лесное,
пугливо отражается в воде?

* * *

«В колыбель ко мне прилетал коршун», —
говорил некогда Леонардо,
и в руке левой сжимал ковш он,
и со шкуры мертвого леопарда

он смывал пятна, он звезды в небе
истреблял, он мертвых искал в Эребе,
а простому смертному не по чину
знать тоски тайну, любви причину.

Мы собой коршунов зря кормим,
подставляя клювам уста, очи:
нужно вырвать страсти свои с корнем,
чтобы смыть пятна с лица ночи.

Нужно, друг мой, крепким быть в вере,
нужно в доме плотно закрыть двери —
Бог уже не изменит Своей позы,
а из глаз Бога текут слезы…

* * *

памяти Иосифа Бродского

Путь отреченья, путь соблазна и поздней страсти жар и бред...
Зеркальна и шарообразна тьма, обступающая свет.

В России снег печальный выпал. Не он ли на глазах у всех
золой забвения засыпал твое молчание и грех?

Сестра, покинувшая брата, расколотую воду пьет,
На губы спящего Сократа приносят пчелы сладкий мед.

В краях, где Бога узрит инок, где сын встречается с отцом,
топя забвенье в сладких винах, мертвец пирует с мертвецом.

То, что для нас — любовь и память, для них, быть может, — смерть и яд...
Молчаньем время обесславить не так уж трудно, говорят.

Молчит чело, и грудь, и плечи. Ты вечность переходишь вброд,
И смертным медом русской речи испачкан твой, Иосиф, рот.

Ангел бедный

1.

Ангел бедный,
ангел чудный,
лес мелькает изумрудный
за стеклом немытым.
По дороге поезд мчится,
птица Аль в стекло стучится,
словно конь копытом.

В небесах, как соглядатай
месяц прячется рогатый,
злобный, бородатый,
и в пальто, подбитом ватой,
в лес идет купец богатый
и стучит лопатой.

Землю мерзлую копает
так, что к телу прилипает
рваная рубаха.
Говорит он: «Мне обидно,
что в лесу сыром не видно
ни жида, ни ляха».

Ангел чудный,
ангел бледный,
отчего ты плачешь, бедный,
слез не унимаешь?
Ах, кого Господь спасает,
а кого Господь бросает —
ты не понимаешь...

2.

Ангел мой, как ножик скользкий
глаз твоих разрез монгольский!

Тракт проедем Вольский,
полуостров срежем Кольский,
попадем мы в город польский,
в магазин посольский.

В магазине — сыр в корзине.
шляпы, туфли на резине,
молоко в бидоне,
сигареты в мятых пачках,
пыль на плюшевых собачках,
мелочь на ладони.

Что ты купишь — зонт японский
или длинный волос конский?
Горько плачет Анна,
на лошадке скачет Вронский,
и луна, как знак масонский,
в небесах туманна...

* * *

Мы таинственным даром владеем —
И Орфей не спускается в ад.
Но растениям, как лицедеям,
Дан приказ начинать маскарад.

В этом райском преддверии ада
Раздевается кленов толпа,
Ты под льющийся вальс листопада
Повторяешь нехитрые па.

Все невидимым солнцем согрето,
Еле движется рыба в реке,
Мир бредет, как безумная Грета,
С котелком и корзинкой в руке.

А зима ухмыляется нагло,
Приподняв подведенную бровь:
«Воля к власти над словом ослабла
И покинула душу любовь».

И художник с кричащей палитрой,
Тайно любящий краску одну,
Как Орфей, не сумеет молитвой
Усмирить ледяную волну.

Но, небесному пению вторя,
Где-то в жизни и в смерти иной,
Лик блаженства с морщинами горя,
Как светило, взойдет надо мной.

* * *

Смотрю в окно — выходит он,
живущий в нашем околотке,
горбун и ангел, фараон,
гребец на похоронной лодке.

Идет по улице к реке.
Вдали горы дымится кратер.
Как губы в женском молоке,
испачкан белой краской катер.

Понятный, как немой укор,
ты, рыцарь, не привыкший к латам,
прилежно заведя мотор,
поводишь вдруг плечом крылатым.

Тут издает протяжный вой
Анубис, раненный навылет…
А над моею головой
строгают, рубят, режут, пилят.

Любовь, как муха в янтаре,
сказавшись мертвой и невинной,
на Лысой прячется горе,
на Соколовой, на Алтынной.

И выступает кровь из пор,
покуда, надвое расколот,
спит у подножий мертвых гор.
с рекой обнявшись, вечный город.

Евгений Алехин

Подробности одиночества

Повесть

Мы произошли от динозавров, мы охотники, хищники. Поэтому убиваем и едим животных. Чтобы не причинять вреда друг другу, и по-другому никак.

Артем, менеджер, 23 года

— три —

Сонный, я встал, проводил жену до двери и рассеянно поцеловал в губы.

— Пока, пупсик, — сказала она, — я люблю тебя.

— Пока, — ответил я.

Закрыл за ней дверь и остался один. Звуки работающего холодильника, еле уловимые перемещения соседей сверху, отголоски улицы — подчеркивали многозначительную тишину и важность минут, часов, суток, которые я проведу в одиночестве.

Я чуть постоял в коридоре, прислушиваясь к этой многозначительности, и снова лег в постель.

— Жены не будет три дня, — сказал я себе, предельно тщательно проговаривая в уме каждое слово, — за это время нужно все решить.

Хотелось отключиться и проснуться с ясной головой и планом, куда жить, но сон не шел. Тогда я решил начинать день. Ополоснул лицо холодной водой, почистил зубы и язык. Стоял перед зеркалом — я не был похож на пупсика, скорее на уставшую и преждевременно стареющую обезьяну с больной душой. Настроил температуру воды, переключил на душ, забрался в ванну и задвинул занавеску. Так можно было стоять сколько угодно. В этом закрытом мирке.

— Три дня, — произносил я снова и снова, намыливаясь и смывая с себя пену, прогревая свои мышцы и кости теплой водой, — три дня, три дня, ее не будет три дня.

Жена оставила мне пятьсот рублей. Я говорил, что ничего не надо оставлять — продукты дома были. Сам я даже не собирался выходить все это время. Собирался сесть и слушать себя. Или лучше лечь, закрыть глаза — и ждать, когда мне станет ясно: я люблю ее или больше не люблю. Только закроется дверь, и я призову помощь зала и помощь космоса, все взвешу и во всем разберусь.

Что-то произошло.

Сломался, последнее время я лежал с ней рядом ночи напролет и смотрел в потолок. Шестеренки работали, поршень не давал сбоев, но либидо и, может, душа — с ними было не так. Может быть, причина в том, что я не работал уже третий месяц. Вроде находил подходящую вакансию, записывался на собеседование, но меня не брали. Прочитывали в моих глазах, что я о них думаю.

Алехин Евгений Игоревич родился в1985 году в Кемерове. Жил в разных городах России, сменил несколько институтов и профессий, но диплома о высшем образовании так и не получил. Пишет прозу с 2003 года, был финалистом литературной премии «Дебют» (2004) и премии имени «Бунина» (2008). Первая книга «Третья штанина» выходит в апреле этого года в издательстве «ЭКСМО».

В настоящее время живет в городе Щёлково, работает в Москве техническим писателем на интернет-сайте.

Корпоративные фашисты, думал я. Мне бы только залипнуть на нижней ступеньке карьерной лестницы, думал я, поднабраться сил и восстановить баланс, а потом снова очнуться и бросить вас при первой возможности.

Но все же и чувствовал, что мне нужно влиться в систему ненадолго. Чтобы почувствовать себя человеком хотя бы настолько, чтобы снова сойтись — как раньше — со своей женой. Только не сходясь с женщинами близко можно оставаться животным и не испытывать чувства вины. А когда ты с одной женщиной и нет работы и нет желания скорее вернуться домой с работы — то нет и уверенности в себе, читай, нет мужества.

Но дело не только в этом.

Жена лежала рядом ночами. Что это за человек? Теплая, нежная, преданная, — спала. Днем она любила меня, зарабатывала деньги, отдаленно планировала родить ребенка (размножиться) и впадала в мгновенное отчаяние при мысли, что я уйду. А ночью спала, обнимая меня во сне, пока я смотрел в угол темноты и хотел исчезнуть. Зачем же мы друг другу, если все это случайность? Я должен встать и уйти и жить как-то дальше, не мешая тебе, ничего не будет, думал я, молодость прошла.

Куража не будет, я не смогу поцеловать собственную жену, не смогу поцеловать взасос, не смогу поцеловать, как можно целовать только единственную желанную женщину.

Ладно, сейчас уже нужно было выбраться из дома и подумать «ногами». Я взял деньги, пятьсот рублей, прошелся из комнаты в кухню, зачем-то заглянул в холодильник. Привычка заглядывать в холодильник: раз — перед уходом, два — когда вернусь. Просто заглядываю и не думаю. Что-то там вижу или чего-то не вижу, как робот, тут же, как правило, закрываю без всяких выводов. «А чего я там ищу?». Да, может, я и есть робот и бываю счастлив только во время тяжелой работы? Это так, просто у меня какой-то сбой программы, что начальники кажутся мне мудаками.

В холодильнике была водка. Я отметил это зачем-то — подозрительно подчеркнул, хотя и как будто самым дальним внутренним голосом. Я уже довольно давно бросил пить. Бутылка осталась от гостей, приходивших неделю назад. Сам я теперь на вечеринках пил только пиво «Бавария Мальт» с содержанием алкоголя ноль целых ноль десятых.

* * *

Я прошелся до метро, пытаясь вдохнуть раннюю весну и эту капель, перешел Широкую улицу и повернул обратно к дому — только по другой стороне.

Можно было зайти в кинотеатр, там убить часть времени и денег, но одному смотреть кино в темном зале чужих людей казалось жутким. Да и не так я люблю кино. Последнее время я не читал, не смотрел, только все копался в мусоре, сортировал его, но порядок навести в голове не удавалось. Ну и готовил ужин, жена приходила с работы, рассказывала, как прошел день, и мы ели.

Я зашел в магазин «Патерсон». Может, фруктов купить, не знал, чего хочу. Прошелся через несколько отделов, так, с корзинкой. Сердце мое замерло — я автоматически боковым зрением следил за охранниками. Я теперь, как правило, воровал продукты, покупая только то, что подешевле и занимает достаточно места на ленте перед кассой: в основном крупы, хлеб и питьевую воду. То, что дороже, — грибы, салат из спаржи, соевый соус, орехи, хороший сок, хороший чай, мед — потихоньку распихивал по отделам сумки и карманам, гуляя по залу. Так я поступал, потому что почти семнадцать из двадцати четырех тысяч зарплаты жены уходили на оплату квартиры.

Наверное, можно было бы прожить и без воровства, если грамотно все продумывать. Ведь пропитание двух вегетарианцев обходится дешевле, чем пропитание двух трупоедов. Но мне не хотелось, чтобы жена чувствовала разницу между теми месяцами, когда я работал, и новыми временами, когда я безуспешно пытался работу найти. Хотя она как будто была готова посадить меня на шею и ждать столько времени, сколько мне понадобится.

Мое внимание привлекла акция: вермут «Чинзано» — сто девяносто девять рублей бутылка. И я вдруг резко решил, что напьюсь. То есть решение это назревало с тех пор, как я увидел водку в холодильнике, а теперь я его осознал и распробовал.

Мне нужно немного отравиться, я слишком долго пытался стать чистым и здоровым, настолько долго, что перегнул палку.

Как все просто — взять и напиться.

Две бутылки я положил в корзину, прошел до отдела с салатами. Выбрал себе винегрет — уже упакованный — триста граммов за тридцать шесть рублей. Потом до отдела с крупами — упаковку геркулеса за десять девяносто. Винегрет и геркулес мне нужны не были, просто редко я решался что-то украсть, ничего не купив. Потом ушел в бытовую химию и переложил бутылки вермута в сумку. Огляделся — меня никто не пас. Можно было идти к кассам.

Выбрал самую маленькую очередь. Когда освободилось место, положил на ленту винегрет и геркулес. Впереди меня человек расплатился. Кассирша провела мой товар — и я уже собирался платить за малое и уносить бухло, но вдруг у меня защекотало в животе, так стало невыносимо, даже давление в голову стукнуло от напряжения.

«Я же собираюсь воровать бухло!» — мысль, вспышка отвращения к самому себе.

И я раскрыл сумку, чтобы вытащить две бутылки. Кассирша вылупилась на меня, но ничего не сказала. Считала штрих-коды с вермута, а я протянул пятисотку.

— Пакет надо? — спросила она.

— Не надо, спасибо, — сказал я, засовывая бутылки обратно в сумку. Бутылки, потом винегрет и геркулес.

Она тщательно осмотрела купюру под ультрафиолетом и выдала мне сдачу: пятьдесят шесть рублей N копеек, которые я отдал первому пьянице, собиравшему себе на анестезию возле магазина.

Как только зашел в квартиру, не разуваясь, достал бутылку и сделал несколько глотков.

Все произошло, как я и ожидал. Как будто не было этого года. Как будто я бросил пить только вчера. Яд легко прошел внутрь и сразу расположился в моем теле: «я дома».

— два —

Проснулся я совершенно разбитым, помятым, отравленным. Похмелье было неожиданно сильное — желудок ныл, предупреждая о неминуемом поносе. Я сходил на кухню, выпил воды и снова лег.

До вчерашнего дня я не пил примерно год. Вегетарианцем был месяцев десять — тут я взял пример с жены. Из них шесть месяцев веганом — тут я пошел дальше ее.

Помнится, раньше я почти не болел с похмелья, если пить один день. Как сейчас, я чувствовал себя только после трех-четырех дней куража. Значит, вот как ложится алкоголь на веганство: плохо ложится. Сейчас я валялся, то ныряя в потемки, то выныривая обратно и вглядываясь в резко переломанный вчерашний день.

Так, сначала я пил чинзано с соком, потом стал добавлять в коктейль водку. Потом сок закончился, и я стал мешать новый коктейль: чинзано, водка и вода из фильтра, а потом уже просто чинзано и водка, пятьдесят на пятьдесят. Целый день выпивал, что-то ел, сидя за компьютером.

К ночи я был пьян как ноль. Нашел сигареты, когда-то оставленные гостями, курил, слушал музыку и барахтался на волнах Интернета, как бухая рыбина.

Я и забыл, какое обостренное чувство одиночества дает отравление алкоголем. Просыпаешься утром — кусок оголенного провода, выброшенный на задворки жизни. Просто невозможно быть одному. Эрекция и желание быть любимым — жалобный стон, который хочется заглушить первыми попавшимися объятиями.

Мне просто срочно нужно с кем-то поцеловаться.

Я решил, что постараюсь провести с кем-то время. Выйти, не знаю, прогуляться с какой-нибудь девушкой и попробовать ее поцеловать. А все мысли о жене старательно задвигал. Как-то неожиданно легко я переключился в иной режим существования и, хотя знал, что так происходит только потому, что организм отравлен, меня меньше волновала моральная сторона, чем необходимость получить дозу алкоголя и

плотской любви. Как если бы резко развернулся и пошел вместо стороны «А» в сторону «минус А».

Сел за ноутбук — он так и остался невыключенным после моей пьянки в стиле «Интернет-бар "Креведко"».

Ладно, проверил почту, проверил новые сообщения на сайте «вКонтакте ру». Ничего интересного не пришло.

Тогда я вбил свое имя на яндекс-поиске по блогам. Я так постоянно делал – вдруг кто-то напишет обо мне в своем блоге, но, как правило, никто ничего не писал. Кроме одного неясного поста на «Твиттере». Собственно, я уже месяц почти каждое утро натыкался на этот пост. Единственный пост, героем которого, возможно, был я.

Девушка писала, что не видела меня (моего полного тезку?) с сентября месяца. И после добавляла: «глупая Лина». Вот и все.

У меня было подозрение, что это могла быть знакомая, с которой мы вместе работали летом в магазине одежды — Галя. Я решил, что, может, это она так вот исковеркала свое имя — убрала первый слог из имени «Галина» — чтобы кавалеры кругом сходили с ума, вертелись подле нее и произносили нежно эротичное «Лина». Галя мне казалась одной из тех девушек, которые любят всю эту ерунду, интересных людей, быть в центре внимания, слушать комплименты. «Лина» — она могла бы додуматься до такого идиотизма. У меня лично была ассоциация лишь с одной порноактрисой, и не очень, на мой взгляд, хорошей.

Ну да, скорее всего это была она, Галя. Первое время мы переписывались на «вКонтакте», когда она уволилась (студентка, устраивалась только на лето, я же отработал в этом магазине до зимы), а потом от нее больше не было вестей, и я удалил ее из «друзей». Я всегда так делаю, если перестаю с кем-то общаться, не хочу, чтобы «друзья» в сумме переваливали за полтинник.

* * *

Я основательно посидел на унитазе, принял душ, выпил две чашки зеленого чая и позавтракал овощной смесью «Хортекс». В целом полегчало, но желание срочно оказаться в объятиях женщины не оставляло меня. Я бессмысленно переходил со страницы на страницу в Интернете и прикидывал способы снова напиться. Хотелось пойти в гости.

В ICQ сначала и поговорить было не с кем. Я иногда открывал список контактов, проглядывал его и убеждался, что никто, с кем бы я, возможно, захотел провести сегодня время, еще не проснулся.

Но вдруг обратил внимание: Tytyulechka в Сети. Это была моя старая знакомая по институту — Инна. Симпатичная девушка, хотя и немного блядь, я не знал, чем она занималась сейчас и где жила. Мы не виделись с тех пор, как я уехал в Москву. Иногда она мне напоминала о своем существовании, кинув какую-нибудь бесполезную ссылку или поздравление с дебильным праздником.

Да, было, в институте я как-то пытался приударить за ней, но ничего из этого не вышло — она меня не захотела.

«Привет. Как сама?»

Скоро я узнал, что Инна тоже живет в Москве уже несколько месяцев. Это на меня резко подействовало, и я стал нести какую-то совершеннейшую пургу. Что часто думал о ней, что дико желал ее раньше, что желаю до сих пор. В общем, у меня почти сразу поднялся член и помутнел рассудок от возможности секса прямо сегодня, и от того, что я Инне печатал, и еще больше от того, что при этом воображал. Она сначала была немного отстранена: «полегче-полегче», но потом подтаяла. Я даже сказал, что был влюблен в нее и, возможно, сейчас это чувство не умерло. Она отказывала мне раньше, потому что я казался ей слишком умным, ответила она. Это ее в мужчинах отталкивало, ей нужны были самцы, быки-осеменители, которым философские вопросы не мешают ставить пистоны.

«ДА ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ МНЕ!»

Хотя до этого момента никто ни разу не упрекал меня за излишек ума.

Все годы учебы я внутренне дымился, думая о ней, и никакой тебе взаимности, — упрекал я. Ладно, чтобы дать мне остыть, она спросила, чем я занимаюсь. Я сказал, что почти ничем. О женитьбе, само собой, рассказывать не стал, но зачем-то расска-

зал ей, что умею воровать продукты и даже шмотки, поэтому получается сводить концы с концами. И это ее, похоже, сильно заинтересовало.

«Вот это заводит», — написала она.

Готово, решил я. Дело в шляпе.

И сказал, что я с радостью научу ее этой игре. Нас ждут страстные и авантюрные времена, полные сексуальных приключений, полушутил я. Она этого хотела, это ее заводит, отвечала Инна.

Какая дура, ликовал я, стуча по клавишам.

«Ты сегодня работаешь? Когда я могу приехать к тебе?»

Наверное, от меня можно было прикурить в этот момент.

«Я сейчас по делам не в Москве, давай встретимся в понедельник», — ответила она.

У меня моментально все опало. Инна нужна была мне строго сегодня. Я почувствовал себя полным идиотом, представляя, как это выглядело со стороны. Целый час истекал слюной, сидя за клавиатурой и дымился, как больной старикан под действием волшебной таблетки, предвкушающий последний и самый главный трах в его никчемной жизни.

Гори в аду, tyutyulechka, чертова дурища, подумал я и выключил ICQ не попрощавшись.

* * *

Я лежал на диване и листал список контактов, записанных в сотовом телефоне. Даже и не подозревал, но оказалось, что у меня сохранен номер Гали (Лины?). Я проверил баланс — денег хватало как раз на одну смс. Написал ей на латинице, чтобы уместить текст в тело одного сообщения:

«Eto ty napisala pro menya post ot imeni Lina? U tebya cho-to est' ko mne?»

Пока ждал ответа, успел выпить чай и еще раз почистить зубы. Ответила она нескоро, наверное, спала или училась.

Но ответ пришел:

«Да, я. Чтоб тебя не обидеть, скажу, ты достаточно красив, чтоб иногда вспоминать тебя».

Мне понравилось, что она ставит знаки препинания в смс. Хотя ничего особенного, она вроде училась на иностранных языках. То есть прежде, чем начать учить английскому, немецкому и французскому, должно быть, их проверяют на знания русского языка. Я собирался написать ей смс с Интернета, но сайт МТС не загружался, и я отправил ей просьбу перезвонить. «Скинул бомжа».

Она позвонила сразу.

— Может, тогда погуляем по какому-нибудь торговому центру? — спросил я сразу, без всяких приветствий.

— Торговому центру? — уточнила Галя, чтобы получить маленький запас времени. Ну да, она привыкла, когда спрашивают: «Как дела, красотка?!». А потом говорят: «И, правда, это же глупость, невозможная глупость, ошибка, что мы не виделись с самого сентября!»

Я сказал:

— Ну да. По торговому центру, чтобы поднять мне настроение.

Потом все-таки сдался и добавил:

— Да, мне нужна одна небольшая красотка по типу тебя в компанию.

Договорились встретиться в ТЦ «Европейский» в три часа дня.

Я побрился и не сразу решил, что мне надеть. Шмоток у меня было довольно много, раньше часто покупал, а когда работал в модном магазине одежды, там выдавали форму раз в два месяца. То есть я получил комплект дважды. Плюс мы с женой немного наворовали. Мы делали просто, так же, наверное, как делают все остальные. Когда я стоял на примерочной, то что-то подготавливал к приходу жены: джинсы или блузку для нее, кардиган, например, для себя — разбипировывал — ломал защиту от кражи. Эти биперы ломаются очень просто, если научиться. А жена выносила. Она очень милая и честная девушка — никто бы ее никогда не заподозрил в таких делах. Если я оставался на поставку товара в ночную смену — брал трусы и носки для себя и для нее. Женское прятал по карманам, мужское надевал на себя. Двое трусов и по два носка на каждой ноге — возвращаюсь домой после тяжелой

рабочей ночи. Сумки, естественно, нам, сотрудникам низшего порядка, на выходе проверяли менеджеры и охранники. Но в штаны и карманы никто не лез.

Я надел узкие черные джинсы и красную рубашку в крупную клетку. Дальше — бежевое пальто с капюшоном и белые кеды. Если долго не торчать на улице — и в кедах нормально. Мне показалось, что этот комплект одежды оптимальный, чтобы Галя со мной сегодня поцеловалась. Мысли вертелись только вокруг ее губ, она была симпатичная, да, немного похожая на еврейку и симпатичная девушка. Я уже чувствовал, как будет приятно ее поцеловать. Выходить еще рано, но я был уже одет. Поэтому я открыл окно, чтобы не было жарко, и расхаживал из кухни в комнату, трогая себя за губы и даже целуя свои пальцы, как будто это Галя.

Нужно было взять с собой немного жвачки. У нас на кухонной полке валялась краденая пластиковая коробка на много дней. Я отсыпал несколько подушек в салфетку, завернул, сложил в карман и решил выйти немного раньше времени.

В коридоре я еще раз посмотрелся в зеркало: в этой одежде выглядел очень хорошо, даже несмотря на похмелье.

На станции «Медведково» никогда не было милиции. Пост есть, само собой, но ментов нет. Через турникеты перепрыгивает тут обычно человек в минуту в людное время и человек в пять минут в спокойное. Постоянно раздаются вялые свистки старой птицы из операторской будки, но это никого не волнует. Даже интонация у этого свиста уже унылая, по которой ясно, что свистят, чтобы соблюсти глупое правило, от которого нет никакого толку. Вот и я перепрыгнул, как уже перепрыгивал тысячу раз. Вернее сказать, не перепрыгиваю, а просто опираюсь руками, отталкиваю и проношу свое тело быстрее, чем успевает сработать турникет. Он клацает уже за мной, полусонный свисток, и я иду на эскалатор.

В поезде я выбрал саундтрек к поездке. Поставил в плеере группу My Own Private Alaska — безумное скримо под медленное пианино. Вокалист вопил, как будто его жарят на самой модной сковородке: «Дай фо ми!», «Кам ту ми май литл принцес!» и многое другое, что я не смог разобрать. Мне эта подача плюс отчаянное стильное пианино нравились. Но от такого крика в наушниках, шума и скорости поезда меня быстро укачало. Видимо, еще давление поднялось, так что ближе к «Проспекту Мира» пришлось выключить плеер. Уже целый год я не носил с собой таблеток от давления, на год я забыл о них: с тех пор как бросил пить, давление меня не тревожило. Я еле перешел на Кольцевую линию и уговаривал свой организм потерпеть до станции «Киевская». В глазах потемнело, похмелье вернулось, и я уже жалел, что выбрался из дома. Чертов самец, говорил я себе. Бедный мальчик, пососаться ему захотелось. Доехал, вышел, но время тянулось очень медленно, эскалаторы на «Киевской» очень длинные, скорее наверх, но там небольшая группа ментов — сейчас-то они заинтересуются, что это за торчок в пальто — но нет, мне удалось выйти на улицу.

— Розы, покупай розы! — накинулся на меня хачик в кожанке, как будто я был ему что-то должен. Я обошел его, глубоко вдыхая воздух и уворачиваясь от идущих навстречу прохожих, отпускало.

Мы забились встретиться у главного входа в «Европейский», только я понятия не имел, который вход тут главный. Никогда не задумывался на этот счет. Каждый в принципе подходил и не подходил под такое определение. Я подумал было, что главный тот, что ближе к середине площадки между центром и вокзалом, но это был не вход номер один. Можно было обратиться, например, к охраннику, но меня таращило, и простой диалог типа «простите, не подскажете» сейчас был мне не по зубам. Поэтому я уже начал обходить здание, чтобы проверить все входы и еще немного проветриться, когда получил смс.

«Извини, опоздаю на полчаса. Будь внутри, я тебе позвоню».

И у меня совсем пропало желание целоваться с Галей.

Конечно. Как я сразу не догадался, что она опоздает. А я уже рассчитывал, что она купит мне таблетки андипал и минералку без газа, чтобы мне полегчало. Я зашел в торговый центр, плыл мимо витрин, стараясь глубоко и медленно дышать, чтобы успокоить свой организм. Я бы плюнул на эту встречу, уехал, но в метро мне сейчас точно стало бы еще хуже.

Мы поцеловались в щеку.

— Хорошо выглядишь, — сказала она.

— Здравствуй, Галя, — ответил я строго, — я тут чуть не умер от похмелья.

Она оглядывала мой прикид, явно была рада меня видеть, и я немного остыл. Не захотел ругаться.

— Ты же не пьешь, — напомнила она.

— Вчера вот попробовал. И сегодня тоже попробую, — и невольно заметил: — Ты поменяла прическу?

Галя дотронулась до своих волос. Ей было приятно.

— Пойдем куда-нибудь, где можно сесть, — сказала она.

Мы пошли по этажу.

— Только у меня нет денег, — на всякий случай уточнил я.

Ну, она так и поняла, когда я скинул просьбу перезвонить. Так я больше не работаю в Топшопе? Уволился еще в декабре, с тех пор живу абы как. Ничего, у нее есть немного денег. Хотя теперь у нее почти не осталось учеников (да, она подрабатывает репетиторством), родители ей пока еще посылают. Я сказал, что написал ей из-за этого поста. Что сегодня проснулся, мне очень хотелось целоваться, и тут я наткнулся на ее пост. Очень захотелось увидеться.

— А, я давно его написала, — как бы оправдываясь, сказала.

— Но я с тех пор хуже не стал, — попробовал я.

— Нет, не стал.

А твоя девушка, что с ней? — вспомнила она. Я не стал говорить, что мы уже успели расписаться. Выбрал другую часть правды:

— Не знаю, что у нас с ней. Не могу понять. Конец всему или, может, только начало.

Нужно было отсюда выбираться. Мне здесь уже надоело. Я сказал ей, что уже успел посетить несколько магазинов и думал даже украсть что-нибудь, но из-за самочувствия не решился. Она предложила доехать до «Улицы 1905 года». Сесть в кафе и ждать ее приятеля, который в нее безнадежно влюблен. Не знаю, выдержу ли я новое знакомство, сказал я. Да ладно, говорит она, нормальный парень, Толя, подождать его, потом выпить. Ладно, станцию или две на метро я еще выдержу, если потом мне светит бухло. Мы пошли к выходу. Я незаметно от Гали развернул салфетку, достал жвачку и сунул себе в рот.

— Галя, я надеюсь, ты захочешь со мной сегодня пососаться.

— Фу, слово какое. Со школы его терпеть не могла, — сказала она и как-то тронула меня за рукав, — только не называй меня Галей.

Я чувствовал, что можно попробовать прямо сейчас и скорее всего она ответит на поцелуй. Но напора мне хватило только на разговор. Действовать я еще не мог.

* * *

Сначала сели в «Кофе-хауз». Я попросил Галю заказать мне две бутылки пива и не знал, куда деть себя, пока она делала заказ. Руки мои дрожали.

— С непривычки, — оправдывался я, — не знаю, что такое. Трясет меня.

Себе она заказала чай с сэндвичем или каким-то бутербродом. И все пыталась заставить меня откусить. Я напомнил ей, что не ем такое.

— Пока никто не видит, — подначивала она.

Я не понимал, серьезно она хочет мне это скормить или считает это остроумной издевкой. Съешь хотя бы салата, настаивала она. Этот салат соприкасался с трупом! — отказывался я.

К приходу приятеля Гали я уже освежился и словил первую ступень куража. Галя успела рассказать мне про двух своих кавалеров. Я понял только, что она охотно водит их за нос, а спит ли с ними — не понял.

Нет, Толя, которого мы ждали, не один из них.

Вот он пришел и уселся на стул, глядя на мир прикрытыми глазами. Он тоже был пьян или прикидывался, что был пьян.

Галя представила нас друг другу.

— Я сегодня сдал гос и выпил коньяка, — дал знать он.

— Так люблю, когда Толя пьяный, — сказала Галя.

— Тогда я буду его называть строго Онотолей. Какая оценка-то?

Онотолей оживился и стал рассказывать, как сдавал экзамен. Наверное, по правде он уже был пьян. Я отошел в туалет, уселся на унитаз и почувствовал, что

голова немного кружится. Мне вдруг захотелось домой. Хотелось быть дома, когда жена позвонит. Вдруг почувствовал, что соскучился.

Я вышел и сказал, что иду домой.

Но через полчаса сидел в каком-то дорогом баре. Меня поили пивом, двести рублей кружка, Онотолей и сам его пил, а Галя пила шампанское. Уже второй бокал сделал ее пьяной. Она рассеянно смотрела то на меня — я сидел рядом с ней, то на него — он сидел напротив. И часто хихикала по ходу разговора ни о чем.

Когда Онотолей вышел в туалет, я решил проверить, правда ли Галя пьяна. Она выглядела рассеянно и одиноко. Я вообще решил проверить, чего от нее можно добиться. И я первый и последний раз назвал ее так, как она хотела:

— Лина, ты в порядке?

И взяв за подбородок, повернул ее лицо к себе. Она сама меня поцеловала, как-то тревожно и просительно. Может, именно такой поцелуй Онотолея сделал Рабом Любви. А я как бы вышел из своей головы, отстранился и ни о чем не думал. Для меня этот поцелуй ничего не значил, даже никакого электрического заряда в паху не возникло, хотя и было приятно.

Онотолей вернулся, и я сам пошел отлить. Заодно умылся холодной водой и подумал — «хватит». Нужно было уходить домой. Какое-то время я просто стоял в туалете перед зеркалом и раскачивался на ногах — с пятки на носок. Просто хотелось немного растянуть момент, в котором я один. И тут позвонила жена.

— Привет, — сказал я.

Она извинилась, что не позвонила раньше. Гуляла с мамой, сказала она, ходили по магазинам. Ничего страшного, я так и подумал, что она проводит время с мамой. Чем я занят? А меня юная парочка, малолетки, ха-ха, типа тебя, двадцать один год, позвали прогуляться. Вот сидим сейчас в заведении.

Я использовал слово «общаемся».

Что я пью спиртное, говорить не стал. Она ни разу не видела меня пьяным. Мы познакомились как раз, когда я уже бросил. Мы почти сразу стали жить вместе — жена (тогда еще не жена) как раз искала соседку, и тут в ее жизни случился я. Потом я почувствовал, что мало одного отказа от алкоголя, и отказался от мяса. Я легко на это решился, глядя на нее. Сначала млекопитающие, потом курица и рыба. Потом отказался от молочного и яиц. Первое время, мне казалось, что ум стал яснее, что я лучше различаю звуки и запахи, что ближе к пониманию смысла существования.

А осенью я предложил ей расписаться. Для меня это было как скромный дар друг другу. То есть даже если мы расстанемся и уже не будем вместе, какая-то часть одного останется второму навсегда.

Наверное, это была ошибка, ведь я знал, что в ста процентах случаев отношения портятся, как только люди становятся «мужем и женой».

— Ты не разлюбил меня?

— Нет, не разлюбил.

Попрощались, и я поплыл через бар, слишком дорогой для меня, бар с гардеробом и камином, со взрослыми людьми и юными дурами/дураками-красавцами.

Онотолей с Галей озадаченно разглядывали счет. Думали, что это будет промежуточный счет, но Галино шампанское оказалось слишком дорогим, чтобы продолжать тут сидеть. У Онотолея не хватало денег расплатиться, поэтому Галя расплатилась по карточке, с условием, что дальше в этот вечер будет башлять он.

— Поехали в «Место». Мне там дают в кредит, — предложил Онотолей.

Я уточнил, идет ли речь о магазине одежды? Да, там же есть бар, пояснили они, прямо в магазине.

— Чувак, пойдем. Угощу вас сидром.

И я пошел.

«Место» закрывалось через двадцать минут после нашего прихода. Но тут еще пока были люди — несколько вялых модников примеряли одежду или просто проводили время. Мы сели в баре, и помимо нас здесь были только два парня с шахматами и чаем. Онотолей взял в кредит 3 маленьких бутылки напитка «Сидр». Мы медленно пили и решали, куда теперь пойти.

Я думал было позвать их к себе, но удержался. Шло к тому, что Галя может захотеть, чтобы я ее трахнул. Либо все это игрушки, конечно, но рисковать не хоте-

лось. Хоть после звонка жены я решил ничего такого не делать, но все же отдавал себе отчет, что алкоголь мог это сделать и за меня. А если тому и суждено произойти — точно не в квартире, за которую жена платит почти всю свою зарплату.

Я быстро допил и решил померить кофту, толстовку, рубашку, несколько шмоток вообще, пока они делают звонки и устраивают нам вписку на ночь.

Одна толстовка мне понравилась. Вообще-то я никогда не позволял себе воровать одежду в таких магазинах. Одно дело — сети магазинов, другое дело — отдельные небольшие точки, существующие сами по себе. «Место», например, «Кархарт» или многочисленные скейтшопы без всяких ворот на входе и без защиты, украсть в которых было бы проще простого. Но я прежде не переступал через сочувствие к хипстерам, скейтерам и юным глупым стилягам, работающим тут продавцами, — наверняка им приходилось расставаться с ощутимой частью зарплаты из-за воров.

Хотя шмотки мне тут нравились.

Одна толстовка смотрелась очень хорошо. Простая толстовка с принтом спереди: зеленая бутылка со спящей счастливой амебой внутри. Я померил эту вещь в первую очередь, потом померил остальное. Потом, неожиданно для самого себя, опять надел полюбившуюся толстовку поверх собственной рубашки, сверху надел свое пальто и застегнулся. Выглянул из примерочной — не палят ли меня продавцы. Собственно, я даже не понял, один тут продавец или два продавца. Там в общей сложности было четыре человека возле кассы, и кто из них тут работает, а кто просто чалится, было не ясно. Они увлеченно трепались, и им, похоже, было плевать, вынеси я хоть полмагазина. Как я понял, разговор шел о музыке. Наверное, обсуждали последний альбом группы Foals, а может, и того хуже — группы Interpol. Говорили о музыке или планировали поход в клуб «Солянка».

Я повесил вещи на плечиках приблизительно туда, где их взял. И между вещами — одни пустые плечики. Зашел в туалет помочиться и вернулся к нашему столику. Мои сегодняшние спутники как раз только допили сидр и нащупали способ закончить вечер.

— Едем к Тане, — сказала Галя, вставая и начиная застегивать куртку.

— Хорошо, — ответил я, — мы сможем там остаться на ночь? И я смогу?

Потому что под пальто у меня была краденая толстовка, я ощущал себя кем-то вроде актера в сериале. Актер, который не может достоверно прочитать свой текст:

— А у нее завтра выходной?

— Суббота и воскресенье выходные, да. А насчет тебя я пока ничего не сказала.

— Я попробую ей понравиться, — сказал я, подавая Гале сумку.

Пока мы шли к метро, я сунул руку себе за шиворот и выдернул этикетку, чтобы не терла шею. В свете фонаря разглядел, что вещь стоила две тысячи девятьсот рублей. «Зачем я это сделал и куда я иду с этими людьми?» — спросил я у себя. Но это был неубедительный, наигранный драматизм.

Через турникет я прошел вплотную за Галей, и когда мы встали на платформе, я расстегнул пальто и показал им обновку.

— Блядь, ты украл толстовку! — сказал Онотолей.

Галя, наоборот, обрадовалась и сказала:

— Отличная, тебе идет.

— Чувак, давай, ты ее вернешь.

И они принялись тянуть меня в разные стороны. Поезд как раз подъехал, двери открылись.

И Галя говорила:

— Она ему идет! — и тянула в поезд.

А Онотолей наоборот:

— Там нельзя красть! — и тянул на выход.

Но он все-таки поддался нам, и мы все успели запрыгнуть в вагон.

— Чувак, так нельзя, — говорил Онотолей, качал головой и добавлял, — они ведь мне в кредит дают.

Чтобы он не волновался, я сказал:

— Ладно, я верну ее.

Пока мы ехали, он еще раз сто переспросил меня, точно ли я ее верну, и только на сотом «да!» успокоился.

* * *

Таня мне сразу понравилась. Это я запомнил отчетливо. Еще смутно запомнил, как мы заходили в супермаркет перед тем, как пойти к ней. Что Онотолей купил там вина на последние деньги, а я украл две бутылки шампанского. И что потом мы пили у Тани на кухне. Таня была скромная и приятная и больше наблюдала, чем говорила. Она была на два года старше меня, и этим она мне тоже сразу понравилась. Ей было двадцать шесть лет.

А потом Галя вывела меня покурить на лестницу и сказала:

— Поцелуй меня.

А я говорил, что не могу ее поцеловать, потому что мне понравилась Таня. Галя настаивала и просила, чтобы я ее поцеловал. Она на меня смотрела, как капризная кукла, это меня и восхищало и смешило, но на поцелуй я не соглашался. Как-то я чувствовал, что, если поцелую Галю, мне не достанется никто, ни Галя, ни Таня. Я предлагал ей целоваться с Онотолеем, который и так якобы влюблен в нее, но Галя отвечала:

— Ты красивее, чем Толя, и я хочу целоваться с тобой.

И теперь уж она точно не прикидывалась, что пьяна, и я был пьян, в этом тоже не было сомнений. Но в итоге она меня уговорила на несколько поцелуев в щечку. Я выдал эти поцелуи в режиме «отеческая нежность». А потом мы вернулись на кухню, ели спагетти с фасолью, и Галя обнималась с Онотолеем, и он был рад этому, хотя вроде и понимал, что это все дешевый фарс. Еще был какой-то разговор о вегетарианстве. Таня сказала, что она давно исключила мясо млекопитающих и курицу из своего рациона, но иногда ест рыбу. Тут все и решилось. Сомнений не осталось: мы переспим.

Да, с одной стороны, рыбу можно и оставить. Но, с другой стороны, это все равно убийство, сказал я. Ведь я тоже сначала хотел оставить рыбу. Потом хотел оставить молочное. Но потом понял, что легче прочертить четкую линию, чем соглашаться на компромиссы.

(Четкая линия, вдруг подумал я. Четкая грань. Straight edge. И вспомнил, как в шутку жена рисовала мне кресты отказа на руках, а я разыгрывал супергероя — истребителя алкашей и развратников.)

Галя и Онотолей были сторонниками мнения, что убивать рыбу меньшее зло, чем убивать корову. А я говорил, что разницы нет. Рыба тупая, это, конечно, да. Но ведь и младенцы тупые. Но мы же не едим младенцев? Но младенцы могут вырасти умными. Но ведь могут и остаться тупыми, может, лучше сожрать их сразу? Или давайте будем жрать работяг, давайте питаться гастарбайтерами? Они ведь ненамного умнее рыбы? Но гастарбайтеров есть определенно никто не хотел. Я что-то доказывал, снова словил кураж. Вообще-то я особо никогда не думал о животных. Я стал вегетарианцем, а позже веганом, только чтобы хоть как-то организовать себя.

— ОДИН —

Мы с Таней проснулись рано и готовили салат. Я был более-менее в форме, допил оставшиеся полтора стакана вина и помыл овощи: китайскую капусту, маленькие помидоры, сельдерей. Почистил две головки чеснока. Таня разрубила помидорки пополам, порезала сельдерей, а листья китайской капусты разорвала руками. Добавила зелени, нарезала кубиками черный хлеб и поджарила его на оливковом масле, а я выдавил на сковороду чеснок. Мы все это перемешали, и салат был готов. Я себе сразу отложил порцию, а остальное Таня посыпала тертым сыром. Несколько раз мы поцеловались, пока готовили. Она нерешительно — как будто птичка, не знаю, канарейка, которую кормит малознакомый человек, — целовалась со мной.

До этого мы спали в обнимку. Уснули поверх одеяла и в одежде, но я помню, что много целовались сквозь сон, нежно, не взасос.

А теперь мы сидели на просторной кухне в пластиковых креслах. Квартира с высоким потолком, бывшая коммуналка, в ней помимо Таниной было еще три комнаты. Две из них сдавались студентам, которые уехали на выходные, а одна была закрыта на ключ. Хозяева, сдававшие эту квартиру, использовали закрытую комнату как кладовку.

День был солнечный, и хорошо было завтракать на кухне в тишине. Мы открыли форточку, чтобы дышать свежим воздухом. Тане было прохладно, и я отдал ей украденную вчера толстовку. Она надела толстовку и уютно подогнула под себя ноги.

— Давай я подарю тебе ее, — сказал я.

Сначала она протянула «не-э-эт», но я сказал, что так будет лучше, потому что толстовка вчера мне досталась совсем случайно, и я рад, что мы оказались у Тани. Она сходила в ванную, посмотрелась в зеркало и согласилась. Я худой, ношу размер «s», и вещь была ей не слишком велика.

Мы выпили мате, и я попросился в душ.

* * *

У меня всегда были в сумке с собой маленькая зубная щетка и паста марки «Силко». Я привык их носить, когда часто оставался работать в ночную смену. Перед тем как уехать из магазина рано утром, я всегда чистил зубы. Однако гель для душа я с собой не носил. У Тани же в ванной комнате я нашел только «Палмолив». А я, хоть и стал веганом не из жалости к животным, все-таки старался использовать что-то более этичное. Не пользовался продукцией компании «Проктр & Гэмбл», в том числе гелями «Палмолив» или зубной пастой «Колгейт». Истории о том, как кроликам отрезают веки и капают в глаза гель для душа, проверяя, через какое время они ослепнут, не шокировали меня, но вызывали некоторое отвращение. Мы с женой пользовались продукцией «Нивеа», что было в этом плане проще всего.

Поэтому я почистил зубы и решил просто помыться водой без геля. Я не особо потлив, скорее наоборот, так что это было не страшно. Вообще я всегда часто принимал душ, но не чтобы смыть грязь, а чтобы расслабиться и смыть лишние мысли.

Над ванной висел газовый нагреватель, и я немного испугался шума, когда включил горячую воду. Залез в ванную и попробовал ни о чем не думать. Вода текла и текла, я просто отключился и поливал себя: пусть все происходит само собой, пусть все будет, как будет.

Так прошло полчаса или даже больше.

Я насухо вытерся Таниным полотенцем, оделся и почувствовал, как мне комфортно в этой квартире. Решил, что останусь здесь этой ночью. Выключил телефон и убрал его в сумку.

* * *

Таня дала нам денег. И, пока мы с Онотолеем шли за водкой и соком, он рассказал, что Галя занялась с ним петтингом и позволила кончить ей на живот. Для него это было очень важно.

— Это так нежно, — говорил он. Кончить на живот девушке, которую любишь.

Я соглашался, да, это нежно.

— Ты делаешь так? — спрашивал он.

Я говорил, что делаю так всегда. Его это радовало как ребенка, и я вдруг с испугом осознал, что он мне симпатичен. Хотя я обычно сразу откидываю тех, кто часто использует слово «чувак».

Мы купили ноль пять водки и два литра сока и вернулись к Тане. Галя не пила, она была немного рассержена и растрепана, а Таня выпила совсем немного и дальше отказалась. Но мы с Онотолеем быстро прикончили выпивку: пили бодрящие коктейли, но не опьянели, а только оправились.

И пока мы выпивали, я часто отрывался, чтобы поцеловать Таню и заглянуть к ней в глаза. Голубые глаза в солнечный день.

Я просил разрешения остаться у нее на ночь, но она отвечала:

— Нельзя.

Но это было неправдой. Потому что, когда Галя и Онотолей были готовы, Галя спросила у меня:

— Ты идешь?

Я ответил:

— Нет, я остаюсь.

И Таня ничего не возразила. Только развела руками. В дверях поцеловал в щеку Галю, пожал руку Онотолею и вдруг накинулся на него, как герой Джейсона Мьюза на героя Кевина Смита, изображая собаку, трахающую ногу хозяину, и воскликнул:

— Отец, это любовь!

Галя увела смеющегося Онотолея, а я остался с Таней.

* * *

Мы много целовались и разговаривали. Я спросил, сколько у нее было парней. Она подумала, посчитала и ответила, что у нее было семь парней и одна девушка. А сколько у меня было девушек? Я точно не помнил, но совсем недавно я считал в блокноте. Я достал из сумки синий блокнот, который всегда ношу с собой, и показал ей. На днях я как раз считал. Получилось двадцать одна.

У меня были записаны порядковые номера и фамилии (если я не знал фамилию — просто имя). Но я объяснил, что это я считал не из каких-то гнусных соображений, а просто недавно общался с другом, поэтом, а он хотел придумать себе литературный псевдоним, потому что у него фамилия Кузнецов. Вот мы и решили позаимствовать фамилию у какой-нибудь моей или его любовницы. Но так ничего подходящего и не нашли.

— А чем ему не нравится Кузнецов? — удивилась Таня.

Я объяснил, что в мире, наверно, несколько тысяч поэтов с такой фамилией. Поэтому, если хочешь быть поэтом или тем более артистом, нужна редкая фамилия.

— Ну да, точно, — согласилась она.

Я убрал блокнот и зачем-то пересказал ей фабулу одной линии эстонского фильма «Осенний бал». Фильм мне не очень понравился, но очень понравилась именно эта история.

Зрелый мужчина распутного образа жизни работает швейцаром в ресторане. Так вот, этот швейцар приходит на работу, его напарник, швейцар-два, ведет себя как идиот. Швейцар говорит, что идет обедать. Выбирает из гардероба какой-то пиджак, оставленный гостями, и пристраивается к банкету. А банкет по поводу какого-то научного или культурного (не помню) мероприятия. Тут к Швейцару подходит умная тетя и спрашивает его мнения по какому-то умному поводу. Швейцар говорит, что не знает, ведь он просто пришел пообедать. Она внимательно изучает швейцара и в следующей сцене просыпается у него дома в холостяцком бардаке. Швейцар спрашивает, кто она по гороскопу? Овен, отвечает умная тетя. Потом швейцар берет блокнот и пишет туда что-то. Тете кажется, что он великий поэт. Швейцар отвечает, что он просто швейцар. Как это? Я швейцар, да, говорит он равнодушно. Она собирается и уходит. У него в блокноте написано: «211 — Мария — овен».

Примерно так.

Но потом швейцар влюбляется. В ресторан приходит женщина со своим богатым муженьком, они ссорятся, она выходит к гардеробу и плачет на плече у нашего швейцара. И они тоже просыпаются вместе. Но на этот раз он счастлив проснуться с женщиной, он готовит ей яичницу, они завтракают и много смеются. Идут гулять, садятся где-то в парке, целуются и разговаривают. И вдруг он говорит, что не собирается всю жизнь быть швейцаром. Что у него есть кое-какие планы, чтобы подняться. Женщина тут же скучнеет, говорит, что перезвонит ему и уходит.

Далее — сцена в ресторане. Швейцар выталкивает на улицу пьяницу. Ему говорят, чтобы был повежливее с этим пьяницей — потому что это не просто пьяница, а известный режиссер. Но швейцар злится еще сильнее и на улице начинает бить режиссера, потом, чуть отдышавшись, спрашивает, что этот режиссер ставит. Тот отвечает, хриплый и избитый: «Комедии положений». Комедии положений, повторяет швейцар и продолжает бить режиссера.

Я зачем-то рассказал все это и заткнулся. Уже был вечер.

И вдруг Таня спросила:

— У тебя же кто-то есть?

— Да, есть, — сказал я растерянно и пожал плечами.

Она сказала:

— Почему нельзя встретить человека, у которого никого нет?

Я не знал, что ответить, и мы опять стали целоваться. Я раздел ее целиком, снял свою толстовку и амебу, которую выпила бутылка, ее футболку, домашнюю юбку и плавочки.

— Нельзя, — сказала на всякий случай, чтобы снять с себя часть ответственности.

Но лежала передо мной совсем голая, как будто маленькая и смирившаяся с

тем, что у нее случится еще один мужчина. Я всегда удивлялся этому моменту и немного боялся его.

Когда происходит «плюс один».

Я начал расстегивать пуговицы на своей рубашке и вдруг замер в нерешительности.

— У тебя есть презерватив? — нашел я что спросить, лишь чтобы немного оттянуть точку, после которой возврата не будет.

Она указала мне на полку.

— Только они там давно лежат. Может, уже не годные.

Я оторвал один презерватив «Дюрекс». Вообще-то я не знаю, тестируются ли они на животных. Про дюрекс мне ничего не было известно. Я только знал, что не тестируются «Лайф стайлс».

И пока я надевал презерватив, пока целовал Таню и гладил, я вспоминал, как мы с женой однажды ночью обошли несколько круглосуточных супермаркетов, пока нашли лайф стайлс. Сейчас же я пытался сбить прицел внутренней кинокамеры, чтобы жена не попадала в объектив, пытался думать о том, как день сменяется ночью, о весне и о звездном небе. Не думать о том, что за пределами этой комнаты. Только комната, обои, кровать, фрагмент города, который видно в окно, и его звуки.

Когда все закончилось, я встал, стянул презерватив и вытерся влажной салфеткой. Таня лежала на спине с закрытыми глазами — а я лег рядом на живот и уткнулся лицом в подушку. Мне было хорошо и невыносимо. Через минуту я почувствовал, как Таня изучает меня, беззащитно лежащего, руками и губами.

— Это кто? Гуманоид?

Я рассмеялся в наволочку от неожиданности.

Таня разглядывала татуировку у меня спине. На левой лопатке — счастливый красный человечек с белой улыбкой. Он поднимал правую руку с оттопыренным вверх большим пальцем.

— А что тут написано? «ты об..»?

И мелкая надпись: «Ты обречен».

Чуть больше, чем полтора года назад, в конце лета, я работал на финском заливе строителем-подсобником. Я жил в Петербурге на выходных, а на всю рабочую неделю ездил на объект — недалеко от города Зеленогорска. У меня только закончился трехлетний роман, все выходные я пил, а в будни работал, как негр, чтобы ни о чем не думать. Один раз рано утром в понедельник я ждал электричку «Петербург — Зеленогорск» и увидел вывеску аптеки сети «Фармакор». Этот же человечек, что теперь был на моей спине, он был логотипом Фармакора, только колпак медика на голове и этот большой палец — «КЛАСС!» — был перебинтован, улыбался мне с вывески.

Я тут же усилием воображения снял с человечка колпак, разбинтовал палец и наложил надпись. Деньги за работу я получал каждую неделю — и на первых же выходных сделал себе такую татуировку.

Я резко повернулся к Тане и с напором поцеловал ее. Полминуты спустя я проник в нее, не надевая презерватива.

В Википедии пишут, что, по самым скромным подсчетам, один миллиард людей в мире болеет хламидиозом, а в России им болеют в три раза чаще, чем гонореей. Широкое распространение связано прежде всего с часто бессимптомным течением болезни. Я дважды лечился от хламидий антибиотиками. Оба раза инфекция проявлялась одинаково — жжение при мочеиспускании примерно на третью неделю после сексуальной связи.

ВИЧ при незащищенном контакте вводящему партнеру передается в пяти случаях из десяти тысяч. То есть вероятность заражения ноль целых пять сотых процента для мужчины при вагинальном сексе.

Я кончил Тане на живот и сказал, что мне кажется, я влюбился в нее. Она попросила добавить ее имя и фамилию в мой блокнот. Теперь моя жена была не последней в списке.

— НОЛЬ —

Утром я выбрался на улицу. Видимо, всю ночь шел снег, и до метро пришлось пробираться чуть ли не через сугробы. Идти было недолго, но я все равно промерз. Неожиданное похолодание, чувство вины, и просто трясло от похмелья, страха жить дальше и страха умереть. Все эти подробности одиночества, стыд за то, что я чувствовал, думал, говорил и делал в эти три дня куража, сжигал меня изнутри. Жена, возможно, уже была дома и тогда наверняка волновалась и раз за разом набирала мой номер, но я не решался включить телефон. Что ждет нас дома? И думать не хотелось, как я вернусь и все ей расскажу. Я сразу вырублю ее на пороге или буду долго разминаться, вываливать по чуть-чуть и только вечером доберусь до главного.

Было воскресенье, и людей в метро заходило не так много, чтобы пройти через турникеты незамеченным. Я все равно собирался пристроиться за кем-нибудь и выбирал подходящего человека, более смиренного или более равнодушного. Но вдруг почувствовал, что не смогу сейчас подойти вплотную к незнакомцу или незнакомке. На станции «Таганская» турникеты нового образца — и если хочешь пройти за кем-то, не заплатив, надо почти прижаться к этому человеку. А сделать такое сейчас было невозможным. Мне бы, наоборот, на время исчезнуть, залезть в душ и отмываться, пока мир не изменится.

Я вышел на улицу и зашел через двери выхода. Но и здесь тоже долго стоял, как замороженный. Женщина из будки уже приметила меня и лениво наблюдала. Конечно, максимум, что она могла сделать — свистнуть в свисток, но мне сейчас очень не хотелось, чтобы она видела, как я подлезу под ограждением, отделяющим выход от входа. Я стоял минут пять, прежде чем решился это сделать.

Свистка не последовало.

Долгий проезд по эскалатору — ожидание поезда — но, наконец, я зашел в вагон и взялся за поручень. Было несколько свободных мест, но сидеть между людьми я не смог бы. Вот и стоял так, чтобы точно избежать случайного соприкосновения или вопроса: «Вы сейчас выходите?».

На «Курской» двери вагона разъехались, и я увидел компанию ментов: трех мужчин и одну девушку, совсем молодую, почти даже юную. Они о чем-то говорили, пока вдруг кто-то один не крикнул:

— Смотри!

И они всей гоп-капеллой рванули в наш вагон. Я очень испугался. То есть я испугался автоматически при виде милицейской формы, но когда прозвучало резкое «смотри!», дыхание перехватило и просто как в страшный сон попал.

Но им нужен был инвалид, а, конечно, не я. Тот только заехал в первую дверь на своем кресле-каталке и с шапкой для мелочи. Это был здоровый мужик в камуфляже и без ног. Трое ментов вмиг настигли и схватили его, но он крепко вцепился в перила.

— Отпусти руки!

Мне было очень страшно, не то что бы за инвалида, а страшно за себя как свидетеля беспощадной битвы. Как будто попал в документальный фильм «Дикая природа» и был в относительной безопасности, но только пока жестокие силы меня случайно не заметят. Свинина, говядина и вечернее пиво превратили этих существ в опасных животных. Наказать инвалида или кинуть палку — для них увлекательная игра, а я хотел забиться в конуру, грызть орехи и держаться подальше от женщин.

Инвалид был силачом и держался крепко.

— Не пойду, — говорил он как ребенок, но громким и сильным голосом, заглушая все остальные звуки метрополитена.

Менты кричали:

— Пошли! Отпусти руки, мудак! — трое мужиков тянули и не могли оторвать инвалида от шеста, девушка-мент лупила его по рукам, но он еще держался.

Двери не закрывались. Мы никуда не ехали. Но вот ментам удалось вытянуть инвалида из вагона. Мужики держали его, а девушка-мент — я вдруг заметил, что она красива, — тщательно и зло произнесла:

— Ну все, пиздец тебе теперь.

И двери тут же захлопнулись, как занавес упал. Я был совершенно уверен, что финальная реплика произнесена для меня.

Дмитрий Румянцев

Воробьиное царство

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Александр Пушкин, 1818 г.

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...

Александр Блок, 1918 г.

Декабрист Александр Блок

В каналы черные добавили чернил.
В снега, истоптанные чернью до Опочки,
чьи каблуки давно расставили все точки,
в стихах он голову — перчаткой — уронил.

Жандармы-вороны, повсюду Николай! —
в монарший век, уже — Второй, торчат расплатой
усы казацкие... наганы тли бушлатной,
два царских имени рифмуя: «Расстреляй»!

Дворяне-пестели, апостолы умов,
зачем вам чаялось служить Прекрасной Драме?
— Какая Муза бродит стылыми дворами?
— Чей фарс обычно повторяется: как кровь.

Вот «Пли!» прокатится. Да, выйдя на крыльцо,
наступит новый день... Служи народной стае.
Живи один, пророк! — кто оправдает все
пером... и рифмою кровавой обрастая...

Уроки ненависти

Город дышит сумраком предместий.
Голод назревает, как болезни:
легким кашлем — недостатком каши,
разделеньем: *наши* и *не наши*.
Ропот вырос в небо, как Исаакий,
рупор корабельный крикнул: «Хватит!»

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности культурология. Печатался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Новая юность» и др. Автор стихотворного сборника «Жребий брошен» (Омск, 1999). Живет в Омске.

Ухнули Таврида и «Аврора»:
наши бьют *не наших* у забора.
— Жги шпана, пока не смотрит школа!
— Утекай, братва, их тоже шобла!
Все мы в физкультурном пыльном зале
на коня Троянского влезали.

Ностальгия

Вспоминая пустой
особняк на Морской,
рысаков
и густой от цветения садик
(вот он — выцветший задник,
России настой:
из бурьяна, тоски, из бастующих фабрик)...
Ночь. В. Сиринъ выходит курить. За оградой
предвоенный Берлин — как парад войсковой.

Звезды падают с неба, как будто сирень
осыпается в окна с протяжным шуршаньем.
Облака, страшноватые как дирижабли,
все бегут. И на улицу что ни надень,
выйдет плохо.
И сразу на двух полушарьях
начинается день.

На других берегах, в переплетах иных
Маша. Машенька. Трижды засвечена пленка.
Пелена обнимает ее и барчонка,
двор, калитку и бабочек легких, мучных.
Что там делали вместе?
А дальше — потоп.
Дым. И взят Перекоп.

Уезжая из рая, уехать — куда?
Всюду память отравит блаженство Адама.
Над Невою цыганка на даму гадала
о грядущем. А мимо бежала вода.
...В. Набоков. Лолита. Глядит Новый свет
сквозь пустой кабинет...

Исход

Воробьиное царство, какого тебе языка?
В раннем детстве я, кажется, помнил твои очертанья.
Там, за лужей, за маленьким морем с огромным названьем
трансформаторной будкой, горой ты стоишь на века.

Это там начинались легенды о жизни отцов
с очистительной жертвы: тетрадки в кровавых чернилах
на костре подле школы, с беседы о Южных Курилах,
с сигареты взатяг под присмотром вихрастых жрецов.

«Это — Бог, — говорил, — это — Черт, это — Друг, это — Враг»,
объявляя *войну*, но неловко сжимая кулак.

Становилось темней. Незаметно куда-то ушли
незнакомцы, друзья, Александр, и Филипп, и Гельвеций.
Мертвый голубь, проколотый велосипедною спицей,
о тебе мы грустили, когда за сараем нашли.

О другом мы мечтали, когда засыпали в гостях,
и приют незнакомый мерещился Книгой, Дорогой.
Только самый счастливый вернулся статьей каталога,
а иные бесследно исчезли на мглистых путях.

Это Бог говорил, притворялся, ревел, предвкушал.
Я оттуда ушел. Я уже никуда не пришел.
Воробьиное царство *нетронуто* и *хорошо*...

«Челюскин», или Тридцать четвертый год

Вода горела от мороза, и
железное корыто шло под воду.
Морзянка замерзала на лету,
а лед крошился... и крошил металл.
Кровь стыла в жилах, обрывался пульс.

...а кто-то умирал в теплушках мерзлых,
рыл пальцами под дулами могилу —
отцовское поповство искупал.

Шли самолеты, крестиками шли
сквозь забранное проволокой небо
на Север, где все меньше белых пятен...

...и сапогами, полными свинца,
конвойные (под мухой) били — в землю
тому, на мушке, втаптывали пальцы.

Шли в Арктику, овеянную славой...
в летящий пепел...
в письма от отца.

* * *

Не океан вокруг, и я — не Одиссей...
Но редкий тополь не скрипит, как мачта.
И резкий шквал не сгонит с высоты
команду воробьев. Моя Одесса,
моя Итака — парка карусель,
где сын в летящей лодочке маячит
и много повзрослевшим возвратится
туда, где ждешь его, чужая, ты.

Все сожжено. А раньше было — трое
счастливых мореходов. Прялись тучи,
и расплетались, чтоб палило солнце,
сходя ожогом с рук. Песочный жмых
рассказывал, как время камни моет,
как много кораблей ушло за счастьем...
Я — остров. Ты, и сын, и вечер — остров,
к которому пристанет твой жених.

Все возвратилось? Ты теперь со мною
и сын. Но карусель пустили звезды
вверху. И паруса снимают в парке
ветра с дождем. И лодки днищем вверх
у озера лежат. И нет Одессы
в моей стране, и в мире нет *Итаки*.
Когда-то здесь, чтоб встретиться губами,
я сбил фонарь. Он и сегодня — слеп.

Сентябрь

В лужах — небо и грязь,
в небе — лужи и тлен.
Голова моя ищет чужой красоты
сладострастную тень,
сумасбродную связь.
Паутинками, осень, осины густы.

Низко кружит журавль,
зябко носит Борей
запах прелых костров и желание жить.
В море дружных дождей
день — ахейский корабль.
Боров Борька в канаве, как Гектор, лежит.

А скирда объясняется звездам в любви,
и в соломе шевелится мокрая страсть.
И Елена, и Ева, и ты, и Лилит
над ужами в траве не утратили власть.

Но разрезан лопатой червяк дождевой,
или это беда за душою пришла...
Паутинка из клетки такой золотой
улетела, и тонко дрожит в камышах.

И троянская кляча
до дальних осин
по грязи, как по маслу, увозит меня.
И сапог в этой кашице
корни пустил,
и в затылке ветров пятерня...

* * *

К тому заглохшему оврагу
я вышел в час, когда темно
болит душа. И знал, что лягу
на остывающее дно,

на бурый глинозем. Полоска
зари вечерней, догорев,
смирила птиц в ветвях дерев,
не оставляя отголоска
их суеты. Тогда возник
во тьме воды горячий голос:
здесь, где-то рядом, бил родник.
И отворился темный космос.

И там, где не был человек,
ночной туман носил Ковчег:
среди планет я плыл во мраке
в овраге?..

Омск. Восстановление

На Успенском соборе леса. Мастерок и рубанок.
Матерок и рубаха, пропахшая потом. Потом
встанет храм. А теперь из спецовок глядят спозаранок
мастера, не знакомые с трудным церковным трудом.
И один на растущую кладку взирает Петром.

Суета. Маята. Но стоит позолоченный купол
на взопревшей земле, отражаясь в холодной воде.
А строительный кран поднимает вертящихся кукол.
Мастерят, матерят. Через улицу — серый, как жупел,
нависает фасад — римским портиком НКВД:

был епископский дом. Из него возвели цитадель.
Храм тогда продержался три взрыва, но все-таки рухнул.

Огрызаясь, вгрызается в вязнущий грунт экскаватор
проржавелым ковшом: заварилось, взошло, занялось.
Вот обходит работы с планшетом прораб, про-куратор.
Смуглый плотник, в ладонь поплевав, — так бывало когда-то —
принялся в крестовину свирепо вколачивать гвоздь.

Новая жизнь

Пощадила, ну надо же! Вывела на утоптанный снег
и сказала «Иди», и в лопатки перстами подталкивая:
«Не смотри на меня. Я — судьба, и еще заберу своё».
И как лазарь крещусь, как сизарь трепещу, человек.

Это надо ж: с обритой башкой на больничном дворе
запрокинуться кумполом под лиловеющим куполом.
Вот какая душа: небеса с подворотнею спутала,
дура дурой, а то же: Премудрости ищет Твоей.

Алла Боссарт

Сад Ренессанса

Рассказ

С утра пекло. Хорошо, Нина Ивановна поднялась еще до света — полить сад, а уж к восьми на солнечных участках роса высохла. Но садик у Нины Ивановны устроен таким образом, что все цветы, кроме больших садовых ромашек и майских пионеров — тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, — росли в тени. Только к вечеру нежаркое нежное солнце достигало флоксов, пионов, роз и главной садоводческой гордости — махровых ирисов феерических расцветок. Синий и фиолетовый клематис ковром оплетал северную стену дома, чуть шевеля крупными тонкими лепестками, словно сотни тропических бабочек уснули на послеполуденном ветерке.

Сад составлял счастье Нины Ивановны, как у иных старушек — внуки или кошки. Но внуков у нее не было, хотя был сын Шурик, кандидат каких-то малоинтересных обывателю наук, старый холостяк пятидесяти шести лет. Шурика она, конечно, любила, но была с ним строга, вернее, ровна, без фанатизма. Матери нередко мешают своим сыновьям жениться, а те потом им же и надоедают своей пустой неприкаянностью.

Шурик часто приезжал к матери на старой «девятке» — привести в санитарную норму исподнее и рубашки, поскольку постоянной женщины давно не имел, а случайные подруги не питали к нему любви настолько безумной и неистовой, чтобы валандаться с его застарелыми носками или, пардон, трусами. Также привозил он Нине Ивановне кой-какие деньжата, затаривал провизией и одновременно подкармливался домашним. Тем более жил и работал неподалеку, в научном городке Обнинске, а старушка-мама проживала в собственном доме под Калугой. В Калуге и родилась, в большой семье директора женской гимназии. Это было первое и последнее Ниночкино образование, хотя в ссылке она научилась многому.

Жарким воскресным утром указанный Шурик проснулся в комнатке под крышей, «масандре», как называл он ее в детстве, когда выбирал себе апартамент в новом доме. Отец, электротехник секретной обнинской лаборатории, личными золотыми руками отстроил для семейства славную избушку в дачном кооперативе «Квант». «Масандра» густо пахла смолистым деревом, дыхание сада настаивалось здесь из ночи в ночь, образуя как бы насыщенный раствор, хоть по флаконам разливай. Чистые занавески, свежее белье, вымытый накануне пол и сам румяный Шурик после вечерней матушкиной бани с мятой, полынью и дубовыми вениками!

Выглянув из полукруглого оконца, Шурик увидел седенькую маму, согнутую временем, а с верхней точки и вовсе ростом с курицу. Нина Ивановна накрывала стол под яблоней. Урожай расперся, прости господи, какой-то чернобыльский, ветви клонились буквально до земли, сияя огромными, с кулак молотобойца, плодами белого

Алла Борисовна Боссарт — прозаик, журналист, обозреватель «Новой газеты». Автор книг «Скрэббл», «Google. Отражения», «Любовный бред» и др. Постоянный автор «ДН». Живет в Москве.

налива. Яблоки время от времени срывались и падали с глухим сонным стуком в некошеную траву или прямо на стол. Мама подгребала их горкой, расставляла вазочки с вареньем, отмахиваясь от ос, пар из большой фаянсовой миски достигал толстого Шурикиного носа: они, пуховые оладушки с яблоками! Немного ниже плыл разбойничий кофейный дух. Мама кофе не пила, но Шурик любил, привозил с собой дорогие маленькие упаковки, и Нина Ивановна варила ему по утрам, как научил — в маленькой турке, заливая холодной водой, с сахаром и щепоткой соли.

— Мамуля! — позвал Шурик сверху. — С райским утром!

— Настоящий рай ты, голубчик, проспал, — проворчала Нина Ивановна. — По-хорошему обедать уж пора. Залей-ка рукомойник и быстро давай, стынет!

На застекленной террасе коренился резной комод, который пережил гражданскую, а потом среди прочей мебели был оставлен дворнику-татарину, когда Ниночка с бабушкой (члены семьи изменников родины) отправлялись за Урал. Бабушка догадывалась, что дворник-то и стукнул на «барей», и, к слову сказать, так оно и было. Иначе — почему Рашидка с выводком (напополам с уполномоченным райотдела НКВД) заняли первый этаж директорского дома (второй *уплотнили* еще раньше) буквально через неделю, как комнаты опечатали? Но зла на него бабушка не держала, жалела Рашидку как вдовца и отца шестерых малых детей. Что ему оставалось, убогому? А следователя вообще исключила из сознания и поля зрения, подобно какой-нибудь моли.

За долгие годы отсутствия Ниночки в Калуге мебель, конечно, унесло ураганом войны и прочих бед, лютыми зимами огонь пожрал мягкие полукресла, стол и шкафы вместе с книгами. Но когда, схоронив в Красноуральске бабушку, взрослая Нина с мужем из ссыльных и семилетним Шуриком вернулась в счастливом 56-м домой, ее узнал и заплакал в раскаянии греха дряхлый Рашидка, сберегший буфет и расстроенное пианино. Дом стоял целый, густонаселенный, следователь исчез в известном направлении, Рашидка, искупая вину, переполз в чулан, комнату же уступил бывшей хозяйке.

— Сколько ж тебе лет теперь, Рашид? — спрашивала Нина.

— А шайтан его знай, — беззубо смеялся бедный стукач, потерявший на войне всех сыновей, а напоследок — следы единственной дочки, по слухам, бросившей якорь в Крыму. — Розу хоронили-то, не соврать, в тридцать пятом, от чахотки, беркулез по-вашему... И прожили-то, спаси Аллах, лет пятнадцать...

Старик шевелил губами, подсчитывал, и выходило не меньше восьмидесяти. Нина присматривала за Рашидкой до самой его смерти, освободившей дряхлого грешника, слава Аллаху, незамедлительно, как и следует в случае искреннего раскаяния.

В Обнинск переезжали богато: с буфетом, пианино и плодоносящим лимоном в кадке. В том же примерно составе, минус любимый муж Ося, перебиралась Нина Ивановна на ПМЖ на дачу. Иосиф Мироныч, бывший физик, так и не вернувшийся к профессии, настолько прославился в институте своим электротехническим гением, что получил прозвище Фарадей и бесплатный участок в кооперативе «Квант» в качестве премии по итогам года. Землю для ценных кадров тогда нарезали щедро, гениальная идея *шести соток*, где дачник *обязан* выращивать то и се, еще не овладела массами. Но пожить на своей земле Ося не успел. Электрифицируя готовый дом, Фарадей ощутил вдруг странную слабость в ногах, не удержался на стремянке и, падая, ухватился за оголенный провод. Кое-кто считал это самоубийством, потому что дозы, дважды полученные им при испытаниях (на которых он присутствовать был вовсе не обязан), являлись тайной только для Ниночки. Иосиф Миронович Плоткин-Фарадей был настоящим созидателем атомного щита родины с приоритетом общественных интересов перед личными. Хотя и безродным космополитом.

Шурик потрогал зарубочки на боковой стенке комода, которые делал отец каждый год. До переезда на дачу. Вот Шурику семь, восемь, девять... На двенадцатом году отметки кончались — на уровне его теперешней рыхлой груди. Сейчас лысеющей головой Александр Иосифович доставал верхнего резного карниза. Настоящий орех, граненые стеклышки, балясинки в виде рыбок, стоящих на хвостах, резьба на

дверцах — длинные кисти винограда и прочая флора и фауна. Шурик любил, когда в зеркальной нише стояла сирень. Тяжелые лиловые грозди заполняли, бывало, террасу вечерним ароматом прелестного дачного обморока с патефоном, самоваром на шишках, пухлыми ночными бабочками и приглушенным смехом. Запах уносил Шурика в другую жизнь, с любовью и верной дружбой, с большим и нужным делом, без ничтожных интриг, мелких страхов, глупых тревог и похмелья... Но сирень отцвела, уступив место лохматым пионам. «Шпионам», как звал их Шурик все в том же неискушенном, а потому золотом детстве.

Александр Иосифович достал из кармана швейцарский ножичек, прижался затылком к боковине комода и чиркнул над теменем.

Строго говоря, детство для большого стареющего холостяка никогда и не кончалось. Он и мать-то любил по-мальчишески: боязливо, со страстным ожиданием одобрения, с враньем и страхом, что оно раскроется. Лежа в своей волшебной «масандре», он до сих пор мечтал о взрослой, самостоятельной жизни. И с огромным трудом, среди охапки незначительной лжи и подростковых секретов, с мукой и болью, как маленький спартанец лису, носил за пазухой этот хоббит-полурослик настоящую большую Тайну.

— Это Саша? Саша Плоткин? — пронзительно верещал женский голос. — Саша, Сашенька, какое счастье! Это Фаина, твоя сестра!

— Какая сестра? — изумился Шурик. — Нет у меня никаких сестер. — И добавил как-то обреченно: — Один я...

— Он мне будет говорить! Нет, Саша, ведь ты Саша Плоткин? Ну вот, а я Фаина Плоткина! Из Иерусалима! Ой, я сейчас сойду с ума! Я искала тебя, Саша, так искала, это роман с продолжением! Дина, бекицер, накапай мне валерианки!

История, на самом деле на роман никак не тянула, простая была, как у Чехова, если б он знал, что такое бывает. Иосиф Миронович Плоткин, зэка № такой-то, отбывая заключение в секретной шарашке, сошелся там с одной *вольняшкой,* хорошей еврейской девушкой. Потом его переправили за Урал, девушка родила, замуж так и не вышла, что бывает сплошь и рядом, и уехала к родне на Украину. Потом пришли немцы и всех расстреляли. Маленькую Фаину заживо завалило телами, и она выбралась, спаслась. Про отца девочка знала, что зовут, как святого, Иосиф, фамилия Плоткин, а где он, неизвестно, потому что война.

Днем Файка отсиживалась, как мышь, по пустым амбарам, а ночами шла, держась ближе к лесу, где безопасней, волоча ноги в огромных валенках, которые нашла в брошенном хлеву вместе с вонючей овчиной. Напихала в валенки соломы, закуталась в шкуру и брела, пока не свалилась на третьи сутки от голода и легочного жара. Было ей пять лет. Подобрала девчонку старуха-лекарка, что жила со своей козой на отшибе с твердой репутацией деревенской ведьмы. Отпоила козьим молоком с барсучьим салом, а с первым теплом отвела к партизанам. Потом война кончилась, в детдоме Фаина назвалась Плоткиной и стала ждать, когда же за ней приедет папка. Но папка не ехал — по той, видать, причине, что не знал о ее существовании. А Фаина с завидным упорством выживала, росла и даже окончила стоматологический техникум. Хотя на личном фронте, как и у матери, не сложилось. И все время писала наивные письма в военкоматы разных городов, откуда получала казенные ответы: «На ваш запрос сообщаем: Плоткин И. в списках не значится». Что странно, поскольку мало ли И. Плоткиных воевало и погибало (или не погибало) в этой героической бойне.

Уже в 90-х, когда архивы приоткрылись, она обратилась в общество «Мемориал», и ей таки помогли! Но с опозданием. Иосиф Плоткин уже скончался от несчастного случая. Фаине дали обнинский адрес его жены, точнее, вдовы, Нины Ивановны Плоткиной. Она написала, но ответа не получила. В конце концов незаконнорожденная Фаина Иосифовна Плоткина уехала в Израиль — прочь из «вашей сраной страны», где Красная Армия бросила евреев на растерзание, а «за Николаев я тебе скажу: кроме барабульки, серьезно говорить уже не с кем». И вдруг ее пригласили в израильское отделение «Мемориала» и сообщили, что в России живет ее единокровный брат! И вот, Сашенька, рыба моя, я тебя нашла!

— Саша, слушай сюда. Возможно, твоя мама меня не хочет. Но за это идиотство я не могу даже слышать, меня рвет. Есть молодые люди, и есть старые люди. И старые люди должны иметь приличия не вести себя, как молодые. Вы с мамой приедете, и мы воссоединим семью. Приглашение уже готово.

Матери Шурик ничего не сказал. Наврал, что едет на симпозиум, и получил от нее заказ на оливковое масло и частицу Гроба Господня.

Сестра, похожая на толстого мальчишку, лет на восемь-десять его старше, жила в белом иерусалимском пригороде Пизхат Зеев, что можно перевести как «Владимирская горка». В первом этаже двухэтажного дома «держала зубной практис», второй делила с подругой и помощницей Диной из Ташкента. Разъезжала на японской машине и каждое лето «имела тур» по Европе. И в сердце Александра Иосифовича поселилась главная и основная мечта: оставить убогие свои пенаты раз и навсегда.

Другими словами, совместно со старушкой мамой начать новую, полную широких возможностей, особенно для пенсионеров, жизнь в государстве Израиль. Не исключено, и жениться там на веселой еврейской вдове, одной из тех, с кем знакомила его общительная Фаина. А может, и маму замуж выдать. Люди, слыхал он от сестры, на земле обетованной «молодеют, как козочки».

— Шура, Шурочка! Смотри-ка скорей, что я нашла!

Нина Ивановна сидела за столом на террасе и разбирала какую-то ветхую папочку. Смеясь и одновременно вытирая пальцем слезы, оглянулась на Шурика и, далеко отнеся от глаз истертый листок в клеточку, зачитала:

«Мамочка, любимая, золотая мамуся, прошу тебя, приедь за мной и забери меня из этого поганого лагеря! Меня тут дразнят евреем и жидом. Один парень сказал, что не будет обзываться, если я в его дежурство вымою пол. Я вымыл, а он и говорит, ты хоть и еврей, а дурак. Мама, разве я еврей?»

Вечером пошли на озеро. Мама нетяжело опиралась на Шурика, то и дело останавливалась, чтобы вытрясти из туфель песок. Над озером слоился закат, будто в каком-то школьном опыте, где под действием реактива раствор распадается на фракции: от самой тяжелой, винно-красной внизу, через прозрачно-алую, розовую, сиреневую к бледно-голубой и белой, точнее, бесцветной. Нина Ивановна, разувшись, присела на ствол ивы, низко и горизонтально протянутый над берегом. Теплая вода лизала ей подошвы, как щенок, которого она подобрала девчонкой в ссылке, и он три года спал у нее в ногах, пока не умер от клеща. Клещей Нина Ивановна боялась до сих пор, поэтому не заводила собаку, хотя очень хотелось, и не ходила в лес. Зато луг, пестрый от цветов, и сменявшую его по дороге к озеру настоящую корабельную рощу она любила нежно, хотя, конечно, не так самозабвенно, как свой сад.

Похожий на гнома удивительный старичок-краснодеревщик, которого Шурик привозил реставрировать комод, угощаемый чаем с наливкой, мечтательно сказал: «Хорошо! Сидим, компанствуем, как в саду ренессанса!» Да! Сад именно что ренессанса, вот чем являлись двенадцать соток Нины Ивановны. Драгоценный Сад Ренессанса, наполненный жужжанием пчел, сладким и ровным, подобно дням ее старости.

Шурик медленно плыл, цепляя стебли кувшинок, опустив лицо в белесую чистую воду, и винно-красная, тягостная тревога отпускала его. Грузное тело наполнялось легкостью, разговор с матерью уже не казался таким нереальным и жутким... Набрав полную грудь воздуха, Шурик с усилием донырнул до дна. Там впервые что-то сильно закололо у него в груди, зазвенело в ушах, в глазах помутилось... Что, впрочем, не так уж и странно на глубине в два с половиной метра. На берегу Шурик долго, по-собачьи часто, едва не вывалив язык, дышал, унимая скачущее в необъяснимом страхе сердце.

...Когда выпал первый снег и город вдруг очистился и заблистал, позвонила Фаина. Она сообщала, что в Иерусалиме тоже снег, а у нее сегодня день рождения, и она хочет выпить с Шуриком по телефону.

В холодильнике оставалось на донышке водки, и непьющий Шурик, чокнувшись с телефонной трубкой, сказал: «Шалом!» и влил в себя двадцать грамм.

— Мне шестьдесят шесть, — сообщила Фаина. — Я хотя имею намерение прожить до ста лет, но, сам знаешь, у нас тут весело. Шарахнет — и абдуцен. Короче, я оформила завещание. Поимей в виду, детка, все остается тебе. Минус машина, это моей Диночке.

— Живи сто лет, Фаина, чтоб плакать тебе на моих похоронах, — в тон сестре ненатурально ответил Александр Иосифович, как и в детстве, хоть ты убей, не ощущавший себя евреем.

Шурику впервые пришло в голову, что на них обоих обрывается общий корень, род Плоткиных. Причем ему даже завещание оставить некому. «Разве плохо, — уговаривал он себя по дороге к маме, — ехать сейчас не одному, а, допустим, с какой-нибудь там женой, хотя мать наверняка бы крутила носом, ну это ничего, как уж нибудь... Жениться, жениться! И непременно на молодой, не старше тридцати пяти—семи, чтоб родила, и все вместе — к Фаине. Вот он, путь к корням: чернявый или, наоборот, рыжий Изя Плоткин, лейтенант армии Израиля! Сколько дорог, все университеты мира! А мама... Мама будет бесплатно и качественно лечиться, ездить на море...»

Возносясь мечтою в верхние слои атмосферы, Шурик чуть не въехал в зад сверкающей иномарке. С визгом затормозил. Иномарка, прошелестев еще пару десятков метров, тоже стала. Водитель, крошечный человечек с внешностью мушкетера, но не Д'Артаньяна, а кукольного Арамиса в безукоризненно сидящем костюмчике, вышел и что-то закричал с кавказским акцентом и итальянскими жестами. «Козел! — разобрал Плоткин. И еще: — Супруга, супруга!» В иномарке рядом с водительским местом Шурик разглядел как бы сноп, нечто пышно-золотистое... Скажите, пожалуйста, он еще и женат, маленький комарик! Даже этот... Шурик был уязвлен. К «саду ренессанса» подъезжал в отвратительном настроении, о Фаине с ее наследством думал раздраженно: вот еще один человек, который теперь ждет от него благодарности. Как мать.

В эту ночь Нина Ивановна увидела сон, на диво яркий и отчетливый. Будто бы на кровать к ней присел Шурик, взял ее за руку и сказал: «Мамочка, все это глупости, никакого Израиля не существует на свете, и потом разве я еврей?» Она улыбнулась во сне и повторила вслух: «глупости... Израиль — это Сад ренессанса...» И от собственного голоса проснулась. И сердце вдруг, как у Шурика тогда на глубине, страшно сжалось — так сжимал в руке и плющил твердое яблоко покойный Ося, в шутку хвастаясь своей силой. Письмо некой Фаины из Израиля, называвшей себя его дочерью, Нине Ивановне в свое время передали, но она давно выкинула из памяти этот бред.

Но — только из памяти. В заветной папочке, не той, где хранила письма, хотя и в точно такой же, копились у нее разнообразные бумажки. *Жировки*, чеки, рецепты и прочая дрянь. Туда же сунула она на всякий случай и безумное письмо. И в этот самый день, когда снежок аккуратно прибрал укутанный, как всегда заранее подготовленный к зиме сад, Нина Ивановна, работая, как она шутила, с документами, на него наткнулась. На этот неординарный, прямо скажем, документ. И, словно в первый раз, внимательно его прочитала.

И вдруг задрожала и исчезла милая сердцу комната с расстроенным пианино и иконками в изголовье кровати; исчезла терраса с прославленным комодом и самый дом. Исчез сад и старый заборчик. Улица в елях, поселок, где в тишине то и дело взлаивали за разными калитками собаки, луг, сосны, озеро — все куда-то провалилось, и перед глазами Нины Ивановны явилась незнакомая дорога, и по ней медленно двигалась тихая толпа людей. Люди катили на самодельных тележках жалкий скарб, женщины прижимали к себе детей, волоклись, шаркая больными ногами, старики. Дорога упиралась в опушку леса. Солдаты в серой форме копали большую неровную яму, смеясь и переговариваясь в тишине. Люди сгрудились на краю ямы, кто-то что-то приказал тонким голосом, и все стали раздеваться. Они раздевались и выли, все громче и громче. Потом картина заслоилась, точно в неровном стекле, замелькали какие-то полосы и вспышки, как в порванной пленке, и через мгновение уже не было ни толпы, ни ямы, а только гора тел, сотни голых тел на снегу. А потом страшный холод и горячая боль в затылке.

Нина Ивановна очнулась на полу. Головой она несильно ударилась о педаль пианино; рядом валялся стул.

Шурик никогда не замечал за матерью оформленной религиозности. В церковь она не ходила, посты не держала, яйца на Пасху, конечно, красила, как все, но куличей не святила, иконы появились в доме только к старости, вроде лекарств от давления и артрита. Была, конечно, крещеной и крестик носила — но больше так, для порядка.

Поэтому, когда матушка, гремя сковородками, довольно буднично объявила, что «был ей знак», Шурик поперхнулся.

— Знак, знак. — Мать посмотрела на него строго и торжественно. — Знак! — И вместе с маленьким кривоватым пальцем подняла глаза к потолку.

— Только ради бога, не начинай опять, что тебя звал папа.

— Нет, — усмехнулась Нина Ивановна, — папа меня не звал. Меня звал кое-кто другой.

— Кто же? — Шурик тоже усмехнулся с легкой укоризной.

— Кто? Твоя сестра.

Зиму Нина Ивановна провела как бы в спячке. Изредка выползала в сад. Проваливаясь валенками в не чищенный неделями снег, делала пару шагов и застывала у какого-нибудь куста. Шурик бежал следом, накинуть на мать шубу, — и слышал, как она тихо напевает, трогая ладонью облетевшие ветки: «Мой миленький дружок, любезный пастушок...» Еще она пела «Мальбрук в поход собрался» и скрипуче посмеивалась. Шурик сильно опасался за матушкины мозги и на всякий случай переехал к ней.

Но дедушка Альцгеймер, попугав, рассеялся в весенней капели. По мере набухания почек Нина Ивановна и сама расправлялась, вздыхала глубоко, как земля. Ближе к июню ее, словно стиральную машину при отжиме, уже буквально сотрясала энергия, какую странно встретить в женщине на пороге восьмидесятилетия. С раннего утра с неукротимой жадностью она бросалась на свой сад, как на амбразуру, страстно поливала, полола, подрезала, окучивала... Ездила на садоводческий рынок за новыми саженцами роз и гортензий. И с садом все лето творилось что-то невообразимое. Мальвы у крыльца горели на стволах в ручку ребенка толщиной, ростом с баскетболиста. Золотые шары достигли крыши и там качались под собственным весом, подобно венецианским фонарям. Дикий виноград, вьющийся по террасе, вдруг заплодоносил маленькими кисточками с твердыми голубоватыми ягодами. Розы, что ни день, выбрасывали новые бутоны. Ирисы не отцветали, пренебрегая сентябрем на носу. Дико, по-цыгански полыхали астры и георгины. Гладиолусы тихо трубили арии из опер. Ароматы били в небо, подобно взводу «катюш».

О переезде в Израиль больше не заговаривали. Мысленно Шурик простился с мечтой и потихоньку начал закисать, спускаться вроде отлетавшего свое шарика — с той разницей, что никогда Александр Иосифович не летал, кроме как в детских снах, когда, согласно поверью, рос, в смысле — вытягивался в длину, как все маленькие мальчики.

А потом явился этот мужик — в засаленной кепке, телогрейке и резиновых сапогах, грязных до такой крайней степени, что больно было смотреть, как он отрывает ноги от земли. Стояла уже глубокая осень. Мужик приехал на здоровенной колымаге-говночистке — с бочкой кубов в четыреста и гофрированным шлангом.

— Жалко, — сказала мать застенчиво, — вы не можете видеть сейчас моего сада.

— А че, — реагировал мужик, — сад он и есть сад. Яблони, вижу. Все, короче, прилажено. Сразу видать, не бухают хозяева.

— Да нет, Степан, вы не понимаете, это не просто сад... Это — Сад! Как сказал один старичок, «Сад ренессанса».

— Кого? — удивился золотарь.

— Шурочка! Иди, родной, сюда. Познакомься.

— Степа, — мужик протянул Шурику чудовищную лапу, почти такую же грязную, как сапоги. — Сынок твой, Ивановна?

— Вот, Шурик, Степан хочет купить сад. — Нина Ивановна потупилась.

Потом они пили чай с шарлоткой и наливками. Степан сковырнул на крыльце страшные сапоги, протопал в шерстяных носках в прихожую и там, подмигнув, достал из кармана телогрейки чекушку, утонувшую в его лапе, как детская соска.

— Ну и чего ты хочешь, Ивановна, за энти десять соток?

— Двенадцать, — хмуро поправил Шурик и вдруг весь как-то подобрался, положил как-то этак вот кулаки на стол, вздернул незначительный подбородок... — Я вообще не понимаю, мама. Что это вообще за дела? Почему вдруг?

Степан дружелюбно переводил маленькие туманные глазки со старушки на «сынка», немного удивляясь на интеллигенцию, которая между собой никогда толком не договорится, а уже начинает торг.

Шурик, впрочем, вовсе не собирался торговаться. Он был шокирован и выбит из седла в целом. Списком. Тем, что столько лгал и мучился страхом перед матерью, что сначала носил в себе, а потом задушил крамольную мечту, что до сердечной боли жалел мать, понимая, как ему казалось, что ее сад (ренессанса) — символ и духовная составляющая — не имеет денежного выражения. (Об этом писал все тот же Чехов, которого многие евреи ценят именно как специалиста по русской интеллигенции. Вряд ли Шурик проникал всю глубину безнадежной и презрительной жалости, которую питал, минуя иллюзии, жесткий доктор к выдающемуся продукту истории, который зовется русским интеллигентом и к чьему корпусу Шурик по привычке себя причислял.) И вот теперь мать как будто предала его. Степан какой-то... На говночистке!

— Видите ли, Степан, — с терпеливой улыбкой мама касалась сморщенными губами рюмочки с вишневочкой и делала крошечный глоточек. — Я пока ничего конкретно сказать не могу. Надо договориться в принципе... Вы женаты?

— А то! Бобылем, что ль, жить? Я мужик степенный, выпиваю по случаю. Ты чего, Ивановна, боишься, кину тебя?

— Ну что вы, дорогой. Я думаю, надо ведь и супруге вашей показать, как же без хозяйки?

— Да чего ей показывать! — Степан рассердился. — Она, что ль, зарабатывает? Как скажу, так и будет!

— Нет уж, Степан, вы давайте вместе приходите, все и решим.

— Да решил я, Ивановна! Участок нормальный, дом снесем, все одно кирпич класть, сортир, баню там — работа моя бани требует, сама понимаешь! — И пояснил Шурику: — Элососы мы, Александр. Такое наше нынче название!

От выпитого ли, а может, от тотального абсурда происходящего, у абстинента Шурика закружилась голова, слоистыми волнами поплыли запахи его любимой мансарды, он сжал обеими руками голову и выполз из-за стола.

— Пойду прилягу, извините...

— Перебрал сынок? Понимаю, — ухмыльнулся элосос Степан.

В полуобмороке Шурик дотащился до кровати, рухнул и заплакал — без слез и звуков, сердцем.

Через пару недель по настоянию Нины Ивановны Степан привел-таки жену. В пожухлой траве там и тут валялись гниющие яблоки, безлистые кусты сирени торчали мокрыми прутьями, розы и хризантемы, укутанные войлоком и обложенные лапником, напоминали могильные холмики. Мама, проявив вдруг небывалую деловитость, куда-то там сходила или даже съездила, навела какие-то справки, узнала слова *маркетинг* и *земельный пользователь* и назначила цену в сто двадцать тысяч долларов. «Понимаешь, — увлеченно говорила она Шурику, — они же будут торговаться. Тогда мы тысяч десять *спустим*». Шурик смотрел затравленно и ни во что не вмешивался.

Прикрытая пухлым вязаным беретом и похожая под ним на поздний бледный тонконогий гриб, жена Степана Валя, как и Шурик, затравленно озиралась, по всему видать, сильно непривычная к каким бы то ни было обсуждениям. С серенького

безбрового и безгубого (вообще как бы без черт) ее лица не сходила скорбная гримаса. Валя мелко на все кивала и тихо всем вторила.

— А вот тут, смотрите, у меня гладиолусы... Здесь — ирисы, очень редкий сорт, вы уж не погубите их, Валечка, милая.

— Слышь, Степ, ирисы... — шептала Валя-поганочка.

— Какие к чертям ирисы! — кричал откуда-то с забора Степан, меряя большими шагами участок по периметру. — Помидоры тута рассадим с огурцами! А тама, в уголку, — картоху. Будешь у меня, Валька, картоху окучивать, мама не горюй!

— Картоху, да... — соглашалась Валя.

Шурик же, мучаясь, ходил за ними и бубнил матери в затылок: «Мама, хватит, это все уже больше не твое. Люди сами решат, как и что им здесь делать...»

— Решат...

— Да, конечно, простите уж меня, старуху. Но ведь столько лет... Такая красота...

— Красота... — качнула сизой шляпкой Валя, а Нина Ивановна коротко всхлипнула. Через пять же минут увлеченно рассказывала, как пышно цветет этот жасмин под окном («шасмин, эт да...») и не надо с ним ничего делать, никакого ухода, а запах такой, что голова кружится.

— Кружится...

— Пожалуйста, детка, сохраните его, могла бы — увезла с собой...

— Мама!

— Да-да, сынок, извини, никак не могу привыкнуть... А это розы.

— Ох, розы...

— Вы их на зиму — вот как я, лапничком, а то померз... Все, все, все, Шурочка, все, больше не буду.

...От городских ворот, куда две тысячи лет назад въехал на белом осле бродяга и пророк, идет дорога в маленький белый пригород, название которого на русский язык можно перевести как «Владимирская горка». Там, в белом доме с балконами, на все четыре стороны живет маленькая белая старушка, похожая на курицу. Каждое утро с балкона напротив пожилая веселая тетка в штанах по колено и длинной майке, блестя фарфоровыми зубами, со смехом кричит ей: «Мама! Что снилось или ничего?» И старушка всякий раз отвечает: «Твой отец, Фаечка». — «Или опять звал, негодник?» — «Звал, Фаечка». Иногда она просит тетку: «Свозила бы ты меня, милая...» «Куда?» — спрашивает не так уже весело Фаечка, потому что знает ответ. «Ну, — мнется геверет Нина, туда... в музей».

И они едут в Иерусалим, в огромный и единственный в мире музей, к которому ведет аллея из олив. Аллея праведников. Старушка не считает себя праведницей и потому обходит аллею сбоку, за деревьями. И она никогда не смотрит весь музей. Фаина же вообще не заходит внутрь, ждет на скамеечке снаружи, курит и хмурится всем своим круглым веселым лицом. Она не любит ходить в этот музей, жалуется: «Мне там все болит». А геверет Нина идет в один и тот же зал, всегда в один. Там кромешная тьма, только на черном потолке, как в ночном небе, то и дело загораются крошечные огоньки, и ровный голос перечисляет имена и фамилии. Это имена и фамилии еврейских детей. Голос звучит, не умолкая, и огонечки все зажигаются, хотя светлее не становится. Старушке кажется, что звездочки эти зажигаются не в небе, а прорастают из земли, как цветочки в ее саду. Она стоит там, сколько могут вынести ее старые ноги. Потом медленно бредет прочь, не вытирая слез.

— Мамочка! Что снилось или ничего?

— Твой отец, Фаечка...

— Или опять звал, негодник?

— Ой как звал, плакал даже. А что у нас сегодня?

— Пятница, мама. За пятничный сон точно скажу: не считается.

И тогда старушка спешит в дом и готовит фаршированную рыбу. А после восхода звезды начинает ждать. И вот приезжает из другого белого городка ее сын, *оператор* утилизации автомобилей Шури, прессующий старые, ржавые раздолбанные тачки на

одном из бескрайних кладбищ цветного металла; его бесформенные груды растут из серой земли, подобно жестяным клумбам. Это хорошая работа, если б не арабы, но у Шури есть пистолет. И Фаина приходит, обязательно с какой-нибудь незамужней женщиной, и все они говорят друг другу: «Шабат шолом!» (хотя Шури и не соблюдает субботу), и садятся за стол. Если незамужняя женщина замечает старинный комод с балясинками в виде рыбок и говорит, например: «Вейзмир, вот же ж прелесть!» — мама с сыном переглядываются и начинают присматриваться к женщине повнимательней.

Шури ночует у мамы, а в субботу, когда на улицах почти нет машин, везет ее гулять в парк, где растут розы, высокие, красивые розы без запаха. И геверет Нина не понимает, зачем они нужны, такие цветы, как будто искусственные, и почему чахнет сирень, которую она неустанно сажает в маленьком общем садике среди белых домов.

А также не понимает старая геверет Нина, зачем тем людям велели раздеться, кому могли понадобиться их жалкие тряпки? Она звонит своему сыну Шури по телефону, который здесь называется «пелефон» — чудо-фон, и спрашивает: «Ты доехал?» Шури живет *на территориях,* и у него из окна открывается вид на пустыню с арабской деревней вдалеке. Геверет Нина умалчивает, что в ее снах Иосиф обычно выходит из этой деревни одетый в рубище и идет к ней, обжигая пятки о песок, лицо его кривится от боли, но расстояние между ними не сокращается — ни на сантиметр, ни на песчинку.

Алексей Порвин

Роднее всей слезной соли

Каждому рецензенту знакомо царапающее чувство невыполненного обещания. У меня оно было связано с книгой стихов молодого питерца Алексея Порвина «Темнота бела».

Обещания этого я никому не давал. Ни автору (мы незнакомы), ни журналу. Просто столкнулся год назад с этой книгой. Захотелось о ней написать — тем более что мало кто слышал тогда имя автора, звучавшее диссонансной рифмой к имени известного питерского поэта Алексея Пурина — думаю, я не первый замечаю это сходство при полном различии стилей.

Стихи чем-то завораживали. Особым голосом, наверное. Интонацией. Какой-то редкой неторопливостью. «Полк покидает наши места, / медлит у выхода под обстрел; / все как один глядят на нее — / падалицы полный подол. // Девочка в теплой дорожной пыли, / и до тебя дотянулся сад /оторопевшим, твердым плодом, /стукнувшимся в сырость земли…».

Работа на полутонах, полузвуках. Читать со сцены такое невозможно. Невозможно и чужим, «актерским» голосом. Разве что шершавым тенорком Смоктуновского; впрочем, и он не смог бы (отменить всю систему Станиславского?). Актеры вообще ужасно читают.

Поиск «третьего пути» в современной лирике — синтеза классики и авангарда, силлаботоники и верлибра, русской поэзии и не-русской (прежде всего англоязычной). Рифма, ускользающая как солнечный зайчик. Косноязычие, постоянно сталкиваешься о «неправильные», «не так поставленные слова» — при удивительной верности поэтическому словарю: с его небесами, лучами, лесами. Айги здесь, к счастью, был — и, к еще большему счастью, не задержался. Сдержанная просодия английского послеэлиотовского стиха, о(т)страняющая сверхсенситивность, повышенную свето- и звукочувствительность лирического «я» автора.

Это «я» непрерывно поглощает в себе все внешнее, растворяя в себе любое не-Я, сливаясь с ним: «Бьется, надеясь путы порвать — / но крепка сосудистой сетью жизнь: / видно, навечно ты угодил / в садок себя…»

Отсюда, из этого плодотворного солипсизма — «непроявленность» Города, его привычно-узнаваемых архитектоидов. Возможно, Порвин — самый непитерский из современных питерских поэтов.

Смущает иногда только некоторая повторяемость настроения, словаря, интонации. Что чревато превращением «узнаваемого» (до чего нельзя говорить об авторском «я») в «приевшееся» (после чего об этом «я» уже не хочется говорить). Хотя, думаю, в случае Порвина — это пока этап безусловной узнаваемости. Главное — не угодить навечно «в садок себя» (впрочем, это я могу пожелать всем пишущим, включая и себя…).

Это маленькое предисловие — эхо несостоявшейся рецензии, не более. Не предуведомление для читателя. Не напутствие автору. Так, несколько слов о.

Евгений АБДУЛЛАЕВ

Порвин Алексей Кириллович — поэт. Родился в 1982 г. в Ленинграде. Окончил филфак Санкт-Петербургского ун-та. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Нева», «Волга» и др. Автор книги стихов «ТЕМНОТА БЕЛА» (М., 2009). В журнале «Дружба народов» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Лес, подуставший идти в белизну,
ты ли сумел согреться,
до синевы меж ветвей обмотав
беличьим бегом сосны?

В людях — обратное, и пережав
плотной одеждой тело,
не согреваются — стиснута кровь,
медлит до онеменья.

В людях еще: для согрева души
плоть не годится вовсе,
даже свободно надетая плоть,
даже когда удобно.

Чем обмотаю себя? На стволах —
беличий бег, стремящий
мягкую огненную высоту
выше, чем видеть можно.

Уточнение

Отбывающий строгие ночи
несвободу свою бережет:
от охраны такой — кто захочет
убежать под потухший свод?
Угасанием высижен кто-то
(он не бог, а тюремщик для нас?)
за полетом предзимнего года
наблюдает, слегка светясь.
Твердокожая искра пробита,
так выходит наружу — нутро:
не горение и не обида,
а щекочущее перо.
В скорлупе затаенная вспышка,
расправляющая голосок —
ты не птица, а певчая вышка,
охраняющая восток.

* * *

Краешек музыки солоноватый
от неуместного порошка
той тишины, что вовне — виноватой
стала для умного языка;

краешек музыки не пересохший —
жив от наполненных светом пор
той тишины, что внутри — нехорошей
кажется чувству с недавних пор.

Все наполнявшая хлебная полость,
не поглупей от конца всего —
ты от звучания не раскололась
на затвердевшие *ничего*;

знает язык, что прощен не звучащий,
а помогающий зазвучать
белым соленым кристаллам — и слаще
от понимания звука стать.

* * *

На пробной твоей изнанке
засевая жасминовый кислород,
заоконная зелень за ним наблюдает —
слезным ли в зрении расцветет?

На плотском твоем покрове
забывая стучащую в окна тень,
спохватившись, на сердце вечернее смотрит —
кровным нальется ли зрелый день?

Роднее всей слезной соли —
заходящее солнце и блеск стекла,
но они не следят за тобой, как за почвой,
и не рыхлят, как могла бы мгла,

они не следят, но знают:
белизна в твоем зрении — не вопрос,
и слеза породнилась со днем уходящим
прежде, чем он в небесах пророс.

* * *

Пришла пора для торжества
за городом, распавшимся на села,
вот — крыши спят невысоко
и удивляются неярким блеском —

а почему ты весел — ведь,
ступая на простор ночной, затихший,
ты победил лишь тем, что вновь
на звездном свете кажешься отчетлив?

Неведенье заснувших ферм
едва коснется этого парада:
где долетают до луны
запущенные в честь твою и виснут

шары непостоянных форм
(в них мало поднимающего газа) —
клочки разметанной копны
на ниточках соломинок случайных.

* * *

На лесной дороге — сумрак предписан
трудный, но подчинись,
если фразы добрых песен
снова перевелись.

Не увидишь ветер, он же — погладит
всякое существо,
потому вверху наладит
радость — быстрей всего.

Доказуемый качанием кроны
ветер не увильнет:
он — в парящие законы
знает прозрачный вход.

А в другое место — кто пожелает
душу свою вселять?
На пути — собака лает:
ну же, смелей, погладь.

Геннадий Русаков

Мой друг Саид

Спозаранок зазвонил телефон, и веселый знакомый голос закричал мне в ухо:

— Эй, Маврицио! Маврицио!

Волной горячей радости окинуло меня. И я, выдираясь из сна, ответно закричал в трубку:

— Эй, Саид, ты что, спятил? Это я, Гена, Гена!

В трубке замолчали, и на том конце кто-то сдавленно пробормотал:

— Sorry. Wrong number.

Ошиблись номером…

А я-то было решил спросонья, что все неправда, ничего не было, что это Саид опять окликает меня через океан. Что мир мой прочен и в нем все на месте.

Нет, не на месте. В нем нет Саида.

Внезапность его смерти потрясла меня. Еще накануне я звонил дочери в Москву, и Маша сказала, что лекарство, которое я передал через нее, до Саида добралось и завтра он мне позвонит: мои звонки из Нью-Йорка в Назрань не проходили, а Саид какими-то своими путями ухитрялся дозвониться до меня. На следующий день он не позвонил. На всякий случай я набрал номер дочери, и она погасшим голосом сообщила:

— Только что передали из Назрани: умер Саид.

…Он рано вставал и в мою бытность в Москве ни свет ни заря будил меня своими звонками. И после неизменного: «Гена, как дела?» сообщал приятные местные новости:

— А у нас тут солнце и воробьи на подоконнике дерутся («у нас» — это в Грозном)… А у нас Сунжа разлилась… А у нас та-акой виноград выдался…

И я представлял себе этих воробьев, Сунжу, в которой мы когда-то, подвыпив, упорно купались, хотя нас едва накрывало водой, виноград в саду его старшего брата, самого Саида с его победительной походкой, от которой разлетались полы вечно расстегнутого пальто.

У меня всегда было мало друзей. С годами их стало еще меньше. Саид был моим другом пятьдесят лет.

Странная была у нас дружба. Мы могли не видеться годами, меня носило по свету суетное мое ремесло — синхронный перевод, МИД — мы перезванивались, чтобы обменяться семейными новостями, но — ни поговорить толком, ни поплакаться друг другу в жилетку.

Оказалось, что так можно. Оказалось, что достаточно одной несуетной силы человека, который наделен даром сострадания, прощения и долгой памяти о лучшем в людях, чтобы поддерживать меня на плаву. Сам факт существования Саида придавал мне уверенности: словно было у меня в заначке нечто прочное, не теряющее ценности — неразменный рубль, скрипка Страдивари, горстка радости и ободрения. Саид.

Это была, как часто случается, институтская дружба. В пятьдесят девятом мы вместе поступали в Литинститут. Саида приняли на заочный, но в следующем году он уже был в Москве, в поэтическом семинаре Льва Ошанина — первый ингуш в истории института.

Нас мало осталось из того семинара: Вася Белов, Фикрет Годжа, Алла Ахундова, Валя Ермаков, Ладоха, ставший священником. Где-то пропала в разломившемя времени Огюльтач Оразбердыева, трудно привыкавшая к Москве и долго сохранявшая верность национальной одежде. Посмертная слава пришла к Лене Черевичнику в заграничной Риге. Странной смертью погиб светлокудрый Вася Лысцов. Стал классиком у себя на Алтае Паслей Самык. Смотрит с фотографий в своем музее покойный Леня Мерзликин. Судеб других не знаю, но сердце говорит — мало нас, мало.

В те годы я завидовал Саиду белой завистью: он жил во времена открытий, потому что литература его народа только обретала себя. Он был в ней первопроходцем — автором первого ингушского романа, первой драматической поэмы, первого фантастического рассказа. Он вломился в нее со своими темами, к которым до него никто не прикасался — боязно, раздвигал ее напором своего дарования, и не понять было, кто он на самом деле — поэт, прозаик, драматург, детский писатель, баснописец, киносценарист?

Меня всегда поражало аскетическое отношение Саида к званию поэта: раз ты поэт, то должен жить по кодексу чести, который это звание накладывает на тебя, и нести его, как несут схиму — с достоинством, гордостью и смирением. В Литинституте меня окончательно доконало то, что на людях он непременно был в белой рубахе и при галстуке. Для меня, при моей ненависти к официальной одежде, это было верхом жертвенности. Но он должен был соответствовать: на него смотрела молодежь. Он был Поэтом. Он уже тогда знал, что к нему прислушиваются и его примеру следуют, потому и написал:

Много в мире соблазнов для сердца и глаз —
Тут держись
И гляди, как положено, в оба.
Наша честь нам дается единственный раз
И навеки — одна: от рожденья до гроба.[1]

Еще тогда мне казалось в нем неожиданным — нет, скорее непривычным — чувство, в гораздо меньшей степени знакомое российским стихотворцам: чувство личной ответственности перед читателем. Это преимущество, которым обладают литераторы небольших народов. Нередко они знают своих читателей в лицо, помнят как своих приверженцев, так и записных критиков, которые, при всем их радикализме, часто служат своего рода мерилом нашей «профпригодности».

Помнится, в Грозном нас часто останавливали люди, уважительно (нам тогда было чуть за двадцать) распрашивали Саида о стихах, комментировали последние его публикации. Он видел, что его слово нужно и может менять мир. У него было то, что я назвал бы «государственным отношением» к поэтическому слову. В этом смысле он очень рано стал «народным» поэтом: по чувству ответственности перед своим читателем и подотчетности ему.

Этому я завидовал больше всего.

У меня никогда не было такого ощущения. Я до сих пор сомневаюсь в существовании своих читателей, во всяком случае, редко встречаю их. Из-за долгих отлучек из России. Из-за своей «социальной пассивности», как называет мое нежелание «жить литературной жизнью» деликатнейший Сергей Иванович Чупринин. Из-за неуверенности в праве называться поэтом.

Стихотворцем — да. Но поэтом... Их делают из какого-то другого теста. Они пишут такие строчки, которые прельщали меня у Саида:

[1] Здесь и далее — стихи в моем переводе.

...журавли плывут, плывут над миром.
Труба трубит. Качается земля.
В полях светло, покинуто и сиро.
Труба трубит, ликуя и веля.
На цыпочки вставая по-ребячьи,
Леса легко взбегают на бугры.
И, лица запрокинувши незряче,
Стоят,
Как губы, почки приоткрыв.

...Я прилетал в Грозный к уже накрытой скатерти-самобранке. Малика, как всегда, сновала из кухни в комнату и обратно и, как всегда, отказывалась сесть за стол, потому что жене это не полагалось по обычаю. Двое мальцов курочили посреди комнаты московские игрушки, а Саид вдохновенно описывал, как хорошо я отдохну на этот раз, потому что — полная расслабуха, никаких дел: поедем только на шашлыки, только в его родной аул, только на свадьбу хорошего друга, только...

И оба мы знали, что нельзя не встретиться с Раисой Ахматовой, которую я переводил — Народный поэт Чечено-Ингушетии, она каким-то образом ухитрялась руководить сплошь мужским Союзом писателей. Союз постоянно бурлил, грозился переизбрать ее и все никак не переизбирал, понимая, что под мужской рукой страсти вообще выйдут из-под контроля. А еще надо идти в издательство доводить с редактором до ума книгу Ахмеда Ведзижева, а еще я привез переводы для национальной поэтической антологии; и еще...

Короче, обычный распорядок дня московского переводчика, который приехал к своим авторам и издателям.

Но самое-то поразительное в том, что мы действительно успевали и на шашлыки, и в горы, и на прочие незапланированные события. Только я постоянно пребывал в состоянии легкого обалдения от съеденного и выпитого, и по утрам нещадно болела голова.

С самого начала моих наездов к Саиду я отстоял себе право жить в гостинице, а не у него дома. Мы чуть было не поссорились, но я добился своего: мне предстояло работать, а при хлебосольстве Чахкиевых об этом не могло быть и речи.

В Грозном рассветало рано. Я на ощупь вставал еще в темноте и лез отмокать в ванну. Голова трещала, жить не хотелось совсем. Новый день грозил стать повторением старого. Изменить что-либо в этом было уже нельзя: законы горского гостеприимства непримиримы. Но если не включать свет, не делать резких движений, то благодаря неподвижному умиранию в ванне можно оттянуть повторение гостеприимства хотя бы ненадолго. Хотя бы до семи часов.

Ровно в семь раздавался стук в дверь, и Саид, чисто выбритый, жизнерадостный и явно успевший переделать кучу дел, вваливался в номер.

— Гена, как дела?

Вскоре начинались звонки. Я никому не давал своего телефона, о моем приезде знал только Саид, но, похоже, в курсе моего появления был весь Союз писателей Чечено-Ингушетии: звонили исключительно литераторы и исключительно на предмет перевода.

Саид брал трубку, отвечал кратко и дипломатично:

— Наш гость устал.

Он никогда не говорил в таких случаях «мой гость», поскольку, как я полагаю, раскрытие моего инкогнито превращало меня из «его» гостя в общедоступного «нашего гостя», на которого мог претендовать каждый, кому ни заблагорассудится.

Помню, как однажды после недели столь однообразной информации голос в телефонной трубке сорвался на крик:

— Слушай, если он такой усталый, зачем он сюда приехал? Тут у нас не курорт!

Тогда еще были живы и полны сил те, кто составлял костяк, «классику» ингушской литературы. Я помню многих из них: великолепный в своей размашистости Джамалдин Яндиев с его громогласным лозунгом «Вперед, гусары!», который, по рассказам, однажды появился в местной газете на том месте, где традиционно стояло «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», Ахмед Боков, Ахмед Ведзижев... Все они

были делателями одной литературы, продолжателями дела Хаджи-Бекира Муталиева и Ахмеда Озиева.

Саид был широким человеком. По первопутку, в пору его обживания Москвы, я пытался отучить его от немыслимых в столице «кавказских штучек»: похвалишь из вежливости его часы — он тут же снимает их с руки: «Возьми, дорогой, они твои!». Скажешь безо всякой задней мысли: «Ух ты, Саид, какие у тебя ботинки! Давно пора!» — он начинает шарить глазами по сторонам, куда бы присесть, чтобы завернуть их тебе в газету. После того как в один из приездов в Грозный я по забывчивости восхитился висевшим у него в спальне ковром, а перед уходом нашел его аккуратно запакованным возле двери, я понял, что дело это безнадежное. Легче было научиться ничего не хвалить в его присутствии. Но и это не всегда помогало...

Помнится, после премьеры в грозненском театре пьесы «Когда гибнут сыновья» он позвонил радостный, возбужденный:

— Наша пьеса прошла на ура! Семь раз вызывали!

Дальше последовало подробное описание, как принимали «нашу» пьесу, чем хороша «наша» пьеса и тому подобное. И все время «наша» да «наша». Не выдержав, я встрял в его восторги:

— Ну чего ты заладил про «нашу»? Какая она наша? Она твоя.

— Так ведь там твоя фамилия стоит!

— Стоит, но как переводчика! Автор-то ты.

Саид не отозвался.

Это мне не понравилось. Я начинал кое о чем догадываться.

— Ты ведь автор, Саид, правильно?

Он без прежнего оживления отозвался:

— Ну, автор...

— А я переводчик.

Он промолчал.

— Саид!

— Там нет переводчика. Я тебя снял.

— Ты меня снял?!

— У пьесы теперь два автора.

— А кто второй?

— Ты.

Ему, видите ли, показалось, что мое участие в работе над пьесой превышало чисто переводческие обязанности, и он не придумал ничего лучшего, как сделать меня соавтором! Так оно, к моему стыду, и осталось: в статье «Советской энциклопедии» о литературе Чечено-Ингушской АССР упоминается о пьесе «Когда гибнут сыновья» С.Чахкиева и Г.Русакова. Не верьте энциклопедии — это все Саид! Я не драматург, я только переводчик.

Я переводил и стихи, и прозу Саида. Для прозы нужна выносливость бегуна на длинные дистанции и дар строителя. Стихи Саида полны благодарного изумления перед миром. В прозе это чувство заслоняют герои и события, оно не самодостаточно: там иные законы композиции, сюжета, да и языка. Проза — для взрослых. Поэзия демократичней и моложе: ей хватает ощущений, вспышки зрения, крупицы знания. Меня его стихи особенно трогали беззащитностью своих разбросанных то тут, то там неожиданных строчек. Казалось, их автор никак не может привыкнуть к тому, чем его окружает жизнь, и рассматривает это окружение с пристальностью ребенка, наделенного мудростью старика:

На иглах трав стояли жемчуга,
Луна плыла над глянцевостью луга,
И тополя, укрывшись за стога,
Пунцовый лист роняли друг на друга.
Стучали в грунт подземные ключи.
Ручей мерцал, почти насквозь просвечен.
Скрипичный бог, таящийся в ночи,
На весь окрест
Безумствовал кузнечик.

Это прекрасный мир. Не важно, таков ли он на самом деле. Важно уметь видеть его таким, помнить его с закрытыми глазами даже в заметенных снегами казахских пространствах, в скудной местности города Балхаш, где будущий Народный поэт учился в горно-металлургическом техникуме, или на руднике Текели, что в Талдыкургане. И всегда это был мир гор, увиденный спецпоселенцем Чахкиевым. Он видел его крупно, глазами живописца — Таможенника Руссо, присутствующего при сотворении мира:

Кто тяжкий шар из медного листа
Омыл огнем и вынул из горнила,
Обил с него окалину и кинул
На наковальню ближнего хребта?
Такая тишь, что даже звон в ушах.
В саду стоит промытый синькой воздух.
Идет свежак и гасит в небе звезды —

Мой сын в то утро сделал первый шаг.

Я так и не удосужился спросить у Саида, кто из сыновей это был: Рамис? Артур? И кто из них бегает в этом незамысловатом шестистишии, которое я так люблю?

Вон за окном трехлетний карапуз
За бабочкой гоняется по саду.
Но ловит воздух битых два часа.

Когда б он знал, что так же вот судьба
Пестрит крылом: приблизится и канет,
И станут эхом жизни голоса.

Станут, Саид. Но мы еще успеем вырастить наших детей, издать в один и тот же год наши главные книги, посетовать на наши опять же одновременные хвори. Еще какое-то время продлится пастораль нескончаемых летних вечеров и угасания неба над горами.

Ведет ягненка смирная овца.
Бежит мальчонка, беспричинно рад.
И от села,
С далекого конца,
Доносит ветром ржанье жеребят.

Не ты ли это, Саид, в твоем счастливом мире?

...Жизнь шла, росли наши дети, к которым переходила наша дружба, и Маша-школьница кричала мне из своей комнаты: «Ой, забыла: Саид звонил, подстрочники присылает!».

И все чаще мучительной похожестью стали отзываться в моей жизни переводы стихов Саида.

В те годы он много писал о детстве. О своем — и о моем тоже, потому что оно было у нас одинаковым: Саид был старше меня на полгода. Мы оба были сиротами, оба дети войны. Наши биографии совпадали до пугающих деталей. Более того: мы во многом одинаково видели мир, себя в нем.

Сейчас, постарев, я знаю, что так часто бывает в возрасте привыкания к своей жизни, осмысленного врастания в нее. Необычным было то, что мы видели ее в одинаковых красках. И в стихах у нас было об одном и том же:

Примирись: не вызовешь былого
Ни мольбой, ни клятвою пустой.
Но, послушный голосу и слову,
Встань, голодный год сорок шестой!

Я мысленно кивал: «Да, верно, Саид, это был сорок шестой».

...Мы с бабушкой побирушничаем на Тамбовщине. Подают плохо — голод. Я в коросте, острижен под ноль, от меня несет керосином — бабушка мажет мне им голову от вшей. Когда мы начинаем совсем доходить, по ночам выбираемся «на колоски»: на ощупь, в темноте, нашариваем их на стерне, готовые при малейшем шорохе кинуться в кусты. За колоски сажают: обираешь государство. Зимой будем отрывать из промороженной земли не выбранные при уборке турнепсы. Страшно — поймают. Да, Саид, сорок шестой...

А он продолжает рассказ о том, как

...залил уши свинцом,
Чтоб не слышать рассказа,
Как погиб мой отец,
Как в промозглой ночи
Сумрак плыл над селом, по логам западая,
Как лежала в ночи, у остывшей печи,
Мать, одетая в саван,
Совсем молодая.

Где-то у меня в набросках лежит строчка: «Наши мамы умирали молодыми...». Теперь я знаю, откуда она. Сироты, мы оба писали о том, чем обделила нас жизнь, что до конца ее осталось с нами, — о тоске по матери.

Шла война, а мы не успевали —
Наших войн еще не пробил час.
Не для нас медали отливали,
Похоронки слали не о нас.
...Мама, мама!
Как ей было тяжко:
Днем — артель с темна и до темна.
Ночью — стирка, драные рубашки,
Чугуны, вязанье — все она.

Помню: меня выгнали из квартиры на улицу, я сижу в компании двух старух, они грызут семечки, называют меня «сиротинушкой». От старух пахнет подсолнечным маслом и небрежением. Старухам почему-то нравятся слова «двусторонний плеврит легких», они говорят их всем, кто к ним подходит. Непонятные эти слова нравятся и мне, потом я их часто буду слышать от бабушки. Я уже знаю, что моя мама «сгорела», что меня выгнали, потому что дома происходит нечто таинственное и страшное: «маму обряжают».

У нас были общие воспоминания детства. Голод, скрежет крупорушек, лебеда в пышках. Бригадиры на разъяренных мотоциклах, стук в темные окна: «На уборку!». Фронтовые письма-треугольники, посылки на фронт — махорка, вышитый кисет, носки: «Боец, бей фашистов!». Носки...

Я дал прочитать стихотворение Саида под таким названием молодому поэту. Вот отрывок:

...А ночами задувало в щели,
Ветер крышу встряхивал:
«Сорву!»
Мы во сне хотя бы вдоволь ели.
Мерзли — и во сне, и наяву.
Как же в нас душа не промерзала,
Не страшилась ледяных тисков?..
Мать вязала.
Мать носки вязала —
Не бывает ласковей носков!
Шерстяные, плотные, верблюжьи —
За сто лет такие не сносить.

...Мы ходили, синие от стужи,
А носков
Не смели попросить.
Нет, не робость
И не страх запрета —
Вон еду-то клянчим без конца.
Просто мы спокойно знали: это
Не для нас —
Для фронта,
Для отца.
Снег валил,
Стелился белой пряжей,
Заметал все гуще, все вьюжей.
А казалось:
Это жены вяжут,
Всей землею вяжут для мужей —
Для живых, бессмертных, незабытых,
Сбереженных памятью такой.
Для увечных,
Раненых,
Убитых,
Ставших болью, песнею, строкой.
«Только б ты, моя надежда, выжил
За семью заставами тоски!».
...Оглянусь в прошедшее — и вижу:
Вяжут,
Вяжут матери носки...

Он прочитал, хмыкнул и отложил книгу со словами: «Ну и любили же вы патетику!»

Нет, не любили. Мы просто жили в такое время. Это было время счастья, лжи, надежд, любви, страха, боли и радости. Патетическое время. Теперь ваше время жить. Попробуйте без патетики: бесслезно хоронить любимых, писать стихи холодным сердцем и отучиться радоваться жизни. Мне хорошо: я уже не узнаю, что у вас получится.

Тот, кто выжил, — ушел и не глянул назад,
Но живым не дано забывать об утратах.
Я сестре пятаки положил на глаза.
Мне бездомный племянник достался от брата.

Мой братик Юра помнится мне только на похоронной фотографии, среди белых бумажных роз. Ни самого его, ни отца я не запомнил.

Саид был из тех, кто нашел свое место в мире. Он принадлежал к редкой категории людей, которых я называю про себя «устроителями жизни». С их появлением все как-то само собой приходит в порядок, вещи находят свои места, в мире становится легко и надежно. Для них зло — патология, форма душевного уродства, искривление пространства, нечто, за что испытываешь стыд и неловкость.

Как у каждого поэта, у Саида было несколько ключевых тем. Главная из них — родина, земля отцов. Ингушетия. Он был из поколения ингушей, выросших в изгнании. И на всю жизнь ушиблен этим. Он вновь и вновь возвращается в стихах к теме обездоленности, ущербности человека, отторгнутого от родины, болеющего памятью о ней. И его клятвенные, почти исступленные заклинания — о нищенстве духа и неприкаянности того, кто лишен родины:

Если б сталось — отчизны лишили меня,
я бы сердцу велел,
чтоб стучать перестало...

И потому он так жесток, почти жесток к тем, кто не устоял и отказался от родной земли:

Тем, кто не смог, — ни жалости, ни чести:
Пусть примет их чужой случайный кров.
Ведь даже птицам
Путь к гнезду известен...
О, родина — труднейшее из слов!

У Саида в стихах много птиц. Они нужны глазам для сиюминутного счастья. Большое приходит или нет, а они все равно нужны.

Но у Саида еще и гнездо. Его птицы покидают родину-гнездо, их полет — это боль и прощание, и вслед им глядит нацеленный на них ствол:

Вспышка — и набок в полете завалится птица.
(Крылья не держат, и рваная рана дымится.)
Горестно крикнет и комом горячего пуха,
Перья теряя, о землю ударится глухо.
Молча смыкает ряды поредевшая стая.
Молча вожак уцелевших друзей сосчитает.

Это — из триптиха о журавлях. Однажды у него вырвались четыре строчки, от которых у меня до сих пор щемит сердце:

Если птиц утешить нечем,
Чтоб им в голос не рыдать,
Как мне с сердцем человечьим,
С бедным сердцем совладать?

Не совладать, Саид, не совладать. Писать бы вот такие стихи и знать, что ты сделал все, зачем родился.

Я переводил его «Чашу слез» — первую драматическую поэму в ингушской литературе. Робкий Сослан, бунтующий на коленях, молит в ней Бога:

За что ты нас наказываешь, Села?
За что так сердце мучаешь? Оно
и так копьем отчаянья пробито.
Зачем глаза нам застишь темнотой,
когда они и так с рожденья слепы?
Скажи, зачем?

Пройдет тридцать лет — и наступит мой черед заголосить, закликать этими же словами покинутого Богом старика и, подобно ему, предъявлять Творцу свой счет, молить, требовать ответа на те же вопросы: «За что? Скажи, зачем Ты взял мою любимую и погасил мой свет?».

Ах, как жадно, как страстно мы жили, захлебывались воздухом, светом, влюблялись в блеск женских лодыжек, в мимолетную прелесть подсмотренной улыбки, в огромное цветастое полотно, которое звалось нашей молодостью! Оно, как на малявинской картине, ослепляло всполохами красно-горячих юбок, верчением солнц! Все было у нас впереди. У нас была огромная, надежная страна, мы были побратимами, и ничего плохого с нами не могло случиться.

Случилось.

Что-то темное и страшное вошло в мой мир. То, что дремлет в человеке, загнанное вовнутрь цивилизацией, законами, устойчивостью повседневного быта, то, чего он стыдится в себе и чему с головокружительной готовностью, почти с восторгом, отдается в минуты бешеного напряжения, — насилие, война. Звериная сущность человека. Чечня.

Для того, кто не устоял перед опьянением насилия, нет ни преград, ни запретов. Есть только заливающая глаза ярость, желание на причиненную боль ответить удеся-

теренной болью. В такие минуты человек наг, примитивен, способен к звериному же терпению и выживаемости. И никому не подотчетен. Он меряет свое существование количеством скальпов или отрезанных ушей врага, зарубками на прикладе. Он вне истории. Он вернулся в свой каменный век.

Я помню, как сжался, впервые увидев на экране телевизора аккуратно расставленные для камеры отрезанные головы российских солдат. И понял, что другая сторона — моя сторона — будет отвечать на это тем же, что завертелся чудовищный водоворот безоглядной жестокости и что нет отныне ни правых, ни виноватых. Теперь женщина — враг, ребенок — враг. И сладковатым запахом крови, от которого поначалу выворачивает нутро, запахло время. Потом, попривыкнув, мы перестали его замечать.

Россия воевала в России, а вокруг меня рушилась моя страна. В магазинах с бою брали липкую колбасу. С темнотой под окнами раздевали прохожих. Идя по утрам на службу, я видел ободранные парапеты у входа в метро — облицовочный мрамор разворовывали на дачные дорожки. «Братки» в золотых цепях с распятым на крестах «гимнастом» играли накачанной мускулатурой. Новые хозяева жизни с «педерасками» на запястьях вечно спешили куда-то на иномарках — покупать, продавать, сводить счеты, «кидать» друзей — и умирать, умирать от пули, от ножа, от взрывов, оцениваемых «в тротиловом эквиваленте».

Но и в самой темноте отчаяния, в той непроглядности, которой стала моя жизнь без опоры, мне не приходило в голову усомниться в Саиде. Он был второй устойчивой данностью моей жизни. Первой была Люда. В девяностом году ее не стало.

Не стало любви моей, утешения моего на земле, и мир вокруг меня рухнул.

Саид прилетел на похороны. Он просидел со мной несколько дней и говорил, говорил — говорил о Люде, вспоминал какие-то смешные истории, связанные с ней, о которых я уже успел позабыть, о ее голосе с картавинкой, о том, как она заразительно смеялась и как похожа на нее Маша. Я не подозревал, что он может так много говорить, и до сих пор не могу понять, откуда он знал, что тогда мне была нужна именно эта неожиданная форма утешения. И он неотступно был рядом, особенно когда я выходил на балкон. Своим присутствием он спас меня.

Сейчас я уже плохо помню, как прожил эти пять лет. Это были годы молчания. Вместе с Людой ушли стихи. Я вычеркнул себя из литературы. Мне остались переводы, они давали ощущение косвенной принадлежности к стихам.

...Но я отвлекся. Поначалу я пытался разыскать Саида. Телефоны не отвечали, о почте не могло быть и речи. В Союзе писателей РФ никто ничего не знал. Телевизор показывал Грозный, который мог присниться разве что в кошмарном сне: скелеты домов, искореженная бронетехника, город-привидение. В репортажах из Чечни мелькали новые словечки: «зачистка», «чехи», «зеленка»... Откуда-то стороной до меня дошли вести, что Чахкиевых в Грозном нет — ингуши оттуда ушли, но куда, я не знал. Саид, где ты?

Признаться, вскоре я перестал доискиваться. Мне было страшно и стыдно. За то, во что я превратил город над Сунжей. За то, что это я убивал на его улицах людей, которых когда-то знал, и они ответно убивали меня на его развалинах. И мне уже не нужно было помнить их лиц, знать, кто это был, потому что это был многоликий, не имеющий черт в р а г .

Я много раз начинал писать стихи, адресованные Саиду, и не мог закончить их. И уже не смогу. Я хотел понять через них, что происходит в моей стране, найти какое-то мерило тому, что случилось и почему. Хотел и не мог. Героизм, продажность, бесстыдная нажива на смерти, отказ от милосердия, тонкошеие новобранцы, которые умирают, не успев сделать ни одного выстрела... Это мы, Господи. Прости нас. И никакие геополитические объяснения, никакие ссылки на историю, на обычаи не примирят меня с этой войной, с тем ощущением подлости, лжи и взаимной жестокости, которое исходило от нее. Я не знаю, что нужно было делать. Но я твердо знаю, что власть не должна воевать со своим народом.

И столь же твердо знал, что Саида нет в этом кругу пожилых людей в папахах,

которые кружатся на экране в неумелой пляске, кричат в микрофон оскорбления неверным и с трудом размахивают слишком тяжелыми для них автоматами.

В ту пору я мало читал, но часто перечитывал «Золотые столбы» Саида — перечитывал свой перевод. Это единственный роман, который я перевел в своей жизни. Роман, который стал откровением в ингушской литературе.

Я до сих пор горжусь этой дипломной работой студента Чахкиева.

Я перечитывал роман раз за разом, почти с маниакальным упорством, стремясь доказать самому себе, что я все-таки что-то сделал в литературе, что я оправдаюсь в ней (перед кем?) хотя бы Саидом, раз стихов у меня нет и больше не будет...

Я взялся переводить Саида, потому что уже тогда, в пору нашего знакомства, он был выше и необычней стандартного «горского поэта»: папаха, конь, кинжал, девушка с кувшином... Он выбивался из общего ряда и тем, о чем писал, и тем, как он это делал. В корявых подстрочниках, которые он готовил сам, билась и пыталась прорезаться какая-то упрямая и гневная сила, по сходству нашего поколенческого опыта близкая мне: в ту пору во мне тоже что-то бродило, просилось наружу и никак не могло пробиться. Жадность видения и ненасытность миром сжигали меня, я хотел писать о нем — и не знал как. А Саид знал и уже написал.

Мы оба понимали, что надежд на публикацию нет (автору заранее объяснили это официальные лица в Грозном), и я переводил роман по дружбе, ни на что не рассчитывая. Не сделать этого я не мог: роман был о самом страшном в истории ингушей — об их выселении. О том, что на всю жизнь стало для Саида неотступной болью.

Двадцать с лишним лет спустя после его единственной публикации в ингушском альманахе роман вышел отдельной книгой на русском языке. В нем шестилетний Муса — это сам Саид. Разорение целого народа, смерть и лишения, увиденные глазами ребенка, чудовищны в своей обыденности. Это книга боли и горечи, лишенной ненависти. Книга крупного художника, написанная с тактом и целомудренностью, от которых, тем не менее, ползут мурашки по коже.

Вслед за романом я перечитывал свои переводы его стихов, уже подзабытые, отболевшие, и не понимал, как я мог не заметить в них того, что теперь бросалось в глаза: предчувствия грозных перемен. В его поэзии, которая никогда не была пасторальной, но подпитывалась давней традицией спокойного мужества, твердости духа и чести, тревожным колокольцем в еще совсем мирные времена прозвенивали неожиданные строки:

Этот тихий-тихий вечер
Всех смирней и шелковистей.
Вон самим себе на плечи
Тополя роняют листья.
Детский смех округу будит,
Тишина гремит, как выстрел.
Слава богу, что не люди —
Гибнут листья, только листья...

При всей его счастливой наполненности внешним миром, Саид жил предчувствием каких-то грядущих катастроф. Откуда это, Саид? Я тогда ничего не видел. Ведь не было еще ни исхода ингушей из Чечни, ни событий в Пригородном районе. Не было боевиков Гелаева, басаевского рейда на Назрань. Не гремели в городе взрывы заминированых «Газелей» и не велся счет сотням жертв. Откуда в умиротворенном стихотворении о Пушкине эта восьмая строчка, эти походя оброненные несколько слов?

Когда, устав от тяжести забот,
Душа сдает и тянется к покою,
То я опять — уже который год! —
Твои страницы трогаю рукою.
И светлых строк спокойное тепло
Вновь одаряет щедрыми дарами.
И можно жить, и, видно, не пришло
То, что совсем уже не за горами...

Он видел дальше и четче меня. Предчувствие Владикавказа осени 1992 года уже, наверно, носилось в воздухе, а я ничего не чувствовал. Я был занят своим горем и оплакивал своих мертвых.

Он рано написал свое кредо, которое уложилось в четыре строчки:

Меня бедой проверили — я вынес.
Упал, чтоб встать и петь упрямым ртом:
В тяжелый час нельзя лежать мужчине
Подобно псу с раздавленным хребтом.

Опасно поэту пророчествовать и подводить в стихах итоги жизни. Непреложность сказанного предполагает законченность пути. «Вынес» — это прошедшее время, это уже за спиной. Саид писал о своем детстве. Но написанное вернулось и повторилось: пришел новый «тяжелый час».

В одном из его стихотворений несется смертельно раненная лань — в запале последнего страха, еще не чувствуя, не понимая, что уже ничего не будет, что дорога закончена:

Глаза еще не видят пустоты —
Она тверда под твердостью копыта.
Но как пестрят гремящие кусты,
В один клубок намотаны и сбиты!

Как страшен миг паденья в никуда,
Исчезновенье матери-опоры!
О чем она подумала, когда
Над ней переворачивались горы?

Это Саид с перехваченным дыханием смотрит, как у него на глазах разламывается на куски, «падает в никуда» громадная страна, в сладострастии самоунижения раздирая на себе одежды и прилюдно отрекаясь от всего — от друзей, от союзников, от собственной истории. Это у него в глазах «переворачиваются горы» — его малая родина распадается на куски, вчерашняя родня никак не может поделить свою небольшую землю, свои горы...

Так бы и пропал для меня Саид в пучине войны, но выручил Интернет: однажды, когда у меня запоздало завелся компьютер, я набрал на экране «Саид Чахкиев» — и посыпались, как из рога изобилия, файлы... Жив, они с Маликой в Назрани!

А потом раздался звонок: «Гена, как дела?»

И жизнь пошла дальше, будто и не было в ней зияющей дыры в несколько лет. Саид никогда не заговаривал о том, как ему жилось в эти годы чеченской войны, чем стала для него вторая депортация.

Я не спрашивал — время для распросов еще не наступило. В Ингушетии гремели взрывы, ингуши отчаянно стремились отгородиться от войны, которую не считали своей, не дать втянуть себя в кровавую мясорубку... Да и не телефонный это разговор. Я видел, что Саиду легче отделываться общими фразами, шутками, заверениями, что «все нормально», но нормально быть не могло — рядом шли бои, рядом убивали.

Я был уверен, что он ничего не забыл. Что эти годы не прошли впустую. Эпик по природе своего таланта, он оказался участником трагического эпоса, для осмысления которого ему требовалось время. Ведь он был не только Народным поэтом Ингушетии, он был ее Народным летописцем, в двух романах — «Золотые столбы» и «Волчьи ночи», в пьесе «Когда гибнут сыновья» рассказавшим ингушам недавнюю историю их собственной земли. Именно он должен был написать о горьких годах нового изгнания. Должен — и не успел. Сумеет ли сделать это за него кто-то другой?

Незадолго до смерти Саид неожиданно дал мне еще одно доказательство своей долгой памяти. В тот день он позвонил мне совершенно счастливым:

— Гена, наш президент подписал указ о награждении тебя орденом за заслуги перед ингушским народом! Ты получишь его в представительстве Ингушетии в Москве!

Признаться, никаких особых заслуг я за собой не чувствовал, тем более, что уже не занимался горскими переводами. Но меня поразило, что все эти годы Саид, ни словом не обмолвившись об этом, добивался награды для уехавшего на край света Русакова! В следующий приезд в Москву обязательно пойду в представительство... Спасибо, Саид.

...Я перебираю старые фотографии. Вот мы едем на его родину, в Насыр-корт. Вот жарим шашлыки, купаемся в местной речушке, в ауле мне дарят папаху... Вот я снят в ней в Переделкине, рядом Арсений Александрович Тарковский с Татьяной Алексеевной, Люда, наша Маша в вязаной шапке с помпоном, еще дошкольница, с ней Людина бабушка — Марья Артемьевна. Арсений Александрович уже примерил папаху, она ему немного мала. Он любит все эти ряженья, с детской самоотдачей участвует в дурашливых примерках, в нанизывании рассыпавшихся бус Люды...

Папаху давно источила моль, уже нет на свете ни Люды, ни Арсения Александровича, ни Татьяны Алексеевны, ни Марьи Артемьевны, а я в чужой стране пишу о них, о Саиде и два года не был в России...

Он переслал мне с оказией свою последнюю книгу — «Суть», и мне сразу же бросилось в глаза имя на обложке: «САИД». Не Саид Чахкиев, нет. Просто САИД. Этого достаточно. Как некогда достаточно было сказать РАСУЛ. Или ЧИНГИЗ. Или ФАЗИЛЬ.

Я думаю, что он оглянулся на свою жизнь, понял свое место в горской литературе и спокойно занял его. Так делает мастер, сознающий свою силу.

Он мог в литературе все: писать басни, притчи, любовную лирику и сатирические стихи. На его детских книжках выросло несколько поколений ингушей. Его пьесы до сих пор не сходят со сцены. Песни на его стихи стали народными. По его книгам восстанавливают историю Ингушетии. Ему было тесно в любом жанре, он перевел «Слово о полку Игореве», Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Ростана, Лорку, собирался и дальше переводить русскую классику — непременно всю. У него на все хватало рук, мир нуждался в нем. В нем нуждался читатель. В нем нуждался я — он был моим единственным другом.

Я пишу о Саиде с тем ощущением расстояния, которое устанавливает смерть между живыми и ушедшими, пишу, видя его крупно и выпукло, чтобы успеть сказать то, что не успел высказать ему при жизни. Мы никогда не успеваем за смертью...

Во всем, что оставил после себя Саид — как в поэзии, так и в прозе, — есть спокойная уверенность доброты. Он не умел про злых. Он был органически неспособен признать естественность зла. У него даже отрицательные персонажи наделены каким-то эпическим фатализмом, будто это не они, а некая высшая сила движет их подлыми деяниями. Не будь ее, они оказались бы самыми заурядными людьми и вполне сносными соседями. В «Чаше слез» жестокосердый Села-бог, обрекающий людей на вымирание, выглядит этаким болтливым казуистом, щеголяющим бурсацкой латынью перед аудиторией из одного человека.

В ингушской литературе не было писателя такой мощи, такого размаха и многосторонности таланта. И мне повезло быть его другом. Для меня он остался одним из тех немногих цельных, сделанных из одного куска натур, которые и в быту, в общении, столь же высоки, как их произведения. Это редкий дар, который дается только очень добрым и порядочным людям. Я уже не встречу на своем недолгом веку другого такого человека. Я помню тебя, Саид.

Чем дольше живешь, тем четче понимаешь, насколько точно и бесповоротно разлинована человеческая жизнь по линейке Творца на возрастные периоды: вот в этом возрасте положено влюбляться и куролесить, вот здесь тебе захочется семьи и ребенка... а тут у тебя пропадет интерес к тому, чтобы горохом сыпаться вниз по лестнице... пялиться на девушек... есть мороженое... А вот в эти годы у тебя будет простата, ты привыкнешь не спать по ночам и поймешь, что наступило время отдавать долги. Что все уже круг близких тебе людей.

И с каждой смертью все острее у тебя чувство вины за то, что не договорили, не довстречались, не сказали друг другу нужных слов, словно этим можно что-то изменить, спасти, попросить прощения...

Владимир Дегоев

Северный Кавказ: исторические очерки

Историко-этнографическая экспозиция

Дела давно минувших дней сплошь и рядом отзываются в днях нынешних. А пуще того отзывается в них наша неосведомленность в том, что и как было. Знание истории — не панацея, не универсальный инструмент решения современных проблем, однако оно чрезвычайно полезно для осмысления происходящего сегодня и порой удивительным образом помогает если не изменить, то скорректировать наши представления, зачастую складывающиеся под влиянием газетно-телевизионной информации и лихих высказываний участников ток-шоу. Именно поэтому «ДН» видит смысл в обращении к максимально объективной истории нашей страны и открывает подрубрику «Полезная история». В ней мы предполагаем несколько раз в год печатать исторические очерки, которые, мы надеемся, позволят восполнить пробелы в наших знаниях и поспособствуют нам с большей основательностью судить о современной ситуации.

Мы начинаем с весьма чувствительной для страны темы Северного Кавказа. Ее будет вести Владимир Владимирович Дегоев, доктор исторических наук, профессор МГИМО-Университета, директор Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Института международных исследований, автор множества книг по истории и современности Кавказа и наш давний автор, ставший еще в 1999 году лауреатом премии журнала «Дружба народов» за великолепный очерк «Имам Шамиль по ту сторону войны и политики».

Строение общества

В XVI веке Северный Кавказ представлял собой географическое пространство, населенное десятками племен и народностей. Обитая в разных природно-климатических условиях, они отличались друг от друга языком, уровнем и характером общественного строя, культурными особенностями, численностью. Все они находились на той или иной стадии перехода от патриархально-родовых отношений к раннефеодальным, классовым. При этом даже этносы, достигшие относительно высокой социальной организации, еще очень долго сохраняли архаичные черты, оказывавшие существенное влияние на весь уклад народной жизни. Отсюда постоянно возникающие перед исследователями проблемы формационной (или цивилизационной) идентификации данных обществ.

Вопрос о путях генезиса, уровне и типе феодальных отношений на Северном Кавказе является остро дискуссионным с научной точки зрения, а в последние два десятка лет он еще и глубоко идеологизирован. Принято думать, будто наличие или отсутствие феодализма имеет прямое отношение к культурно-цивилизационной, исторической репутации народа, его статусу на вертикально стоящей лестнице общечеловеческого прогресса.

Формационная теория марксизма с ее идеей об универсальных закономерностях эволюции общества поощряла советских историков в стремлении непременно найти у народов Северного Кавказа XVI—XIX веков ту «классическую» модель феодализма, которая якобы существовала в Западной Европе (на самом деле даже там никакой единообразной классичности не было). Когда сделать это по очевидным причинам не удалось, родилась некая адаптированная к местным реалиям концепция «горского феодализма», в свою очередь ставшая предметом научных и околонаучных споров.

Не вникая в их запутанные детали, выделим в этой концепции то, что в ней представляется наиболее правдоподобным, аргументированным, логичным, а следовательно, научно плодотворным. Сквозь эту призму «горский феодализм» выглядит как весьма специфическая, аморфная, находящаяся в стадии формирования и развивающаяся в очень медленном и неровном, «приливно-отливном» темпе социально-хозяйственная и социально-культурная система. Ее сословно-иерархическое или, по-марксистски, классовое содержание заметно разнилось от территории к территории, в одних случаях свидетельствуя о начальных этапах эволюции социума, в других — о переходных и более зрелых.

Куда менее развита сугубо политическая составляющая этой системы. В ней в той или иной степени наличествовали лишь элементы государственности, так и не оформившиеся в полноценное феодальное государство. Как справедливо замечают многие ученые, на Северном Кавказе княжеская власть — в принципе являющаяся прообразом ранних монархий — осталась на стадии ***вождества*** или дополитических форм предводительства. Это прочно закреплялось в социально-психологических, культурных и поведенческих кодах в виде идей свободы и равенства, ревностно охранявшихся от посягательств всякого рода «политических реформаторов» и «объединителей».

Государств в полноценном смысле слова на Северном Кавказе не было. Но были более или менее выраженные элементы государственности. В большей степени они характерны для таких этнополитических образований, как Кабарда (Большая и Малая), шамхальство Тарковское, Тюменское ханство, уцмийство Кайтагское, Аварское нуцальство (позже — ханство), Табасаранское майсумство, Цахурский (или Элисуйский) султанат, Дербентское ханство. В меньшей — для Северо-Западного Кавказа (Черкесии), где зачаточные формы государственности наличествовали лишь у так называемых «аристократических» или «княжеских» племен.

Особняком стоит Ногайская Орда, которая возникла после распада Золотой Орды в степях Предкавказья, простирающихся от устья Дона на западе до междуречья Кумы и Терека на востоке. Строго географически значительная часть Орды не относилась к Северному Кавказу, однако ее существенное влияние на геополитическую ситуацию в регионе в XVI веке заставляет учитывать данный фактор.

Кочевой образ жизни ногайцев придал их социальной и «государственной» (или, скорее, протогосударственной) организации специфические черты, совокупно именуемые в современной этнологической науке очень условным термином «кочевой феодализм». В середине XVI века Ногайская Орда разделилась на Малую, оставшуюся в Предкавказье, и Большую, откочевавшую за Волгу и Яик.

Северокавказские квазигосударства, с точки зрения социально-политической, были сложносоставными системами. В наиболее развитых из них существовала многоступенчатая общественная иерархия, внешне построенная на сеньориально-вассалитетном принципе. Самую верхнюю строчку в ней занимал князь (иногда «старший» или, заимствуя русскую феодальную терминологию, «великий» князь), статус которого обозначался в разных местах по-разному: хан, шамхал, нуцал, уцмий, майсум, султан.

Далее шли представители феодальной аристократии и феодального сословия в целом, также именовавшиеся в соответствии с местными историко-культурными и языковыми традициями: беки, мурзы, таубии, уорки, уздени и т.д. Отношения их с князьями носили сложный и не до конца выясненный учеными характер. Определенная степень подчинения безусловно существовала, но она зависела от конкретного

соотношения силы, влиятельности и амбиций сеньора, с одной стороны, и его вассалов — с другой и нередко была лишь кажущейся.

Судя по источникам, еще менее четкой являлась система соподчинения внутри класса феодалов. В северокавказских языках (мы, разумеется, исходим из того, что они отражают реалии жизни) есть целый набор слов для определения того или иного местоположения в социальной иерархии, и это, по логике, должно свидетельствовать о наличии по крайней мере формальной вассалитетной зависимости одних от других. В то же время бесчисленные примеры совершенно своевольного поведения тех, кто считался вассалами, говорят о весьма номинальном характере такой зависимости.

Непроста картина и на нижних этажах северокавказских обществ. Помимо кровнородственных общин (тухум, тейп) на разных стадиях разложения имелись довольно крупные общинные союзы (джамааты, магалы), где уже заметен территориально-соседский принцип расселения. Одна часть этих общностей подчинялась князьям и феодалам, платя различные подати. Другая часть была свободной и управлялась выборными старшинами. Эти социальные организмы в Дагестане и Чечне назывались «вольными обществами», в Черкесии, как уже отмечалось, — демократическими племенами. Жизненно важные вопросы обсуждались на народных собраниях, там же принимались соответствующие решения, обязательные к коллективному исполнению.

Вольные общества и их западно-кавказские аналоги являлись прежде всего военными организациями. Война в форме набегов на ближних и дальних соседей, а также наемничество были частью их повседневности. В иных случаях — едва ли не главным способом существования. Источники иногда называют эти объединения «военными республиками». По понятным причинам они становились важным фактором в политической расстановке сил и на Северном Кавказе, и в Закавказье. В условиях перекрестного столкновения противоположных интересов местных политических игроков разных калибров спрос на «профессиональные услуги» вольных обществ и на союзнические отношения с ними был высок.

Эти социальные структуры специализировались отнюдь не только на войне. Имеются достоверные исторические сведения о вполне развитой хозяйственной жизни горцев. Для отдельных ее отраслей — в частности ремесел — были характерны образцы высочайшей производственной культуры. Горские общества также вели активный товарообмен с равниной, в котором определенную роль уже играл всеобщий эквивалент — деньги в виде серебряных и золотых монет.

Мирная, хозяйственная деятельность в большей степени была свойственна общинам, находившимся в зависимости от князей и феодалов, что, однако, совсем не означало беззащитности или безопасности этих общин для окружающих. Постоять за себя могли любой аул, любая семья, любой мужчина.

Отношения князей и их вассалов с общинниками строились на некоем негласном договоре: князь обеспечивал безопасность общины от наиболее серьезных внешних угроз, а в ответ получал натуральную ренту и, заодно, лояльность. Такой договор основывался на обычаях, и поэтому нарушение его дорого обходилось нарушителю. По большому счету общинники зависели от князя так же, как и он от них. Его власть ограничивалась неписаными (а иногда и кодифицированными) нормами права и морали. Требования, выходившие за их пределы, нередко наталкивались на вооруженный отпор и грозили потерей всякого влияния на «низы».

У князя была дружина, призванная защищать его владения, а также служить атрибутом власти и могущества. Порой она использовалась для княжеских «забав» — охоты и такой ее разновидности, как тайный грабеж соседних территорий. Дружине также приходилось участвовать в бесчисленных межкняжеских войнах и усобицах, во многих случаях спровоцированных кровной местью.

Какую бы цель ни преследовал набег — грабительскую, социально-престижную, политико-завоевательную, — он являлся, с одной стороны, вековой традицией, с другой — военно-техническим приемом практически у всех народов Северного Кавказа. Глубоко деструктивную составляющую набегов с точки зрения экономики, межплеменных, межэтнических и межгосударственных отношений отрицать трудно. Кроме прочего, эта традиция вносила свой вклад в раскручивание маховика кровной

мести в масштабах, не знавших ни социальных, ни географических, ни политических границ. Как банально замечено по этому поводу в одном из бесчисленных исторических источников, «подвиги наездничества всегда оканчивались кровью».

Нередко князья (шамхалы, ханы, уцмии и т.д.) совершали разбойничьи набеги не ради самих набегов, а для того, чтобы заставить богатых соседей откупаться от этой угрозы и тем самым поставить их в данническую зависимость.

Отдельные, наиболее крупные князья имели примитивный административный аппарат или, скорее, некое его подобие. Он занимался управлением «дворцовым» хозяйством, сбором налогов и разными организационными вопросами. Но этот аппарат так и не оформился в специализированную отрасль власти — князь, как правило, предпочитал во все вникать сам.

Связь правителя с его «дворцовой» челядью и дружиной носила не только и зачастую не столько институциональный, сколько личный, ситуативный характер. Поэтому прочность социально-политических позиций князя во многом зависела от его персональных качеств. Они же играли огромную роль в глазах рядовых «подданных» — общинников, которым было вовсе не безразлично, кому подчиняться.

Личный авторитет князя мог стать определяющим фактором в деле обеспечения широкой народной поддержки (в виде ополчения) в случае большой войны.

Важнейшей составляющей княжеского авторитета являлась его готовность следовать обычаям и традициям (адатам), которые распространялись на сферу отношений правителя как с «придворной» знатью, так и с простым народом. На Северном Кавказе, особенно у западных адыгов, кабардинцев и осетин, складывавшийся веками поведенческо-бытовой этикет и нравственный кодекс обладали поистине сакральным смыслом. Нарушение этих правил приравнивалось к святотатству и обрекало нарушителя — вне зависимости от его социального положения — на строгое наказание в той или иной форме.

Одним словом, правитель, пренебрегающий заветами предков, мог легко лишиться социальной опоры и в ближнем кругу, и в обществе в целом. А вместе с ней — политического статуса. Иногда и жизни.

Однако патриархальные нормы служили не только средством ограничения власти князя, но и эффективным инструментом ее укрепления. Аталычество, аманатство, побратимство, куначество, гостеприимство, круговая порука, взаимопомощь, ритуальные подношения — все эти институты традиционного общества при умелом их использовании гарантировали правителю весьма прочные и разветвленные связи, образующие целую сеть социальной клиентелы.

Эти же институты, наряду с династическими браками и вековыми кровно-родственными связями, работали и на уровне межкняжеских — политических и, в каком-то смысле, «международных» — отношений на Северном Кавказе.

По всей видимости, именно требовательными патриархальными традициями, связывавшими местных правителей узами естественного и искусственного родства, а также соответствующими моральными обязательствами, следует объяснить тот факт, что во внешнеполитических вопросах мелкие княжества-государства ориентировались на более крупные, как бы делегируя им свои полномочия в этой важной сфере. В Дагестане, к примеру, тарковские шамхалы порой осуществляли весьма широкое представительство на международной арене, хотя преувеличивать его эффективность не стоит.

Еще одним фактором, способствовавшим упрочению власти северокавказского князя-правителя, становилась возможность осуществления судебных, третейских функций — возможность, возникавшая в связи с общественной потребностью в высшей арбитражной инстанции. Народное собрание далеко не всегда могло выполнять роль такого регулятивного механизма, особенно когда речь шла об отношениях между враждующими общинами или отдельными представителями феодальной знати.

Этнополитическая карта региона

Северокавказские квазигосударства в большинстве своем были полиэтничными образованиями с весьма размытыми и постоянно меняющимися географическими границами. Они отличались внутренней неустойчивостью и ярко выраженными центробежными тенденциями, вызванными целым рядом причин, в том числе слабостью княжеской власти и отсутствием четкого порядка ее наследования. Междоусобицы и дробление территорий были привычными явлениями.

В результате этнополитическая карта региона часто менялась: одни квазигосударства исчезали, другие возникали. Так, на рубеже XVI—XVII веков Кабарда распалась на Большую (западную) и Малую (восточную). А Тюменское ханство и Табасаранское майсумство вообще прекратили свое существование. Несколько позже из шамхальства Тарковского выделилось несколько вполне самостоятельных политических единиц, пусть и миниатюрных.

Внутрикняжеские и межкняжеские распри провоцировали вмешательство внешних сил, как кавказских, так и внекавказских (Иран, Турция, Крымское ханство, Россия). Это также приводило к перекройке границ и к перераспределению сфер влияния. К XVI веку, например, утратило свою независимость Дербентское ханство, фактически став северной провинцией Ирана.

С другой стороны, внешний фактор — когда стихийно, а когда и сознательно — превращался в механизм поддержания определенного политического равновесия в регионе. У феодально-княжеских элит появилась относительная свобода выбора иностранных покровителей. Эта свобода давала некоторое пространство для лавирования между внешними игроками путем противопоставления их друг другу. Становясь объектом не только угроз, но и ухаживания со стороны крупных соседних держав, местные князья обретали дополнительный политический вес.

Эта ситуация, помимо всего прочего, позволяла удерживать в северокавказских квазигосударствах очень хрупкий баланс между центростремительными и центробежными факторами. К числу последних относилось то обстоятельство, что эти политии не были этнически однородными. В зависимости от Кабарды (а значит, в известном смысле, в ее составе) находились осетины, карачаевцы, балкарцы, абазины, западная часть ингушских и чеченских обществ. Еще более пестрым был этнический состав шамхальства Тарковского, Аварского нуцальства, уцмийства Кайтагского — кумыки, аварцы, даргинцы, ногайцы, лезгины, лакцы, агулы, чеченцы, ингуши, таты, горские евреи.

В ряде случаев зависимость «нетитульных» этносов от «титульных» имела экономические причины. К примеру, кабардинские князья контролировали выходы из горных ущелий (где в XVI веке жили осетины, балкарцы, карачаевцы, абазины, ингуши, чеченцы) на пастбищные равнины, без которых невозможно отгонное скотоводство — основное занятие всех горских народов.

Аналогичным экономическим и политическим рычагом активно пользовались тарковские шамхалы, в руках которых находились прикаспийские пастбища, где жители горных общин могли пасти свой скот на условиях аренды. Это ставило их в прямую зависимость от шамхалов и принуждало к лояльности, хотя и не гарантировало ее.

Тут, кстати, следует отметить, что владение равнинной территорией обычно является эффективным инструментом экономического, политического и культурного воздействия на тех, кто живет выше. Не случайно, универсальным средством общения — *lingua franca* — становятся «равнинные» языки. (Таким языком для Северо-Восточного Кавказа был кумыкский.) Именно на равнине происходил интенсивный товарообмен. Именно через равнину пролегали важнейшие торговые пути. Именно равнина страховала горы от неизбежных рисков, связанных с ограниченной природными условиями производственной базой.

Экономическая диктатура равнины вызывала у жителей высокогорья двойственное чувство: с одной стороны, презрение к ее изнеженности, с другой — затаенную зависть к ее богатству и культуре.

Характерной особенностью северокавказского культурно-цивилизационного

ландшафта было отсутствие городов как системообразующих центров социально-экономического и политического развития.

Единственное и очень яркое исключение — Дербент, древнейший город и морской порт, крупный центр ремесел и торговли, обязанный своей высокой культурно-урбанистической репутацией по меньшей мере двум обстоятельствам: он во многом был частью персидской цивилизации и ввиду своего географического расположения исторически выполнял чрезвычайно важную функцию контактной зоны, через которую Европа (включая Россию) и Восток общались и познавали друг друга. В каком-то смысле Дербент был всекавказским культурным феноменом и одновременно неповторимым, уникальным для Северного Кавказа явлением.

Замки и крепостные сооружения ханов, выполнявшие совершенно иные, военно-оборонительные функции, так и не стали, в отличие от Европы, предвестниками урбанистической эпохи. Города в регионе возникнут лишь с приходом России в XVIII веке и за пределами ханских резиденций.

Горная местность создавала естественные и труднопреодолимые препятствия для самых разных видов общения, без которого немыслимы ни экономический рост, ни политическое единство. Положение усугублялось тем, что суровые реалии жизни (войны, междоусобицы, набеги, грабежи) заставляли делать все, чтобы обеспечить недоступность поселений, для каждого из которых внешний мир, как правило, ассоциировался с угрозой.

В результате система коммуникаций — одна из базовых предпосылок общественного развития — оставалась в первозданном состоянии. Отсюда замкнутость, обособленность, неподвижность, оберегаемые как первое условие самосохранения и безопасности.

В XIX веке русские и иностранные знатоки социально-культурного быта Северного Кавказа, не сговариваясь, констатируют одно и то же: «своеобразный мир с особым складом домашних и общественных отношений», «замкнутый круг жизни» и «роковую необходимость» выхода из него.

Поэтому многие предпочитали селиться высоко в горах, гарантируя себе безупречную защиту и тем самым возможность для безнаказанного нападения на более уязвимых.

Горные ущелья служили идеальным средством консервации социально-культурного быта. Течение исторического времени там как бы останавливалось. Горцы питали глубочайшее недоверие к разного рода реформам и нововведениям.

Северный Кавказ был полиэтничным пространством с незапамятных времен. С XVI века эта особенность приобретает еще более выразительные проявления. Оба берега Терека в его среднем и нижнем течении, бассейны рек Сунжа и Фортанга заселяются русскими беглыми крестьянами (отчасти староверами), давшими начало гребенскому казачеству.

От слова «гребни» — небольшие горы в терско-сунженском междуречье. Происхождение слова «казак» — предмет давней дискуссии среди ученых. В русских источниках термин «казаковать» означал «совершать набеги», «разбойничать». Но это занятие, знакомое отнюдь не только казачеству, было общим «историческим достоянием» всех народов Северного Кавказа.

В общих чертах его можно характеризовать как многосмысловую категорию, включавшую в себя такие параметры, как способ добывания средств к существованию, хозяйственная специализация, этническая принадлежность, социально-культурный облик, религиозная идентичность, политическая организация. Со временем это понятие эволюционирует из аморфной субстанции в более конкретную, позволяющую отождествлять казачество с крупным сообществом, которое занимало обширную территорию, имело славянское ядро (обладая одновременно признаками субэтноса и сословия), исповедовало православие, тяготело к общинно-демократическим формам социально-экономического бытия и военному образу жизни как способу самозащиты. Уникальной культурной особенностью казачества являлась его открытость и готовность вбирать в себя разнородные этнические элементы.

Со временем славянское население росло. Находясь в тесном соседстве, каза-

ки и горцы заимствовали друг у друга хозяйственные приемы, ремесленные навыки, культурно-бытовые особенности, военное мастерство.

Общение это не было безмятежным. Случались вооруженные столкновения, взаимные набеги, борьба за территорию. Это, однако, не мешало, если не способствовало (как ни парадоксально) развитию интереса друг к другу.

Возникали и ширились торговые связи. Горцы стали использовать тот же сельскохозяйственный инвентарь и те же земледельческие приемы, что и казаки. Было оценено удобство русских изб. Часто именно такой тип жилища с соответствующим внутренним убранством предпочитали горцы, переселявшиеся на равнину. Казакам, в свою очередь, пришлась по душе очень практичная, приспособленная к местным природно-климатическим условиям горская одежда. В будущем, особенно в период Кавказской войны, это приведет к трагикомичным ситуациям, когда казаки и горцы, не разобравшись, кто перед ними, открывали огонь по своим товарищам.

Широко практиковались и заимствования нематериального характера. Горский обычай куначества стал очень важным институтом межэтнического общения, обладавшим миротворческим потенциалом и приносившим большую пользу в сложных, остро конфронтационных обстоятельствах.

Причем даже в условиях противостояния элементы взаимопонимания и «дипломатические» контакты возникали между русскими и горцами стихийно, вне зависимости от официальных действий российского правительства. Сама повседневная реальность с ее житейским прагматизмом становилась наилучшим регулятором «международных» отношений.

Не были русские чужаками и на Северо-Западном Кавказе, где четкие следы их присутствия археологические и письменные памятники фиксируют с IX века. В результате победы киевского князя Святослава в войне с Хазарским каганатом (965—967 гг.) Древнерусское государство ненадолго приобрело такие размеры и такое внутриполитическое содержание, в которых историки увидели основание говорить об «империи Святослава». Находившиеся от нее в даннической зависимости территории простирались вплоть до Кавказского хребта. С этносами, населявшими это пространство, также устанавливались военно-союзнические и «династические» отношения, например, с ясами (аланами-осетинами) и касогами (кабардинцами и черкесами или адыгами). Их боевые дружины, находясь на службе у Святослава и его преемников, активно вовлекались во внутренние дела Киевской Руси, включая междоусобную борьбу за власть.

Приблизительно в это же время в районе Северного и Южного Прикубанья, а также Восточного Приазовья образовалось Тмутараканское княжество — нечто вроде вотчинно-наследного владения киевских князей. Этот уникальный по своему историческому значению выселок играл важную военно-политическую, торгово-экономическую и культурно-коммуникативную роль на Северном Кавказе и в Предкавказье. Тмутараканское княжество можно назвать «маленьким Вавилоном», где жили, узнавали друг друга, учились понимать и заимствовать чужое русские, хазары, греки, ясы, касоги, абазины, евреи, итальянцы.

Правда, такая жемчужина, как Тмутаракань, находившаяся на перекрестке торговых путей и этим богатевшая, была также яблоком раздора. Извне ее хотели захватить соседи, изнутри — те или иные политические группировки. В подобных условиях и в отрыве от основного массива Киевского государства долго просуществовать княжество не могло. С нашествием монголов следы Тмутаракани в исторических хрониках теряются окончательно.

Однако говорить о бесследном растворении русского населения княжества нельзя. Часть его, как считают ученые, действительно была ассимилирована автохтонными местными этносами и пришедшими монголами. Другая же в поисках спасения раздробилась на мелкие группы, создала очаговые поселения по всему Северному Кавказу и выжила, дождавшись в конце концов «второго пришествия» Руси в этот регион в XVI веке.

Есть поэтому резон согласиться с мнением исследователей, полагающих, что в многовековом процессе освоения Северного Кавказа русскими есть культурно-историческая и демографическая непрерывность.

Религии

Вопрос о доминирующей религии на Северном Кавказе в XVI—XVII веках и общественно-политической роли религиозного фактора крайне сложен и спорен. Историографические данные об этом отрывочны и противоречивы. Пожалуй, единственное, на чем они сходятся, так это на том, что среди простонародья, то есть подавляющего большинства населения, преобладало язычество.

Известно также, что в материальной культуре, преданиях, некоторых тотемических обрядах западных адыгов и осетин сохранились следы христианства византийского толка, распространенного у них в период с VI по XIV век.

В I веке н. э. апостол Андрей Первозванный, согласно преданию, проповедовал христианство среди алан (осетин), абхазов, черкесов (адыгов), сумев обратить многих из них в новую веру. Миссионерская работа на Северном Кавказе продолжалась и позже. С IV века заметную роль в христианизации региона играет Грузия. Но наибольших успехов в этом добивается Византия. К началу VI века на территории Черкесии (Зихии), Тамани и Абхазии насчитывалось 24 города-колонии (соответственно 6, 7, 11) с церквами, где проповеди и молитвы читались как на греческом, так и на местных языках. Тогда в Черкесии было 4 епархии, епископы которых назначались из Константинополя и принимали участие в византийских церковных соборах.

В правление императора Юстиниана (527—565 гг.) греческие монахи селились среди алан и строили там каменные церкви, способствуя укреплению позиций христианства. Византийские летописи начала VIII века сообщают о «чрезвычайной набожности» алан и черкесов. Христианство являлось официальной религией в Аланском царстве (X—XII века), где была своя епархия, преобразованная затем в митрополию в составе Константинопольской патриархии.

Есть данные о влиянии христианства на кабардинцев, начиная со II века н. э. Это время, судя по всему, сохранилось в народной памяти достаточно прочно, поскольку в XVI веке послы Кабарды просили московских царей о восстановлении у них христианства.

Не подлежат сомнению многочисленные исторические свидетельства о широком распространении христианства в Кавказской Албании (Дагестан и Восточное Закавказье) с IV по VII век. Эту религию в той или иной степени исповедовало все полиэтничное население государства, включая лезгин, чеченцев, тюрков, у которых многие исследователи находили следы христианской обрядности вплоть до середины XVIII века.

По памятникам архитектуры и эпиграфики отчетливо прослеживается христианское влияние и в посталбанском Дагестане VIII—XII веков, а также в Ингушетии (Ассинская котловина).

Значительный вклад в христианизацию Северного Кавказа внесло Тмутараканское княжество, ставшее с начала X века крупным культурным центром и первой русской епархией в регионе. Построенные там монастыри и церкви с их внутренним убранством и фресками говорят, кроме всего прочего, о тяготении местных этносов к духовному единству. Поразительными сегодня кажутся абсолютно достоверные сведения о том, что в оформлении интерьеров тмутараканских храмов использовались кавказские орнаментальные мотивы, а в качестве иконописцев приглашали мастеров северокавказского происхождения, в частности абазин.

Другим ретранслятором христианства греческого образца было Абхазское царство (786—1089 гг.) — сильное, богатое, независимое государство, разделенное на 22 епископства, которые подчинялись каталикосу Пицундскому. После завоевания Абхазии грузинским царем Давидом IV Строителем (1089 год) эта функция отчасти перешла к Грузии. Яркий след в деле развития христианства на Северном Кавказе оставила царица Тамара, правившая с 1184 по 1207 год.

Нашествие монголов в 20-х годах XIII века и последующее их господство во многом изменили политическую и этническую карту Северного Кавказа. Как любые завоеватели, они не терпели сопротивления и подавляли его беспощадно. Но после решения этой сугубо военной проблемы монголы устанавливали на покоренных тер-

риториях такую форму власти, которая проявляла к местной культуре и религии чувство, именуемое рядом исследователей веротерпимостью, хотя уместнее, вероятно, назвать его безразличием. Главным для монголов было устранить на своем пути крупные политические единицы, способные к организованному сопротивлению. Вникать же во внутреннюю жизнь уже подчинившихся народов они не собирались.

В монгольских завоеваниях, в отличие, к примеру, от арабских, не было агрессивно-мессианского начала. Идеологически монголы ничего не могли предложить местному населению, точнее, ничем не могли подавить его духовно. До конца XIII века они придерживались языческих обрядов, а впоследствии колебались между буддизмом, исламом и христианством. Монголы нанесли сильный удар по православию на Северном Кавказе не столько потому, что целенаправленно боролись против чужой веры, сколько потому, что вытеснили автохтонное население (в основном алан) из Предкавказья и заперли его в горных ущельях, где оно, оказавшись физически отлученным от внешнего мира, вернулось к политеизму.

Несомненный интерес для историков и этнологов представляет тот факт, что у алан-осетин, вытесненных монголами с равнины в горы, произошли крах центральной власти, упадок весьма развитого политического строя и реставрация патриархально-родовых отношений. Одновременно возродилось и язычество как идеологическая система, более соответствовавшая архаическим реалиям жизни. В русской историко-этнографической литературе высказано нечто вроде гипотезы, согласно которой дикая негостеприимная природа гор, создававшая для социума постоянную угрозу физического исчезновения, сужала для человека мир идеального, духовного, воображаемого. Точнее говоря, этот мир рождал особую разновидность творческой фантазии — порой пламенной и неуемной, — но в нем было мало места для организованного конфессионального начала, плохо приживающегося в условиях культурно-пространственной изоляции.

В несколько лучшем положении были черкесы. Эти разобщенные и лишенные военно-политического единства племена не воспринимались монголами в качестве серьезной преграды на своем пути. Пришельцев мало интересовали верования народов Северо-Западного Кавказа, и поэтому христианство здесь сохраняется еще довольно долго.

В XIV веке распространенную среди местных жителей греческую веру попытались вытеснить католические (генуэзские) миссионеры, пробиравшиеся в верховья Кубани, в район нынешнего Кисловодска и даже в Дагестан. Но их постигла неудача. По данным источников, в конце столетия Черкесия была населена «христианами, исповедующими греческую веру» и отправляющими богослужебные ритуалы на ясском (осетинском) и черкесском языках.

В отличие от первых волн монгольских завоеваний, нашествие уже достаточно исламизированного войска Тимура (Тамерлана) в конце XIV века нанесло православию на Северном Кавказе гораздо более чувствительный урон. Признаки «священной войны за веру» со всеми ее кровавыми последствиями были налицо.

Процесс упадка христианства усугубился османским завоеванием Константинополя, а затем Крыма и Черноморского побережья Кавказа (вторая половина XV века). Северокавказские этносы лишились культурных и физических контактов с центрами греко-православной веры.

Христианству было трудно укорениться на Северном Кавказе необратимо. Это пространство напоминало бурлящий котел, в котором все менялось с калейдоскопической быстротой. Здесь не было ничего незыблемого, сформировавшегося. Постоянным являлось только одно — движение. В этом состоянии пребывало все, что находилось не в горах, где легче было остановить время, законсервировать жизнь.

На равнине же, оголенной перед лицом сменявших друг друга завоевателей и миграционных волн, происходили сложнейшие процессы этно-, культуро-, политогенеза. Такие понятия, как насиженные, обжитые места, являлись даже для самых могущественных на определенный момент этнических сообществ преходящей и в принципе недостижимой роскошью.

В этом безжалостном плавильном котле бесследно погибало одно, неузнаваемо трансформировалось другое, нарождалось третье. В горниле такого мощного

цивилизационного метаболизма ни одна из великих монотеистических религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм) не смогла одержать безоговорочную победу, которая во многом осталась за язычеством. Однако победившее идолопоклонство пошло, если так можно выразиться, на компромисс с христианством (как, впрочем, и с исламом), введя в свою обрядовую практику новые, явно заимствованные элементы.

Деградация церквей и превращение их в языческие святилища не помешали христианским образам и христианским идеям сохраниться в духовной культуре северокавказских народов. Известно, в частности, что среди тотемических символов большим почтением пользовались каменные и деревянные кресты. Именно они становились центральным атрибутом в молитвенных ритуалах.

В пантеоне богов, которым поклонялись на Северном Кавказе, главное место принадлежало «всемогущему творцу», ассоциировавшемуся с Иисусом Христом. Также был широко распространен культ христианских пророков и святых — Ильи, Св. Георгия, Михаила Архангела, Св. Матфея, Св. Марии Богоматери. Не задумываясь над происхождением этих обычаев, горцы праздновали Пасху, Рождество, Сретение, Вознесение Господне.

Ислам начал проникать на Северный Кавказ со времен арабских завоеваний в VII—VIII веках. Но процесс утверждения этой религии затянулся на многие столетия и протекал медленно и неровно. Поначалу сферой его распространения был Юго-Восточный и Центральный Дагестан, затем Северный Дагестан, Кабарда и, наконец, Северо-Западный Кавказ. Население предгорных и горных местностей стало исповедовать ислам на несколько веков позднее, чем «равнина». Его принимали в основном господствующие сословия в своих социальных и идеологических интересах. Постепенно новая религия превращалась в культурный феномен, воплотившийся в выдающихся памятниках архитектуры и письменности.

Вместе с тем остается дискуссионным вопрос о том, насколько глубоко укоренился ислам даже среди элит северокавказских обществ. Как свидетельствуют источники, традиционная народная культура многое из ислама решительно отторгала, а то, что впускала в себя, перекраивала на собственный лад, иногда до неузнаваемости. Повседневная и праздничная обрядовая практика представляла собой причудливый симбиоз языческих и исламских ритуалов.

Адат и шариат

Дагестан XVI—XVII веков считается наиболее исламизированным социополитическим пространством по сравнению с остальными территориями Северного Кавказа. Но и там этой религии не удалось проникнуть в толщу народной жизни настолько, чтобы преобразить последнюю радикально и необратимо. Степень влияния ислама была жестко обусловлена величиной общественной потребности в таких регулятивных механизмах, которые своей эффективностью явно превосходили бы систему адатов.

Между тем конкурировать с простыми, привычными и понятными горцам адатными нормами было очень трудно. В условиях патриархально-родового быта практически не оставалось такой сферы, где обычное право не справлялось бы со своими социальными функциями.

Вместе с тем нет ничего удивительного в том, что и адаты не были абсолютно безупречными судебными инструментами: некоторые из них служили источниками споров и разнотолков. Втиснуть все многообразие реальной жизни в «правовые нормы» было невозможно.

Адат оказался необычайно живучим институтом прежде всего потому, что он органично соответствовал замкнутому общинному миру, охранявшему себя от всяких перемен как главного источника угроз собственному существованию.

Для общества с едва заметными темпами эволюции адата вполне хватало, тем более, что он имел и определенные ресурсы гибкости, позволявшие ему обогащаться новыми «правовыми» прецедентами и таким образом приспосабливаться к ситуациям, когда избежать исторических подвижек было нереально.

Кроме того, широкая, «всесословная» востребованность и прагматичность адата придавали ему не только социальную, но и политическую функцию. Это тонко уловили наиболее сообразительные дагестанские правители, предпринимавшие едва ли не с XII века попытки кодификации адатов. Тем самым обычное право встраивалось в систему власти, хотя, разумеется, далеко не в том институциональном виде, в каком это имело место в высокоразвитых государствах, и далеко не с такой эффективностью, какая автоматически сводила бы к минимуму необходимость в более или менее даровитой личности, умеющей использовать «закон» в собственных политических интересах.

Мощные исторические корни адата служили ему защитой от вторжения шариатских правил жизни, более сложных и более требовательных. Мусульманское судопроизводство предполагало наличие специально обученных людей, которых в Дагестане было очень мало. Шариат предусматривал гораздо более строгие наказания, чем адат, в том числе за преступления, которые таковыми у горцев не считались. Для внедрения основ шариатского законоведения, отторгавшихся традиционалистским обществом, необходимо было сильное единовластие. Но именно в нем Дагестан издавна испытывал большой недостаток.

Восполнить его пытались еще арабские завоеватели, назначавшие своих наместников (валиев) в Кайтаге, Табасарани и Казикумухе, от которых, как гласит легенда, пошли местные «правящие династии» уцмиев, майсумов, шамхалов и т.д. Но их власть была ограничена и в пространстве, и в своем внутреннем содержании. За пределами владений первых наследственных правителей Дагестана (а иногда даже за пределами их замков) простиралось огромное пространство, населенное вольными обществами, которые оставались вне всякого внешнего контроля.

Впрочем, и в пределах «княжеских» владений утвердить шариат силой было, по уже указанным причинам, совсем не просто. Правители прагматического склада и не пытались этого делать. Более того, они охотно использовали непререкаемый авторитет адатов в интересах сохранения своей власти и социального влияния, а также для укрепления материального положения. Немаловажную статью доходов дагестанских владетелей составляли штрафы с виновных, взыскиваемые по решению адатных судов.

Вместе с тем в судебную и культурную практику мало-помалу проникают и элементы шариата — ровно в той мере, в какой их способно было усвоить массовое сознание. Ни для дагестанских политических элит, ни тем более для простонародья принятие ислама не стало каким-то единовременным актом. Поскольку фундаментальные основы жизнедеятельности общества оказывали новому миропониманию жесткое сопротивление, ему пришлось долго и трудно приспосабливаться к реальности.

Относительно успешно, хотя и очень медленно, шариат просачивался в те большей частью периферийные ниши социального бытия, где он встречал меньшее противодействие и где он, в виде своеобразного юридического подспорья, восполнял несовершенство адата. Это — вопросы, связанные с внутрисемейными отношениями, тяжбами по поводу наследования имущества (важно отметить, что из этих тяжебных случаев исключались дела, касавшиеся раздела наследства между потомками владетельных /феодальных/ фамилий) и некоторыми «гражданскими» исками.

Жизненно важные проблемы общества решались на основе адатов, сохранявших прочные позиции не только благодаря могучей исторической инерции, но и, как уже говорилось, благодаря наличию определенного ресурса, позволявшего адаптироваться к постепенным, нереволюционным изменениям. У адата этот потенциал гибкости был выше, чем у шариата.

В результате в области судопроизводства и общественного правления на Северо-Восточном Кавказе сложились параллельные системы с неравномерным распределением функций. С очень большой долей терминологической вольности можно сказать, что адат однозначно преобладал в сфере «публичного права» (в вопросах особой социальной значимости), в то время как в сфере частных и семейных отношений применялись также нормы шариата.

Следствием компромисса между обычным правом и новыми установлениями

стал так называемый *маслагат* — мировая сделка с участием посредников, избранных тяжущимися. Как бы символическим выражением взаимотерпимого сосуществования адата и шариата (там, где такое сосуществование действительно имело место) являлся с виду весьма странный обычай проводить судебные разбирательства по адату на площади перед мечетью.

Конфликт и взаимодополняемость в отношениях между адатом и шариатом были выгодны дагестанским правителям, ибо они могли выбирать для своих целей либо одно, либо другое. А подчас вообще действовать по собственной прихоти, особенно тогда, когда враждующие горские общества или отдельные горцы предпочитали прибегать к посредническому, «княжескому» суду.

Все вышеописанное было характерно для территорий с более или менее организованными, протогосударственными формами управления. Что до вольных обществ, то там всецело господствовал адат, но и он порой оказывался для них чересчур взыскательным сводом правил. Сознание горца было слишком специфическим, чтобы уместить в себе идею личного подчинения кому-либо. Он примирялся с естественной для него необходимостью следовать общинным обычаям, но решительно бунтовал, когда они обретали чрезмерно персонифицированный вид. Одно дело — власть над человеком анонимной силы, освященной веками традиции, и совсем другое — повиновение воле совершенно конкретной личности.

Тем не менее некий стихийный практицизм заставлял вольные общества постепенно задумываться над сомнительными сторонами «абсолютной» свободы с точки зрения коллективной пользы. Многие аулы возвели эту свободу в такую степень, которая приближалась к анархии, грозившей роковыми последствиями для хозяйства и самого существования социума. Подчиняясь инстинкту самосохранения, они стали приглашать со стороны людей, которым готовы были доверить управление общиной. Разумеется, речь шла о законах адата. Со временем, правда, судебно-административные функции пытались взять на себя кадии — шариатские судьи, — но они, как правило, не пользовались уважением и часто изгонялись из аула.

Нет сомнения, что дагестанские общества с самого начала проявляли повышенную восприимчивость к культурно-просветительской и, отчасти, религиозно-обрядовой составляющей ислама. Обладая могучим духовным ресурсом, он, как и все новое, вызывал и интерес, и сопротивление. Эта сложная религиозная система требовала ума, воли, пытливости, самоотречения. Поэтому она в силу своей взыскательности не могла стать всеобщим культурным достоянием, а являлась уделом избранных, пользовавшихся большим авторитетом — как обладателей сакрального, не доступного другим знания. Перед некоторыми из них просто благоговели, пока они не вмешивались в дела сугубо практического, политического свойства.

В принципе похожую функцию, но в более скромных масштабах выполнял ислам на Центральном и Северо-Западном Кавказе. Туда он стал проникать гораздо позже, чем в Дагестан, и имел несколько иную область применения и еще более узкий социальный круг потребителей. Поскольку экспортером новой религии в Черкесию и Кабарду были Турция и Крымское ханство, враждовавшие с Россией, то в их версии ислама преобладал политический, антихристианский компонент. Вместе с тем местная феодальная знать согласилась принять новую веру еще и для того, чтобы дальше отделить себя от «черни» в социально-культурном плане.

Что касается роли ислама в качестве внутриполитического и, так сказать, международно-правового, регулятивного фактора, то она была крайне ограничена. Единоверие нисколько не мешало феодальным правителям-мусульманам вести междоусобные войны (в том числе во исполнение закона кровной мести), выбирать региональных и внерегиональных союзников, а также долгосрочную внешнеполитическую ориентацию на ту или иную крупную державу, независимо от ее конфессиональной принадлежности.

В исторических источниках нет убедительных подтверждений эффективности использования догматов ислама в интересах укрепления «княжеской» (в собирательном значении слова) власти. Если бы даже такие попытки предпринимались, положительный результат их вызывает сомнения, ибо трудно представить, каким образом

эгалитарный дух этой религии можно было поставить на службу политики социального подчинения светскому правителю.

Получившая широкое хождение в кавказоведческой литературе мысль о существовании тесного, взаимовыгодного и плодотворного союза между властью и религией на Северном Кавказе остается сугубо теоретическим предположением, механической проекцией европейского исторического опыта на совершенно иную культурную почву. Да и в Европе, как известно, светские и религиозные власти находились в очень сложных отношениях друг с другом.

Впрочем, существовал один способ — теократизация власти. Однако никто из северокавказских князей и не подумал прибегнуть к нему, понимая, что общество не готово к этому. (Не созрело оно для идей теократии и гораздо позже, в XIX веке, о чем наглядно свидетельствует неудавшийся эксперимент имама Шамиля.)

Непохоже, чтобы намного продуктивнее были другие идеологические инструменты предержания власти, в частности — мифы об иноземном происхождении «правящих» кланов. Возможно, они в некоторых ситуациях могли работать на укрепление престижа и на задачу создания вокруг института княжеской власти некоего таинственного флера. Однако вопрос о том, в чем выражалась реальная политическая польза этих генеалогических легенд, далеко не ясен.

Многие родовые предания не без гордости сообщают о «не местных» корнях основателей того или иного рода. Ничего неправдоподобного тут нет, однако проследить генеалогическую линию до самого истока, как правило, невозможно. Для Северного Кавказа (да и не только для него) подобные легенды — обычное дело.

Вообще, следует заметить, что идеология, или, точнее, протоидеология (каковой по сути и являлись народные предания, верования, обряды и элементы монотеизма), выполняла не столько политическую, сколько сугубо социальную функцию, обеспечивавшую равновесие и устойчивость внутриобщинного мира.

Этой же цели объективно служил и религиозный синкретизм, составлявший едва ли не главную особенность мировоззрения северокавказских народов. Язычество сложно и причудливо переплеталось с христианством и исламом, в одних случаях приспосабливаясь к ним, а в других — приспосабливая их к себе. Оно, будучи древнейшей идеологической системой, обладало колоссальным потенциалом самовоспроизводства. Политеизм был удобен своей простотой и непритязательностью: предметы поклонения — небо, земля, вода, роща, гора и т.д. — не приходилось искать, они не требовали перенапряжения человеческой фантазии, обременительных обрядов и большого жреческого штата. Христианство же и ислам предполагали церкви, мечети, пастырский персонал, строгую обрядовую дисциплину, более чувствительное ограничение свободы и более энергичную работу души и мысли.

Этнополитическая мозаика

Отсутствие политического и идеологического единства на Северном Кавказе сопровождалось недостатком единства культурного, духовного. Причина отчасти в том, что тамошние этносы не имели своей письменности. Опыты (сами по себе подчас блестящие) приспособления арабской графики к местным языкам были эпизодичными и малопродуктивными. Отсюда невозможность широкого использования богатств «национального» языка в социально-политических целях (кодификация законов, административно-судебное делопроизводство, массовая информация, пропаганда и т.д.).

Таким образом, Северный Кавказ XVI века — это огромная этнополитическая мозаика, одни элементы которой постоянно взаимодействовали и оказывали друг на друга то или иное влияние, другие находились в состоянии социально-экономической автаркии, которая надежно охранялась объективными природно-ландшафтными условиями и субъективным нежеланием открываться внешнему миру, воспринимавшемуся как враждебная среда.

Вне (или в очень слабой) зависимости от темпов формационного развития, крайне замедленных на Северном Кавказе, происходило интенсивное дробление

этнополитического пространства, имевшее пагубные последствия всеобщего характера, а для отдельных этносов — катастрофические.

Признаки обратного процесса — формирования какого-то подобия политических агломераций хотя бы в субрегиональных рамках — отсутствовали напрочь. Борьба за власть, земли и «подданных» принимала ожесточенные формы, приводя к нескончаемым малым войнам с большим разрушительно-демографическим эффектом.

Глубоко разноречивая, разрозненная, путаная информация, оставленная нам теми, кто наблюдал политическую и социальную жизнь Кавказа извне, создает порой впечатление полного хаоса и перманентной войны всех со всеми. Во многом это действительно было так в силу огромной системно-деструктивной роли обычая кровной мести, обуздать который представлялось практически нереальным. Зачастую ссора (порой из-за форменного пустяка) двух мужчин, заканчивавшаяся гибелью одного из них, вырастала в многовековую кровную вражду между семьями, родами, племенами, сопровождаясь тяжелейшими последствиями и переселениями целых аулов, спасавшихся от кровомщения.

Когда жертвой становился какой-нибудь представитель высшей знати, то счеты сводились уже на другом уровне — между крупными, более или менее организованными политическими сообществами, принимая характер междоусобных войн, в ходе которых возникали сопутствующие цели, куда более масштабные, чем наказание обидчиков.

Кровная месть становилась поводом для решения совсем других задач, спусковым механизмом, позволявшим вырваться наружу давно вызревавшему столкновению в борьбе за господство над определенной территорией. В этой борьбе победа одних и поражение других могли менять локальную политическую ситуацию в разных направлениях, иногда упрощая ее, а иногда и усложняя.

В любом случае, даже помимо мощной цепной реакции, порождаемой вендеттой между влиятельными владетелями, тот комплекс причин, о котором говорилось выше, препятствовал попыткам придать северокавказскому политическому пространству более цельный и упорядоченный вид.

В течение многих веков с этим не могли справиться ни местные претенденты на роль «гегемонистов», ни внешние завоеватели, у которых, казалось бы, были все средства и стимулы для наведения там элементарного порядка в целях осуществления хотя бы какого-то контроля над покоренным населением.

Юрий Вэлла

Ставь чум выходом к солнцу

Художественно-этнографический мотив

Триптих об оленеводе

1

Оленевод спрятался в кустах, подсматривает за оленем и думает:
«Как ловко я обхитрил оленя, он меня не видит».
Олень безразлично щиплет ягель:
«Пусть думает, если ему так хочется».

Человек уверен, что он решает судьбу оленя.
А олень знает:
Оленевод без оленя — Нечеловек.

2

Сегодня мы перекочевали
С летней стоянки
На зимнюю.

Олени
Ушли сами —
Пора.

Мы на «уазик» свой скарб погрузили.
А Котофей под ногами все терся —
Чтоб не забыли его.

3

Из песни Аули-Оленевода:

...Может быть, Любовь —
Это свежий след
Твоей оленьей упряжки?

Может быть, Любовь —
Это новый чум,
Который мы сегодня поставим на снегу?..

Вэлла Юрий (Юрий Кылевич Айваседа) — ненецкий поэт, публицист, общественный деятель. Живет и работает в Варьегане. Публикации в «ДН»: «Сумею ли когда-нибудь вернуться к началу пути?» (№12, 2010).

На новом стойбище

Включил приемник, и весь зимний вечер чум был наполнен романсами. Все-таки как прекрасен и совершенен этот жанр! И горько, и тепло. Вроде слова не о том, что у тебя на душе, но как чудно перекликаются романсы с твоими чувствами.

Что это — врожденное человеческое или привитое воспитанием?

Правила для будущего оленевода
(7 x 7)

1. Соблюдай обычаи своего рода — жить легче будет.
2. Облас и нарту ставь носом к солнцу.
3. Не руби землю топором — земля живая.
4. Не обходи людей старше себя сзади...
5. Не хватай из кипящего котла — бородавки вырастут.
6. Нельзя брать назад подарки — подол себе опалишь.
7. Дай первым попить тому, кто старше тебя, — дерево на тебя упадет.

1. Будешь говорить плохие слова — зубы выпадут.
2. Будешь есть недозрелые ягоды — бельмо на глаз выскочит.
3. Будешь играть с огнем — ночью обмочишься в постели.
4. Не лазай по деревьям — сорвешься и девочкой станешь.
5. Не руби землю топором — инструмент испортишь.
6. Когда идете вдвоем по лесу, нельзя обходить дерево с двух сторон — поссоритесь.
7. Чум ставь выходом к солнцу.

1. Подходи к оленю с левого бока, а не с правого.
2. Лучший подарок для оленевода — рубаха, колокольчик, олень — никогда не дари штаны.
3. Лучший подарок для оленеводки — отрез ткани, набор посуды, бисер для рукоделий. Не дари незнакомой женщине платок — он подносится со значением...
4. Не пугай в лесу прохожего — можешь потерять свою жизнь.
5. Не дуй в лицо ребенку — душу из него выдуешь.
6. Лучший подарок для хозяйки стойбища — если ты не отказался попробовать пищу, которую приготовила она.
7. Не вставай со стола, пока хозяева еще едят.

1. Будучи в гостях, не обходи чум хозяина сзади.
2. Допей чай — жена бросит.
3. Не пересекай дорогу тому, кто младше тебя — ему не повезет.
4. После заката солнца всякая работа должна быть прекращена.
5. Если олень дергается, не отпускай его. Дождись, когда он притихнет, расслабится — тогда и отпусти. Пусть понимает, что ты его отпустил, а не он сам вырвался.
6. Если попробовал ягоды нового урожая — больше не трогай прошлогодние ягоды.
7. Не бей камни друг об друга — гроза будет, холод принесет, погода испортится.

1. Если хочешь иметь оленя — забудь о сладком сне, о вкусном обеде, о сухой одежде.
2. Идешь по пастбищу, не собирай и не уноси с собой камешки — камни не любят покидать родину, они на чужбине скучают.

3. «Принеси быстрей попить — кукушкой стану!».

4. Не подбирай одноглазую и двуглазую морошку. Одноглазая морошка — сиротой станешь. Двуглазая — женишься, а детей не будет.

5. Идешь по лесу, не ломай березовые гнилушки — Порнэ выскочит и будет кричать: «Возьми меня замуж!».

6. Не балуйся на воде — Хозяин озера (реки) обидится.

7. Когда оленевод обедает — его даже царь не имеет права беспокоить.

1. Не руби землю топором — это сакральное действо — топором размечают на кладбище территорию для умерших, куда не должны ходить живые.

2. Не разжигай костер вдвоем — Бог подумает: «Ах, вы хотите стать беспомощными, способными только вдвоем разжигать огонь?...».

3. Если не смог добыть зверя — ругай себя, а не зверя.

4. Лучше ночевать на кладбище, чем в лабазе или на брошенном стойбище...

5. После захода солнца ходить в лабаз нежелательно.

6. Огонь, если надо, погаси, но не бей палкой — он живой.

7. Не оставляй свой дом без дров, без спичек, без котла. Только навсегда покинутый дом оставляется без этих вещей.

1. Не оставляй висеть пустой полог — Порнэ поселится в нем и будет по ночам щекотать.

2. Если после захода солнца с улицы заносишь постель и одежду — потряси над огнем со словами: «Все свои сказки огню расскажи!..»

3. Если Кукушка весной прилетела раньше Грома — будет много рыбы в озерах, но не будет урожая ягод (Кукушка оплюет цветы).

4. Если Гром весной прилетит раньше Кукушки — будет урожай ягод, но меньше рыбы в озерах и реках (распугает Гром).

5. Не ругай огонь, относись к нему с почтением, он — то, как ребенок, то, как старец.

6. Не заноси в жилище деловой бубен через дверь — через дверь ходим мы — грешные люди, а бубен надо заносить и выносить через окно.

7. Когда оленевод приезжает на чужую землю, то, уезжая, увозит с собой на память кусочек дерева. В старину наши предки скалывали от дерева кусок (надо это сделать так, чтобы дерево продолжало жить) и вырубали идола-божка. Сейчас мы с чужбины привозим топорища, заготовку для ножен, для ложек, ручку для ножа — кусочек дерева, который ты будешь брать в руки довольно-таки часто, и он будет тебе напоминать об увиденной однажды земле...

Один день из жизни стойбищной школы

Белые снежинки, покружившись в воздухе, легко ложатся на конуру собаки, на капот снегохода, на нарты, на жерди кораля, на широкие спины взрослых оленей и на белое пятнышко на лбу самого маленького олененка по кличке Нямпалата (Широколобый). Другие, более крупные оленята бегают, резвятся, пробуют сталкиваться меж собой лбами, а Нямпалата стоит в сторонке от всех и с удивлением понимает, что в мире что-то опять изменилось.

Сначала (когда он родился) мир был теплым и мокрым, было очень яркое солнце, были отдельные пятна серого липкого снега, были теплые проталины, и рядом была мама. Но мама была недолго. Всего семь дней. Потом ее не стало.

После смерти мамы снег растаял совсем, появилась пахучая зелень, но на душе был холод, и не было желания жить.

Но однажды, когда Хозяин с Хозяйкой пригнали на стойбище стадо, в котором Нямпалата уже научился не отставать и быть вблизи самого большого Черного Кастрата, потому что здесь его никто не обижал, он впервые услышал странный звук, странную звонкую трель, и сразу — детский смех из распахнувшейся двери самого

пестрого и нарядного жилища, по крыше которого когда то прошагал Великан, оставив свои следы, и новое протяжное слово «Ка-ни-ку-лы-ы-ы!».

Они выбежали наружу из Школы и сразу — к оленям. Их называли Детьми. И если появление Хозяина всегда настораживало — у него была длинная рука, которую он умел укорачивать, сматывая кольцами, или молниеносно выбрасывал и выхватывал из стада любого оленя, Дети вызывали к себе доверие. От них пахло по-разному. От старшего — Анета пахло книгами и тетрадями. От Утулу пахло тряпочками, бисером и куклами. От Кольчу пахло песком, травой и мазутом. От Тоши пахло березовыми листьями от подстилки для обласа-лодки и древесными стружками. От Федора пахло рыбой и мамой. А от Хопли с Марусей пахло всем сразу: песком и мамой, ягелем и железками, дедушкой и бабушкой, сушеными грибами и хлебными сухарями.

И с их появлением мир вокруг становился бездонным, великим и прекрасным! И незнакомое слово «Каникулы» обретало конкретный, понятный смысл...

И вот сегодня, как в день рожденья, снова вокруг удивительный мир. Снова снег. Но если весной небо было ярче снега, то сегодня — осенью, наоборот, — тусклое небо и очень яркий снег и совсем не хочется стряхивать снежинку со лба. Потому что первая снежинка сегодня олицетворяла Солнце, Предчувствие Зимы и начало нового Учебного Года, который пришел на стойбище не первого сентября, как обычно, а с опозданием на два месяца.

Но опять прозвенела медная трель. Опять Нямпалата с предчувствием оглянулся на дверь стойбищной школы. И через несколько секунд со смехом на улицу выскочили Дети:

— Перемена!.. Большая!.. Олени пришли!.. Нямпалата!..

И Нямпалата улыбнулся, это уже было, это было так знакомо!

Азбука оленевода

1. Поговорки оленевода (3 x 7)

1. Если очень хочешь иметь оленя, за край подола Бабушки-Земли пойдешь.

2. Если на новом месте заводишь новое стадо или меняешь пастбище, то самые трудные первые три года. Потом легче. Но никогда не бывает легко.

3. Если ступни твоих ног будут ступать туда, куда ступают копыта твоих оленей — ты имеешь шанс стать оленеводом.

4. Если у тебя родился сын или внук левшой (может, это судьба?), не старайся переучивать его.

Оленеводу — левше легче, чем оленеводу — правше.

5. Построишь много километров ограды-кораля, но оленя не удержишь.

Поставишь стойбище, поселишься вместе с детьми и внуками в нем — олени будут держаться вокруг жилища.

6. Не человек пасет оленя, а дымокур. Пусть всегда непрерывно вьется дымок над твоим стойбищем.

7. Олень, как сухой сучок не дереве, сделаешь неосторожное движение — сломается.

1. Устраивая свою жизнь, всегда в первую очередь думай и поступай так, чтобы было хорошо и удобно твоим оленям и оленятам; и только во вторую очередь думай о себе и о своих детях.

Помни, если сегодня хорошо вашим оленям, то завтра будет хорошо вам.

2. Разожги дымокур до прихода оленей, а не после. Если твои олени три раза пришли, а дымокур еще не разведен, они могут больше не прийти.

3. Если пропал без вести олень, оленевод дает себе на поиски три ненецких года[1]. Если олень за это время не нашелся, вычеркни его из памяти.

4. Из дикого оленя воспитать домашнего можно, но только в третьем поколении.

Отбить своих оленей от стада дикарей трудно, но возможно. Для этого Природа тебе отпускает три попытки в первые три дня, из которых наиболее вероятная только первая попытка.

Потом это невозможно.

5. Не принуждай детей и внуков заниматься оленями. Сделай так, чтобы они сами для себя выбрали судьбу оленевода. Тогда жить им будет легко.

6. Забивая оленя, душу его отправь Богам. Съев мясо, прибери кости. Никогда не оскверняй оленьи останки.

7. В разговорах с другими оленеводами будь внимателен. Слушай, спрашивай, запоминай. Но в жизни поступай так, как тебе подскажет сердце.

Не копируй никого.

1. Если купил у кого-то олениху, забери ее до середины зимы. Во второй половине зимы беременная важенка считается как два оленя.

2. Споткнулся твой родственник, остановись, постарайся помочь ему.

Упал любимый олень, переступи через него.

Заботься о всем стаде, а не об отдельном олене.

3. Только удачливостью — ты не станешь настоящим оленеводом.

Только трудом — ты не станешь настоящим оленеводом.

Ты станешь оленеводом, если в тебе будут гармонично сочетаться и труд и удачливость.

4. Если ты вырастил стадо — не жадничай, подари оленя хорошему человеку, помоги нуждающемуся безоленному. Но не перестарайся, никогда не подрубай основу, корень твоего стада.

Ведь теперь твое стадо больше принадлежит твоим детям и внукам, чем тебе.

5. Старайся следить за стадом. Не допускай, чтобы твои олени мешали твоим соседям. Особенно если в их стадах оленей меньше, чем у тебя.

6. Белый олень красив, но он более хрупок, чем серый. Не позволяй, чтобы в стаде было много белых оленей.

Но если родился пестрый олень, задумайся, все ли в твоем стаде в порядке.

7. Если ты стал оленеводом, заключи договор с Чернолицым[2] такого содержания: «Я не буду охотиться на твоих детей, и ты не охоться на моих оленей».

И держи слово, какой бы охотничий азарт тебя не провоцировал. Тогда у твоих оленей будет меньше проблем.

2. Кое-что из «Сакральной азбуки» (1 x 7)

1. Детская люлька не продается.

2. Хороший бубен сам называет свою цену.

3. В жертву богам можно приносить: ткань, шаль-платок, деньги, продукты, спиртное, березовые стружки для обтирания рук. Но самое лучшее жертвоприношение — олень, которого ты вырастил сам.

4. Оленя можно выменять, купить, выпросить, взять напрокат, взять взаймы...

Но нельзя красть.

5. Самое идеальное жертвоприношение — это 49 оленей (7 x 7). Начни с одного оленя. Может быть, когда-нибудь ты дойдешь до идеального жертвоприношения. Но не торопись, не стремись к нему. Говорят, после него наступает другая форма измерения (меньше нельзя, а больше — некуда).

---

[1] Лето — первый ненецкий год. Зима — второй ненецкий год. Следующее лето — третий ненецкий год и т.д.

[2] Чернолицый — (иносказание) медведь.

6. Главный твой родственник — твой брат или сестра, а не жена. Не позволяй, чтобы обижали твоих родственников.

А жена не родня, а твоя половина, часть тебя самого, поэтому не подлежит обсуждению.

7. Заклятие — крайняя форма мщения. Заклятие имеет силу, направленную вперед, и силу, направленную назад. Способен ли твой организм отразить твое собственное зло?

Не ошибись!

Вечером у очага

Висит на стене бубен. Хочется протянуть руку, ударить в него, но не решаюсь.
Сегодня многие бьют в бубен не для укрепления души, а для наполнения желудка.
Кабы мой жест дети и внуки не восприняли как желание пополнить семейную казну...
Висит на стене бубен... А так хочется в него ударить!

Наставления бабушки

Когда-то мне бабушка говорила:

— Думаешь, это ты главный оленевод? Нет, это пока только твои ноги за оленями ходят. Суши обувь и тем самым береги свои ноги, иначе завтра не сможешь идти за оленями.

— Думаешь, это ты слышишь за лесом голоса оленят? Нет, это твои уши прислушиваются к лесным шорохам. Береги свои уши, мой и чисти их каждый день, иначе завтра ничего не услышишь.

— Думаешь, это ты вглядываешься за дальнее озеро, не отстали ли оленята от стада? Нет, это твои глазки всевидящие. Береги глаза свои и мойся утром с мылом, иначе оленей за озером не увидишь.

— Но однажды, когда в Городе на занятиях в Университете в какую-то секунду ты будешь точно знать, что делают твои олени, если ясно из Города будешь слышать голоса оленят, если спиной будешь чувствовать вместо шумов Города дыхание стада — значит, только теперь ты начинаешь становиться настоящим оленеводом.

Перед закатом солнца

— Сегодня комаров мало, наверное, олени наши далеко ушли.

— Не должны.

— Э, сынок, если тебе лень за ними идти, так помалкивал бы.

— Мне, дедушка, не лень, но ведь ты сам говорил: не человек пасет оленя, а дымокур. Вот сейчас разведу дымокур...

— Умный! Какой умный!

— А что?

— А то, сынок, что твой дым ветром унесет совсем не в ту сторону, куда олени сегодня ушли.

Бабушка шумно вздохнула, ни к кому не обращаясь:

— ех-хо-хо-хов! До каких дней я дожила?! Сидят возле меня два лентяя, молодой да старый, и препираются — кому утром за оленями идти.

Эпилог

...но после дождя раздвинутся серые тучи, выглянет солнце, с окраины стойбища поднимутся комары и мошки, и с болота, по краю озера на бор, к дымокуру потянутся олени; и в этот момент начинаю понимать, что я — юный чумазый мальчик в оленеводческой семье, а многие истории, попавшие в эту поэму, вовсе случились не со мной, а слышал их вечерами возле огня на стойбище в чуме или в деревенской избушке от своей бабушки Ненги.

Виктор Дятлов

«Граждане ближнего зарубежья» и другие…

Динамика формирования стереотипов

Новые слова, новые смыслы

Россия постепенно становится страной мигрантов. Современные масштабы их притока из-за рубежа, их роль в экономической жизни — совершенно новое для нас явление. Это не только неотвратимый, но и необычайно болезненный процесс. В страну приходят новые люди, приобретают новое качество «старые», формируются новые группы в сложной и динамично меняющейся палитре общественных отношений. Стремительное и неожиданное появление нового элемента в культурной, этнической, социальной картине мира неизбежно нарушает прежние равновесия, создает почву для возникновения сложнейших проблем и конфликтов.

Это ставит перед государством и обществом принципиально новые и очень сложные задачи. Крайне важно, в частности, оценить факт присутствия мигрантов, выработать стратегию и практики отношения к ним, модели собственного поведения. Ведь не просто пришли в движение миллионы людей — сам факт такого движения вошел в массовое сознание. В публичной сфере идет интенсивный процесс осмысления данного феномена, призванный заполнить это «белое пятно» в радикально изменяющейся картине мира.

Осмысление и выработка отношения происходят на разных уровнях: в обыденном сознании, в идеологии и политике, в научных исследованиях. Между этими уровнями нет непреодолимой границы, налицо эффект сообщающихся сосудов, активное взаимодействие, взаимовлияние. Самый яркий пример — гигантское количество геополитических «исследований», где чисто научные, эвристические задачи оттесняются на второй план идеологической оценочностью и целеполаганием.

Эти процессы чрезвычайно важны, ибо от того, как будет осмысливаться роль и место мигрантов в обществе, во многом зависит траектория развития России: темпы экономического роста, уровень социальной и политической стабильности, характер политического режима.

Одной из стратегий осмысления проблемы мигрантов и выработки отношения к ним становится мигрантофобия. Мигрантофобия — неизбежная составляющая адаптационной реакции принимающего общества. Она стремительно и мощно вошла в уже существовавший ксенофобский комплекс, придала ему новый смысл и размах. Иногда она приобретает форму давно известных этнических, расовых или культурных фобий и часто отождествляется с ними. Однако в образе «чужаков» могут выступать не только представители этнически или культурно иных групп. Как убедительно

Виктор Иннокентьевич Дятлов — профессор кафедры мировой экономики и международных отношений Иркутского государственного университета, Иркутск. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

показала Галина Витковская, возможна и мигрантофобия в ее «чистом виде» — отторжение, восприятие в качестве «чужаков» русских беженцев и вынужденных переселенцев русским же принимающим обществом[1].

Неизбежный и необходимый механизм социального осмысления — формирование стереотипов. Стереотип — это прежде всего выработка отношения, то есть не столько эвристический, сколько оценивающий взгляд и способ упорядочения социальной информации. Это сфера априорного до- и вненаучного знания. Стереотипы по определению не нуждаются в критике источников, в верификации, во внутренней логике и непротиворечивости отдельных постулатов. Но именно они, а не научное знание формируют отношение общества и властей к процессу миграции и к мигрантам. Отражая преобладающее сейчас отношение к мигрантам, стереотипы структурируются по преимуществу вокруг ксенофобских комплексов.

Стереотипы — это сложная система, развивающаяся во времени и в пространстве. Поэтому так важно рассмотреть их изнутри, постараться проследить, как они меняются, каковы их региональные варианты, как воспринимаются и оцениваются мигранты из разных стран. Принципиально важно выяснить, какое место в их структуре занимают категории, относящиеся к этнической («китаец», «таджик», «киргиз», «узбек», «казах») и политико-правовой («гражданин КНР», «гражданин Таджикистана» и т.д.) сферам, как они соотносятся с категориями, характеризующими миграционную ситуацию («мигрант», «трудовой мигрант», «гастарбайтер»). Как часто и в каком контексте используется лексика, имеющая оскорбительные, негативные или иронически-саркастические оттенки.

Важную роль в понимании стереотипов, их содержания и оценочной насыщенности может сыграть изучение их происхождения, описание той почвы, из которой они выросли, и процесса освоения новых слов и смыслов. Такая постановка задач не предполагает каких-либо количественных оценок, что позволяет сосредоточиться на качественном анализе.

СССР: ксенофобия как инструмент управления

Феномен массовой трансграничной миграции и повседневного, рутинного общения с мигрантами нов для российского общества; соответственно новы и стереотипы. Однако мало что возникает на пустом месте. Массовое сознание инертно и предрасположено пользоваться имеющимися образцами и моделями для встраивания новых феноменов в сложившуюся картину мира. Новое осмысливается с позиций старого опыта, новые стереотипы и фобии прорастают из старых. В связи с этим при изучении генезиса нынешних стереотипов необходимо обратиться к традиции, в первую очередь советской, поскольку за советские годы сменилось несколько поколений и был истреблен целый ряд социальных слоев и профессиональных групп, являвшихся носителями традиции дореволюционной.

Советская эпоха породила беспрецедентные потоки внутренних миграций и беспрецедентную же закрытость от миграций внешних, тем самым вызвав к жизни специфический набор стереотипов и фобий. В немалой степени их формирование было результатом целенаправленной политики власти.

В закрытом советском обществе ксенофобия служила инструментом идеологической и политической мобилизации и контроля со стороны властей. Она выполняла огромную консолидирующую функцию и операционально использовалась в этих целях. Власть приобрела огромный опыт в деле сознательного взращивания ксенофобских установок и регулирования этой сферы общественного сознания. Но в качестве механизма психологической компенсации подобные установки были востребованы и населением, обычным человеком. Поэтому их создание шло и сверху, и снизу. Иногда это было движение в одном направлении, иногда в разных.

Гигантскую роль в жизни советского общества играл «образ врага». Собственно, общество мобилизационного типа без «образа врага» просто не могло существовать. Мобилизация непредставима без врага, который и является главным ее оправданием, легитимацией.

Враги, как известно, бывают внешними и внутренними. В советскую эпоху их поиск велся на «классовом» поле. Сформировался комплекс «пролетарского интернационализма» — до войны мощный и действующий, после нее — выхолощенный, ритуальный, но важный как часть традиции, как одна из основ легитимации политического строя и режима. Даже при скептическом отношении к нему среди элиты он должен был учитываться. Этим значительно ограничивалось поле *официально* признаваемых, созидаемых и разделяемых ксенофобий. За пределами этого поля (а чем ближе к завершению советской эпохи, тем уже оно становилось) существовала ситуация лицемерного «взаимного подмигивания» (по Дмитрию Фурману)[2]. Поэтому при конструировании внутреннего врага традиционно использовались социальные и политические основания: «кулак», «буржуй», «троцкист», «оппортунист». Позднее — «торгаш», «спекулянт», «тунеядец», «мещанин».

Особого внимания заслуживает массовый и глубоко укорененный комплекс «торгаша». В его формировании и функционировании сомкнулись и дали мощный эффект официальная пропаганда и массовые традиционалистские антирыночные настроения. При всей развитости (особенно в период застоя) теневых рыночных отношений («черный рынок», «спекуляция», «блат»), многочисленности и влиятельности действующих лиц этих отношений, тотальной зависимости от них практически всего населения их статус, престиж и место в социальной иерархии (как официальной, так и неофициальной) были крайне низки. Возможностям и богатству «торгашей» завидовали, но к ним самим относились свысока и часто презрительно. Не исключено (хотя это требует специального изучения), что в некоторых республиках СССР, особенно на Кавказе, отношение к торговле и предпринимательству было иным. Но в целом доминировало моральное осуждение этих феноменов, совпадавшее с идеологическим их осуждением и правовыми запретами и ограничениями.

«Заграница» была внешним врагом. Но и там преобладал «классовый враг». Это был «мир эксплуатации и угнетения», где злодействовали «мистер Твистер, бывший министр» и прочие «буржуины» и где-то на втором плане страдал пролетариат. В период разрядки и застоя «заграница» стала обретать новые черты и коннотации. Ситуация дырявого «железного занавеса» формировала в закрытом, бедном обществе сложный комплекс вражды и зависти, высокомерного превосходства (идеологического и державного) и неполноценности. Квинтэссенцией этого отношения стала фраза из классического советского анекдота: «Запад гниет — но как пахнет!». Отсюда — сложный синдром «иностранца». «Мистер Твистер» и «шпион» эволюционировали в «интуриста» — сложившийся в советские времена устойчивый и богатый смыслами стереотип. «Интуриста» мгновенно отличали по облику, одежде, раскованной манере поведения. Это был «человек с Луны», из другого измерения, выходец из иного — благополучного и вызывающего зависть — мира, обладающий правами и возможностями, несопоставимо более высокими, чем у советского человека. «Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец», — заметил когда-то Михаил Салтыков-Щедрин.

Инструментальное использование властью в качестве внутреннего врага этнических групп практиковалось, но в виде исключения. Этого стеснялись. Общеизвестен государственный антисемитизм после Второй мировой войны, стыдливо прикрывавшийся «борьбой с сионизмом». Он опирался на массовые настроения, фиксировавшиеся и раньше, но особенно выросшие во время войны как часть низовых ксенофобских комплексов на этнической основе. Кризисные и конфликтные ситуации демонстрировали, что под слоем «пролетарского интернационализма» залегал мощный слой бытовой ксенофобии. Однако в 1960—1980-е годы, несмотря на широкое распространение антисемитизма среди правящей элиты, он утрачивает свою значимость на массовом уровне. На смену ему приходит, условно говоря, антиазиатский комплекс, который постепенно приобретает вид кавказофобии, ставшей на краткий, но чрезвычайно важный для постсоветской истории России период 1990-х годов преобладающей.

Поддержанию и укреплению этностереотипов и этнофобий способствовал ключевой для господствовавшей идеологии дискурс «национальных отношений» и «национальной политики». Он воплощался как на политическом уровне, так и в практиках

обыденной жизни. Под углом зрения «национального» рассматривалась и оценивалась гигантская совокупность социальных связей и отношений («национальные республики», «пятый пункт» и т.д. и т.п.). «Национальная политика» была органической частью государственной политики и государственного строительства, а взгляд на мир через призму «национального» (то есть примордиально*-этнического) — естественным и привычным для подавляющего большинства советских людей.

С началом массовых трансграничных миграций, потребовавших осмысления, а значит, и выработки соответствующих стереотипов, именно эти блоки и стали первоначальным строительным материалом.

«Лихие девяностые»...

Массовые миграционные процессы развернулись в 1990-е годы, которые по своей значимости для России являются целой эпохой. Эпохой слома прежнего уклада жизни и медленного, мучительного формирования нового. Эпохой распада прежних идеологических и ценностных «скреп» и лихорадочного поиска того, что может прийти им на смену.

Не случайно сейчас активно формируется миф «лихих девяностых» — «великих и ужасных». Образ «смуты» культивируется властями и правящей элитой как оправдание, легитимация «вертикали власти», «поднимающей Россию с колен», решающей проблемы стабилизации, наведения порядка, возрождения государства.

«Девяностые» уникальны по стремительности перемен, в том числе и в массовом сознании. По концентрации событий, их динамике и плотности — это действительно революционные годы. Здесь год шел не за два, а за десять. Появлялись новые феномены, приобретали совершенно новое качество старые — необходимо было их осмыслить, а для этого стереотипизировать. Роль государства как ключевого актора данного процесса ослабевала. Печальна, например, судьба проекта создания «национальной идеи» усилиями правительственной команды экспертов и по правительственному заказу. Зато радикально повысилась роль масс-медиа, политических группировок и т.д.

Резко возрастает роль массовых фобий как инструмента консолидации, переформатирования общества, орудия идеологической и политической мобилизации и формирования нового политического дизайна. Огромное значение в условиях всеобщей фрустрации и распада прежних основ приобретает консолидация вокруг образа «общего врага». В силу конкуренции стратегий консолидации начинается и конкуренция фобий. «Красно-коричневые», «ельцинский оккупационный режим», «дерьмократы», «грабительские реформы», «Чубайс» — этот ряд можно продолжить.

Огромное место в этом ряду занимают ксенофобии. И если образ «внешнего врага» на некоторое время отступает (наблюдается, например, спад американофобии), то значение ксенофобии внутренней лишь усиливается.

Несколько слов о контексте событий. Это фрустрация общества из-за стремительных и во многом катастрофичных перемен (распад СССР, потрясения осени 1993 года и т.д.). Это разгар кризиса, разложение старой системы отношений, устоявшихся связей и ценностей, крах прежней экономической системы. Это первые шаги к выстраиванию новой государственности, новых экономических механизмов, новых принципов взаимоотношений, начальная стадия адаптации к кардинально изменившейся ситуации людей, прежней жизнью к этому не подготовленных. Для многих — огромные материальные трудности и непреложная необходимость поиска новых сфер занятости и средств к существованию, то есть путей элементарного выживания. Это потеря прежних статусов, утрата ориентиров и места в обществе, общий кризис идеологии и системы ценностей, массовая политизация.

---

* Примордиализм — взгляд на этническую группу как на изначально данное и неизменное объединение людей по крови или унаследованной культуре, в отличие от конструктивизма, согласно которому этническая группа — сознательно или бессознательно сконструированное образование.

И это — выход на поверхность национальных претензий и конфликтов. Они существовали и в советские времена, однако господствовавший тогда «пролетарский интернационализм» делал неприемлемым их открытое выражение. Бытовой шовинизм присутствовал, но его часто стеснялись. Говорить публично о национальных проблемах считалось не очень приличным, и для большинства людей это был внутренний запрет. Теперь же национальные конфликты и противоречия обрели открытый характер, начали свободно проговариваться и включаться в политическую практику как инструмент мобилизации.

Однако в их конфигурации произошли заметные сдвиги. Сразу рухнул миф об извечности и мощи российского антисемитизма. Это первыми почувствовали идеологи и практики национал-патриотического движения, которые на первых порах сделали на него основную ставку. Многочисленные попытки инструментального использования этого конструкта в целях идеологической мобилизации особого эффекта не дали[3]. И дело не в массовом отъезде и резком сокращении численности евреев. Известны случаи, когда антисемитизм существует и без них. «Общественная патология» в форме «антисемитизма без евреев» зафиксирована Андреасом Умландом и Антоном Шеховцовым во многих послевоенных европейских государствах. И уж тем более показателен экзотический пример с антисемитизмом в Японии[4]. В постсоветской России евреи перестали восприниматься массовым сознанием как группа — и даже феномен еврея-олигарха (вернее, его образ) не смог придать синдрому жизненную силу. Нет группы — нет и коллективной ответственности[5].

Зато бурно растет кавказофобия, элементы которой, как уже говорилось, формируются еще в советскую эпоху. Комментируя проблему антисемитизма в стране, главный раввин России Адольф Шаевич грустно констатировал: «Сейчас на первое место выходят представители Кавказа. Но нас это нисколько не радует»[6]. В силу важности данного феномена ему будет посвящен отдельный раздел статьи. Здесь же важно отметить, что росту кавказофобии способствовало несколько факторов: превращение значительной части выходцев с Кавказа в «граждан ближнего зарубежья», мощный приток оттуда новых мигрантов, их концентрация в секторе нарождающегося легального бизнеса, преимущественно мелкого и среднего, — и все это на фоне актуализации национального дискурса, снятия внешних ограничений и внутренних барьеров, существовавших ранее.

Нетрудно заметить, что в этом перечне впервые возникает проблема трансграничных мигрантов. А уж когда одновременно в страну хлынул поток трудовых мигрантов из Китая, острота и значимость проблемы стали очевидными. Равно как и необходимость ее осмысления и стереотипизации.

Заграничное происхождение и статус иностранных граждан осмысливались поразному. По отношению к «кавказцам» комплекс «иностранца» практически не работал. На протяжении нескольких лет после распада СССР «ближнее зарубежье» воспринималось массовым сознанием как продолжение России, а не «заграница» в советском ее понимании. Поэтому граждане республик Закавказья никак не подпадали под стереотип «иностранца», тем более «интуриста». Да и не так много россиян в 1990-е годы различало этнические и правовые характеристики выходцев с Кавказа, что отразилось и в обобщающей терминологии: «кавказцы», «лица кавказской национальности», «граждане кавказской национальности».

Попытка осмыслить китайских трудовых мигрантов в категориях «иностранцев» также наталкивалась на серьезные ограничения. Мелкие торговцы-челноки, рабочие на стройплощадках и в теплицах, бедно одетые, крестьянского облика и поведения, совершенно не отвечали представлениям об «интуристах». И дело не в расовых характеристиках и коннотациях — японцы уже давно в эту категорию включались. Дело в тогдашнем отношении к Китаю и к китайцам — отношении снисходительном и часто высокомерном.

К началу же «нулевых» годов потерял прежнее значение и сам комплекс «иностранца». Он поблек после открытия границ и массового освоения «заграницы», ставшей доступной не только для завсегдатаев Куршевеля и владельцев особняков в Лондоне, но и для демократического туриста в Египте и Турции. Массовый туризм, трудовая и учебная миграция, браки и прочее стали привычными для представителей

низшего среднего класса. Теперь уже не вызывают гомерического хохота (и причины такой реакции непонятны новому поколению) слова Михаила Жванецкого: «В Париж, по делу, срочно». Нет «заграницы», нет «иностранца», нет и соответствующих комплексов. Почти нет.

Намного сложнее обстояло дело с комплексом «торгаша». Происходила чрезвычайно болезненная «сшибка» ценностей. В советской иерархии ценностей и статусов «торгаш» был внизу социальной лестницы. Теперь он превратился в хозяина жизни. И этот сдвиг, практически переворот, произошел почти мгновенно. Трудовые мигранты как из «дальнего», так и из «ближнего зарубежья» искали себе применение в сфере растущей и законной теперь рыночной экономики. Очень многие — в торговле. И все они безоговорочно становились «торгашами» в общественном мнении — причем не в индивидуальном качестве, а как группа. Это чрезвычайно уязвимая и опасная позиция в обществе, десятилетиями воспитывавшемся в антирыночном и эгалитаристском духе, верящем в справедливость, необходимость и практическую возможность построения общества материального равенства. По мере приобщения бывших советских людей к рыночной экономике начинает работать и мотив конкуренции. И когда «торгашами» оказываются представители инородных этнических групп, а сами эти группы воспринимаются как природные корпорации, частью которых человек является по факту рождения, возникает феномен «торговых меньшинств»[7].

В связи с этим стоит вернуться к «национальному дискурсу». Распад СССР и сопряженные с ним конфликты, появление этнократических государств, кризис советской идеологии и идентичности привели к радикальному его усилению как в массовом сознании, так и в государственной политике. О придаваемом ему значении свидетельствовало образование специального Министерства по делам национальностей и особых структур на местах, интенсивная работа по созданию соответствующих концепций, формирование бюрократических практик и процедур. В качестве национальных рассматривались самые разнообразные проблемы и конфликты переходного периода, в том числе и новая миграционная ситуация.

Однако уже к концу 1990-х годов и на официальном, и на бытовом уровне стало очевидным разочарование в «национальном дискурсе», в комплексах «иностранца» и «торгаша». Они оказались мало функциональными, не были насыщены необходимой энергетикой, плохо объясняли новые феномены миграции. Власти явно потеряли практический интерес к инструментальным возможностям «национальной политики», и ликвидация соответствующего министерства в этом смысле событие знаковое. Обывателя же сейчас больше волнует не этническое происхождение, а соблюдение или несоблюдение «норм общежития». Принципиально важен стиль жизни, манера поведения, способы и механизмы социальной адаптации. Происходит постепенная «приватизация этничности».

На фоне бурно растущего национализма это утверждение может показаться слишком смелым, даже парадоксальным. Достаточно посмотреть на энергичную деятельность и немалые ресурсы политических партий и группировок националистического толка, масштаб организуемых ими акций, бесчинства скинхедов, заставляющие предполагать существование националистического подполья, гиперактивность в интернете. Явно сформировалась массовая база для националистических взглядов, организаций и действий.

Тем не менее имеется немало симптомов того, что основания для поиска «чужого» и «врага» и их стереотипизации постепенно меняются. Налицо эволюция от иностранца и инородца к пришельцу — «мигранту», «гастарбайтеру».

Образ «кавказца»

Как уже отмечалось, наиболее острой и массовой ксенофобией 1990-х годов была кавказофобия. Это фиксировали социологи разных, часто конкурирующих структур и школ. «Основную массу этнического негативизма по-прежнему образуют антикавказские установки», — из года в год констатировали эксперты ВЦИОМа, наиболее авторитетного тогда центра по изучению общественного мнения. Это подтверждали

наблюдения ученых, об этом постоянно писали журналисты, говорили политики. Напряженность прорывалась серией инцидентов, прокатившихся по всей России. Регулярные погромы на городских рынках превратились, по выражению одного журналиста, в «национальный вид спорта», и в профессиональные праздники десантных войск рынки стали закрываться «на санитарный день». Газеты пестрели заголовками типа: «В хакасском поселке начались „кавказские погромы“», «Погромы выходцев с Кавказа», «В Иванове — расовые беспорядки», «В Саратове тоже разгорается кавказская война», «Граждане „кавказской национальности“ могут быть выдворены из Костромы в 24 часа», «Разборки в Приморье», «ОМОН устроил облаву на персики», «Беспредел с помощью законов: Ярославские чиновники успешно воюют с гражданами России из ближнего зарубежья».

Механизм возникновения беспорядков был стандартен. Конфликт на бытовой почве в раскаленной атмосфере неприязни и страха мгновенно перерастал в более или менее масштабное национально окрашенное столкновение. Власти, не имевшие ни опыта решения подобных проблем, ни необходимых для этого ресурсов и структур, отмалчивались. А иногда шли на поводу у погромных настроений или провоцировали их. Классический пример — Краснодарский край, где были приняты законодательные акты, прямо направленные против мигрантов с Кавказа[8]. Активно обсуждалась в прессе политика московских властей, которые ввели для приезжих, прежде всего из стран СНГ, особый режим пребывания в столице. Здесь регулярно проводились проверки документов и другие мероприятия, именуемые журналистами не иначе как «облавы», «зачистки». На неофициальном, а иногда и официальном уровне не скрывалось, что основной их объект — «лица кавказской национальности». Представители диаспор постоянно жаловались на притеснения со стороны властей, особенно милиции. Дискриминация приняла такие масштабы и формы, что вызвала официальный протест посла Азербайджана. Он охарактеризовал ситуацию как «жандармский произвол, унижение человеческого достоинства, гонения по этническим признакам»[9].

В этой обстановке приобрел новое качество сформировавшийся на закате советской эпохи образ «кавказца» — временного мигранта из входившей в состав страны, но культурно иной провинции, человека, активно занимающегося осуждаемой общественным мнением полулегальной предпринимательской деятельностью, к тому же выделенного обликом, особенностями поведения и бытовой культуры. «Торгаши», «чужие», «черные» (как маркер культурной чужеродности) — вот основные, как видим, — негативные составляющие этого стереотипа.

Это был результат массового контакта российского населения с выходцами с Кавказа. В 1960—1980-е годы оттуда хлынул поток трудовых мигрантов, в значительной своей части ускользавших от государственного контроля и регулирования: «шабашники», рыночные торговцы овощами, цветами и фруктами. Они олицетворяли не только иной тип поведения, но и иную мораль, иной образ жизни, не одобряемые как официальной идеологией, так и общественным мнением, — то, что квалифицировалось как «торгашество». Массовый отдых на Кавказе породил «курортный синдром». Как пишет в своем замечательном исследовании Артур Цуциев, «тревожный, угрюмый и разбойничий Кавказ, „Кавказ-вызов“ уступает место Кавказу курортному, приручennому. Любовник-грузин был последним советским романтическим образом кавказцев, уже почти целиком анекдотическим»[10]. Подспудное раздражение открыто прорвалось в вызвавшем огромный скандал на заре перестройки рассказе Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии».

Но это было именно раздражение, копившееся тогда у всех — и против всех — по причине общего кризиса советской системы. Новое качество и размах этой ксенофобии придали 1990-е годы, когда бытовое ворчанье переросло практически в паранойю.

За последнее время появилось немало работ, посвященных кавказофобии (хотя и существенно меньше, чем можно было ожидать, учитывая масштаб проблемы). Наличие этой историографической традиции позволяет сосредоточиться на некоторых важных в контексте данной работы проблемах, прежде всего на причинах накала кавказофобии в России 1990-х. Но прежде чем приступать к их рассмотрению, хочу

подчеркнуть, что предметом моего анализа является именно образ, а не соответствие его объективной реальности. Выяснение степени соответствия образа «кавказца», сложившегося в российском массовом сознании, реальным жителям Кавказа, гигантскому и противоречивому комплексу их свойств, связей и отношений — задача иных исследований. Мало того, у меня есть большие сомнения относительно того, решаема ли она в принципе.

Итак, образ «кавказца». Это «гости», «наглые чужаки», не желающие уважать порядки и обычаи «хозяев». «Торгаши», навязывающие враждебную систему ценностей. Люди, связанные круговой порукой общинных отношений и поэтому несущие коллективную ответственность. Новое качество этим свойствам придал контекст эпохи. Фрустрация, растерянность и потеря прежних жизненных ориентиров и опор у основной массы населения. Острота проблемы выживания. Неизбежная озлобленность. Поиски того, «кто виноват», острый спрос на «козла отпущения». Национальные конфликты с эпицентром на Кавказе, разгул насилия и жестокости, острое ощущение полной незащищенности человека. Распад страны по модели «скандального развода», формирующий отношение подозрительности и ревности. Образование новых независимых государств и неизбежное переформатирование представлений о том, кто «свой», кто «чужой». Двусмысленность «нового зарубежья» и его граждан, которые еще не воспринимаются в качестве полноценных «заграницы» и «иностранцев», но уже и не признаются «своими»..

В этих условиях — «залповый» выброс с Кавказа (как российского, так и получившего независимость) сотен тысяч, если не миллионов новых мигрантов. Массовая миграция оказалась чрезвычайно сжатой во времени, что не давало возможности постепенной взаимной адаптации. Повседневные массовые контакты с новыми мигрантами порождали ситуацию острого контраста и конфликта культур, типов и манер поведения — тем более что облик *этой* миграционной волны определяли выходцы из традиционалистской деревни. Различия между деревенской и городской культурами оценивались в привычных «национальных», то есть примордиально-этнических, категориях. Добавим к этому ориентацию основной массы мигрантов на занятость в мелком и среднем бизнесе, где и без того существовала жестокая конкуренция; видимый успех некоторых из них, особенно тех, кто занимался предпринимательством в советскую эпоху и приобрел в результате заметные стартовые преимущества — деньги, связи, опыт и психологию; и, наконец, сознательное формирование из выходцев с Кавказа «образа врага» частью элиты, причем не только той, что относила себя к национал-патриотическому лагерю. Впрочем, мобилизационный потенциал антикавказских настроений был оценен ею не сразу, а только после разочарования в иных «национально» окрашенных фобиях.

В силу этих причин кавказофобия была неизбежна. Однако отнюдь не они предопределили кажущийся иррациональным накал и масштабы неприязни и даже ненависти 1990-х годов. Истоки такой неприязни я бы искал в мощном комплексе унижения и страха, в ощущении того, что именно отсюда исходит *реальная* угроза базовым ценностям и основам безопасности. В образе «кавказца» сконцентрировались все страхи переходной эпохи: чувство беззащитности перед «разгулом рынка», перед массовым индивидуальным насилием, пришедшем на смену насилию государственному, перед распадом прежней иерархии ценностей и социальных отношений. Это был страх людей, лишившихся привычной патерналистской защиты «большого брата» и внезапно очутившихся в мире, где ранее преследуемые, осуждаемые и презираемые качества и способности (индивидуализм, общинность и общинная солидарность, предпринимательские навыки) оказались ключевым ресурсом для выживания и процветания. Обида на бросившее их государство, в которой терпеливое равнодушие к номенклатурной приватизации причудливо сочеталось с бессильной ненавистью к «олигархам» и «Чубайсу».

Как справедливо замечает Цуциев, «сама проблема идентичности возникает лишь тогда, когда народ ущемлен, ослаблен: в паре большинство — меньшинство уделом именно меньшинства является (часто болезненная) рефлексия по поводу своей идентичности и связанной с нею судьбы. Однако в нынешнюю эпоху мы застаем парадоксальную смену ролей. Русское большинство в стране начинает пережи-

вать свою идентичность в стиле „minorities-at-risk“»[11]. Одним из факторов, обусловивших эту смену ролей, он считает «парадоксальный „центральный характер“ расположения Кавказа в России (проявляющийся, в частности, в активности диаспоры, в экспорте в Россию не сырья, а важнейшего символического продукта — территориальной целостности России, даже более того — символов ее состоятельности как государства и нации)».

Для простого человека, обывателя защищенное и защищавшееся прежде государством общество превратилось в джунгли. Теперь, когда патерналистское государство фактически исчезло, выживал и добивался успеха тот, кто имел опыт жизни вне его или в противостоянии ему. Тот, кто мог использовать ресурс семьи, клана, в чьей культуре сохранились элементы племенной морали: «то, что недопустимо в отношении своих, допустимо в отношении других». Тот, кто был готов и мог явочным порядком присвоить монопольную собственность государства — право на применение насилия. Преимущество теперь оказалось у тех, кто был способен лучше и эффективнее задействовать эти ресурсы.

Наличие данных ресурсов делало «кавказца» страшным конкурентом в мире российского бизнеса — бизнеса образца 1990-х годов, основанного на игре без правил, без закона и без государства. В мире, который строился в лучшем случае на понятиях, но прежде всего на силе, готовности и умении ее применять, то есть на том, что Вадим Волков описал в категориях «силового предпринимательства»[12]. Ключевой характеристикой «кавказца» становится агрессивность и брутальность. Он не просто «торгаш», что само по себе уже плохо, — он брутальный захватчик и насильник. Для него нет норм, правил, законов и даже понятий. Он претендует не только на деньги, но и на власть, господство. Претендует, используя силу — физическую и силу денег. Мощный фактор силы — опора на клан и племенная мораль, это санкционирующая. Это жестокий и беспощадный хищник, поджидающий и пожирающий жертву. «Мы» ощущаем себя полем «его» охоты.

Ярко и талантливо это ощущение передано в серии «экономических триллеров» Юлии Латыниной, где видное место занимают чеченцы и «кавказцы» вообще — люди с племенной моралью. Племенная мораль — их преимущество и ресурс в мире, испытывающем дефицит морали как таковой. Важнейшая составляющая этой морали — готовность применить силу к чужаку и пожертвовать собой ради интересов клана.

Хотя чуть выше я писал о том, что не ставлю перед собой задачу соотнести «образ кавказца» с реальными жителями Кавказа, позволю себе все-таки процитировать рассуждения Цуциева об особенностях кавказских культур из уже упоминавшейся выше статьи: «Кавказские культуры являются (или конструируются) культурами выраженного мужского доминирования... Сердцевиной этих культур являются маскулинные ценности. Большинство кавказцев в качестве „самых положительных кавказских черт“, в качестве того, что „более всего определяет особенность кавказского характера“, называют именно *мужественность* и все, что с ней связано. Большинство русских также указывают на это фокусное, центральное качество. И здесь кавказский автостереотип совпадает с русским восприятием „канонического“ кавказского характера. <...> Агрессивность поведения (либо в явной, демонстративной форме, либо в форме скрытой угрозы или готовности к силовому противоборству) является одним из элементов „настоящего мужского канона“. Маскулинность кавказских культур выражается отчасти в том, что агрессивность становится тем стандартом, который сознательно воспитывается, поддерживается во взрослеющих мальчиках».

Конфликтогенную роль этого фактора во взаимоотношениях мигрантов и принимающего общества еще в начале 1990-х годов отмечал Сергей Панарин[13].

Немного о терминах, которые играли (и играют) вполне самостоятельную и важную роль в развитии стереотипа, в формировании отношения. С оскорбительными «черные», «хачики», «баклажаны» и т.д. все понятно и без комментариев. Властно-бюрократический дискурс «отлился» в монструозную формулу «лицо кавказской национальности». Еще в 1994 году Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации признала ее «некорректной и неэтичной»[14]. Сейчас благодаря дружному осуждению в СМИ она почти искоренена, а если и встречает-

ся, то обычно в ироническом или саркастическом контексте. Словосочетание «лицо кавказской национальности», изобретенное в советские времена то ли армейскими политработниками, то ли чиновниками лагерной системы или служб МВД, пытавшимися осмыслить и формализовать в национальных категориях сложнейшую систему социальных отношений и связей, неожиданно для них оказалось перенасыщенным смыслами, причем смыслами пейоративными. Этому способствовало как наложение значений «лицо — персона» и «лицо — физиономия», так и очевидная абсурдность выделения «географической национальности», переводившие словосочетание в расовое, если не расистское поле. При всем том, и здесь я согласен с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Кронгаузом, это был пусть бюрократически-неуклюжий, но все-таки способ снять оскорбительный подтекст при назывании этнонимов — подобно тому как одновременно возникшая конструкция «лицо еврейской национальности» была способом избежать употребления слова «еврей», которое в годы советского государственного антисемитизма приобрело в глазах многих обидный оттенок.

Широко, но с долей сомнения в его политкорректности употребляется слово «кавказец» (в кавычках и без). Теоретически оно находится в одном смысловом ряду, например, с «европейцем», включая не только географические, но и социокультурные и иногда даже расовые коннотации. Однако слово «европеец» протеста не вызывает и используется широко и свободно. С «кавказцем» сложнее... Однако попытки найти адекватную и полностью нейтральную замену пока не увенчались успехом. Обнадеживает только то, что все больше пишущих и публично выступающих людей стало вдумываться в значение слов и, как говаривали в «лихие девяностые», «фильтровать базар».

В «нулевые» годы интерес к кавказофобии со стороны исследователей и СМИ пошел на спад. То есть пишут о ней не меньше и по-прежнему оценивают как основной ксенофобский синдром в российском обществе, но больше по привычке и в связи с явным ростом националистических и фашистских настроений в стране. Из субъекта насилия «кавказцы» постепенно становятся его объектом. При сохранении массовой неприязни к ним снижается накал чувств. Уже нет того нерва, той общественной напряженности и даже истерии, что раньше. Это уже не паранойя, как в 1990-е годы.

Главную причину такого поворота событий я вижу в том, что со стороны «кавказцев» уже не ждут прямой угрозы базовым ценностям, исчезло или существенно уменьшилось ощущение непосредственной и повседневной опасности у обычного, массового человека. Резко сократилось преобладавшее раньше чувство унижения. В результате ненависть трансформируется в равнодушное недоброжелательство. Это обусловлено рядом важнейших сдвигов в российском обществе. На место войны всех против всех, когда сильный пожирает слабого, пришла восстановленная мощь государства. Государство решительно возвращает себе монополию на насилие. Оно — главный хищник и создатель правил игры. Индивидуальный хищник оттесняется на периферию. Закончилась большая война в Чечне, и, что еще важнее, она почти ушла с телевизионных экранов и перестала быть раздражающим фактором. Миграционная волна с Кавказа потеряла прежний «залповый» характер. Следствием стал далеко зашедший процесс интеграции мигрантов. Они перестают выделяться своим поведением и образом жизни. Все больше выясняется, что тревожили, стимулировали страх и вражду не «кавказская этничность», не облик и не расовые характеристики («черные»), а модель поведения, образ и стиль жизни. И хотя кавказофобия, повторю, по-прежнему оценивается как основная этническая фобия в стране, можно предположить, что за ней скрывается уже совсем другой феномен — мигрантофобия.

От «желтого» к «китайскому»...

Внезапное появление массы мигрантов из Китая в начале 1990-х годов стало для подавляющего большинства россиян полной неожиданностью, более того — огромным шоком. Последний раз российское общество сталкивалось с феноменом

теснейшего контакта с Китаем и китайцами через миграции, мигрантов и диаспору в конце XIX — первой трети XX века. Промежуток был достаточно велик и настолько насыщен событиями и катаклизмами, что китайцы как люди и как проблема были прочно забыты, ушли из общественного сознания. Послевоенные перепады во взаимоотношениях между СССР и КНР (от «русский с китайцем братья навек» до вооруженных приграничных конфликтов и подготовки большой войны) остро переживались, особенно жителями Дальнего Востока и Сибири, но именно в контексте межгосударственных отношений.

Прервалась интеллектуальная традиция изучения проблемы, дореволюционные тексты, физически оставаясь в библиотеках, фактически ушли в небытие. Радикально изменилась идеологическая атмосфера, в том числе и набор фобий. Старая китайская диаспора, бывшая предметом глубокой озабоченности российского общества, при советской власти исчезла, была вытеснена или уничтожена. Этот сюжет отошел на далекую периферию исторической памяти, и массовый приток граждан КНР был воспринят общественным мнением как событие не просто неожиданное, но и абсолютно новое.

В процессе контактов формировался образ китайских мигрантов. Изначально пристальный интерес к ним не был ни нейтральным, ни, тем более, позитивно окрашенным. На рубеже XIX—XX веков крайне немногочисленное, остро ощущавшее свою оторванность и незащищенность российское население Дальнего Востока опасалось китайцев, видя в них конкурентов и передовой отряд чужой цивилизации. Власти боялись «китаизации» региона с перспективой потери его для России. Понимание полной зависимости от труда мигрантов симпатий к ним не добавляло.

Это и выстроило структуру образа. Его основными чертами были: (а) неприхотливость, непритязательность, нищета и антисанитария, заискивающее поведение; (б) высокий конкурентный потенциал за счет сочетания работоспособности, трудовой дисциплины и минимальных требований к оплате труда; (в) культурная чужеродность и стремление ее сохранить, противостояние культурной интеграции в местное общество, сильная связь с родиной, массовость, общинность, корпоративный дух, взаимопомощь, предприимчивость; (г) присутствие за спинами мигрантов пока «дремлющего», но обладающего огромной потенциальной мощью Китая, а главное — неисчислимых миллионов «соплеменников».

В современном образе воспроизводится набор традиционных компонентов — трудолюбие, неприхотливость, адаптивность, предприимчивость. Однако эти в принципе позитивные качества зачастую окрашены негативно: трудолюбивы — но в ущерб нам, патриоты — соответственно нелояльны России, помогают своим — значит, клановые (опять же в ущерб нам). Это неудивительно, ибо оценочность — несущая конструкция образа, который необходим даже не столько как эвристический инструмент, сколько как помощь, опора в формировании отношения.

Массовое присутствие китайских мигрантов не породило пока обстановки повседневного, привычного, рутинного человеческого контакта с ними. Контакта хотя бы относительно индивидуализированного — через слуг, лично знакомых торговцев, через совместную трудовую деятельность. Общение происходит только через прилавок. А это весьма специфическая позиция, особенно в постсоциалистическом обществе, до сих пор отягченном мощными антирыночными предубеждениями.

Поэтому, возможно, пока нет особого стимула к тому, чтобы формировался индивидуализированный образ китайца. Это кажется странным на фоне огромного количества газетных материалов, публицистики, заявлений политических деятелей и чиновников, увеличивающегося числа научных исследований. Китайские мигранты — регулярные герои телепередач, как хроники, так и специальных фильмов. Тем не менее даже в телевизионных видеорядах практически нет *лиц.* Нет интереса к отдельному человеку, его жизни и судьбе. Есть интерес к *функции*, к *массе.*

В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, что сейчас в России интересуются не китайцем и даже не китайским мигрантом, а воплощенной в них китайской проблемой. Жизнь еще не заставила задуматься над тем, *кто такой* китайский мигрант, *какой* он. Преобладает другое — сколько их, что они нам несут, исходит ли от них угроза, а если да, то какая. И это относится не к отдельному человеку, а к массе,

совокупности. Отсюда абстрактность образа, его схематичность и примитивность. До революции он был куда более богат, насыщен красками, деталями и подробностями. Тогда были клички *«ходя», «китаеза», «купеза»* — это обидно, унизительно, оскорбительно, но хоть немного индивидуализировано. Сейчас же это *китайский мигрант* — функция, абстракция.

При всех этих отличиях главное сохраняется — отношение к китайцам как к нерасчлененной массе. Именно массы опасаются, именно масса, количество лежит в основе различных построений о «демографической экспансии» и «желтой угрозе». Метафора «муравья», столь распространенная до революции, используется и сегодня — правда, реже.

Сместился, однако, акцент при оценке характера групповой лояльности. Во многом это связано с радикально изменившейся ролью Китая. Если на рубеже XIX—XX веков он рассматривался скорее как пространство, а не реальный носитель державной мощи, то сейчас такой взгляд невозможен в принципе. Теперь в рассуждениях идеологов и в массовом сознании это сверхдержава, чья экономическая и военная мощь имманентно направлена вовне — хотя бы под давлением гигантского и стремительно растущего населения и общей ограниченности собственных ресурсов. Мигранты расцениваются как инструмент, «щупальце» этого государства-гиганта. В построениях рубежа XIX—XX веков китаец выглядел куда менее этатизированным, растворенным не в государстве, а в группе, в «расе».

Почти вышел из употребления эпитет «желтый», принципиально важный для рубежа XIX—XX веков. Он сохранился лишь в словосочетании «желтая опасность» — в качестве компонента устоявшегося термина. Вряд ли это — следствие возросшей политкорректности. Скорее — результат оттеснения на периферию при анализе социальных отношений и проблем мощного, возможно, преобладавшего в конце XIX — начале XX века расового дискурса. Расизм, конечно, сохранился, расовые различия фиксируются и реально отражаются на характере человеческих связей и отношений, но массовые представления о непреодолимой пропасти между расами, взгляд на представителей иной расы как на инопланетян в целом ушли в прошлое. Переход от «желтого» к «китайскому», как мне кажется, свидетельствует о принципиальных различиях в самых фундаментальных составляющих образа китайца двух рассматриваемых эпох.

Трансформация «желтой опасности» в «китайскую угрозу» не означает исчезновения или ослабления фобии как таковой. Анализ большого количества самых разнообразных текстов позволяет выделить в качестве ее «краеугольных камней» концепты «экспансия», «эксплуатация» и «криминал».

Начну с ***экспансии***. Широко распространено представление о китайской миграции как составной части, важнейшем инструменте целенаправленного, спланированного и организованного процесса экспансии, осуществляемого государством и тотально мобилизованным и организованным через государство населением. Сами мигранты в этой конструкции предстают не отдельными людьми, частными лицами со своими мотивациями и свободой воли и выбора, а неотъемлемой органической частью, «щупальцем» государства. По целям выделяется территориальная, демографическая и экономическая экспансия. В этом контексте работает старая метафора *«муравьи»*[15], подразумевающая массовость, невычлененность, организованность и подчиненность китайцев общей воле. Эта метафора имеет и другое измерение: муравьи, возможно, и разумные существа, но не люди. У них иная логика и мораль, поэтому и отношение к ним может строиться вне «человеческих» законов. Крайнее выражение такого подхода — рассуждения о проблеме китайских мигрантов и китайцев вообще в категориях «биомассы».

Немалую популярность приобрел тезис о том, что миграционная экспансия в Россию осуществляется в соответствии с «планом» китайских властей, который реализуется посредством принуждения и стимулирования (вплоть до финансового вознаграждения осевшим на постоянное жительство в РФ мигрантам). Этот тезис широко представлен и в масс-медиа, и в заявлениях чиновников и политиков, и в работах ученых. Огромную роль в формировании подобного взгляда сыграла книга о китайской миграции в современную Россию, выпущенная в 1994 году такими автори-

тетными экспертами, как Леонид Рыбаковский, Ольга Захарова и Владимир Миндогулов, в которой, в частности, говорилось: «Китай, имеющий огромные территориальные претензии к России, всячески стимулирует проникновение своих граждан на ее территорию и создание базы для легального существования. Одновременно экономическая деятельность китайских граждан приносит и колоссальные доходы... Главной целью китайского проникновения в Россию вне зависимости от форм и каналов является интеграция в хозяйственную деятельность, приобретение недвижимости и земли, то есть создание экономических и правовых предпосылок для легального захвата территории... Несмотря на то что иммиграция китайцев на Дальний Восток России в настоящее время носит преимущественно нелегальный характер, существующая система проникновения обеспечивает процесс оседания и легализации нелегальных мигрантов»[16].

«Небольшими группами по сто тысяч человек в каждой». Эта фраза из анекдота времен советско-китайского военного противостояния — одна из основ представлений о демографической экспансии Китая. Китайских мигрантов не может быть мало по определению, ибо китайцев в принципе не бывает мало. Но раз так, то ввиду немногочисленности населения России вообще и ее восточной части в особенности китайцы просто поглотят местных жителей и станут большинством. Собственно говоря, уже поглощают. И чем дальше живут носители таких представлений от китайской границы, тем плотнее заселены в их глазах китайцами сибирские и дальневосточные города. Все эти годы самый обсуждаемый миграционный вопрос: а сколько у нас в России китайцев? Точной статистики здесь нет и пока не предвидится. Причины очевидны: нелегальная составляющая, неэффективность госструктур, призванных вести учет мигрантов, незаинтересованность многих в получении реальной информации. Разброс оценок: от 300 тысяч до 5—6 миллионов человек. Причем максимальные оценки как появились в начале 1990-х годов, так и гуляют по страницам не только газет, но и научных изданий до сих пор. Подсчеты серьезных ученых, заявления пограничных властей о том, что цифры въезда-выезда расходятся всего на несколько процентов (а значит, и нелегальная составляющая не так велика, как часто считается), просто игнорируются. Многомиллионные оценки численности мигрантов уже «схватились», застыли, легли в основу целого ряда идеологических построений и властных решений. Они подтверждены авторитетом научных и властных экспертов. Они необходимы — поэтому неискоренимы, принципиально выводятся из сферы научного анализа, критики источников, научных процедур работы со статистикой.

«От китайца может родиться только китаец» (тезис популярного писателя советской эпохи Петра Проскурина). Частью смертельной угрозы предстают смешанные браки, «брачная экспансия китайцев» как инструмент демографической экспансии. Особенно опасной выглядит стратегия «брачной натурализации», при которой многочисленные нелегальные мигранты (а также их дети и родственники) обретают легальный статус через браки, в том числе фиктивные. О последствиях этого Рыбаковский и его соавторы пишут несколько косноязычно, но совершенно недвусмысленно: «Исторический опыт свидетельствует, что специфика населения Дальнего Востока и не менее специфичная политика сопредельных государств, в том числе Японии, на различных этапах развития Дальнего Востока дают реальный шанс на положительный исход этих долгосрочных, хорошо просчитанных акций по естественной ассимиляции населения»[17]. Между тем имеющиеся подсчеты говорят о ничтожном количестве таких браков. Главное же — никто не доказал, что «кровь» лежит в основе культуры, что китайцы не адаптируются и не ассимилируются и что те, в ком течет китайская кровь, по определению несут в себе мощный ген «китайскости». Ссылки на дореволюционный опыт здесь не очень корректны, так как подавляющее большинство китайских мигрантов были тогда сезонниками и не обзаводились семьями, не оседали. Значит — и слабо ассимилировались.

«Косовский вариант». Еще в начале 1990-х годов стал формироваться устойчивый миф о компактных поселениях китайцев на Дальнем Востоке, о том, что там есть уже немало мест с преобладающим китайским населением. Чем дальше от Дальнего Востока, тем устойчивее такие представления. Масса вполне серьезных людей пишет и говорит о подобных поселениях (не приводя, правда, их названий) как о чем-то

очевидном и несомненном. А далее рисуется стройная и леденящая душу картина того, как эти китайские анклавы потребуют себе автономии, а затем и «воссоединения» с Китаем. Две произвольно выбранные иллюстрации на этот счет. В 1996 году Константин Сорокин отмечал как непреложный факт «растущую неконтролируемую „ползучую" миграцию китайцев в Россию (их в нашей стране насчитывается до 2 миллионов человек), образование, особенно на Дальнем Востоке, не подчиняющихся российским законам „чайнатаунов", массовую незаконную скупку китайскими предпринимателями недвижимости к востоку от Урала при бездеятельности местных и центральных властей»[18]. В 2005 году Александр Храмчихин не менее твердо утверждал, что «восток России (в лучшем случае пространство к востоку от Байкала, возможно — к востоку от Енисея, в худшем — к востоку от Урала) за пару десятилетий превратится в гигантское „Косово"... Он будет заселен китайцами и в экономическом, финансовом и административно-политическом отношении станет частью Китая. При этом формально он будет числиться российским (до тех пор, когда в Кремле не появится президент, который отдаст де-юре то, что уже потеряно де-факто), в отдельных гетто будут жить немногочисленные граждане России... В Китае прекрасно видят, что Россия сама сдает свой восток, хотя живет за его счет. В Китае прекрасно знают, что их собственная страна не проживет, не забрав соседние территории. Нация хочет жить и решает вопрос выживания единственно возможным путем»[19].

Эксплуатация. Здесь китайская тема вливается в общий комплекс представлений о том, что мигранты неизбежно претендуют на ресурсы принимающего общества. При этом подразумевается, что объем ресурсов заведомо неизменен, поэтому с появлением новых людей старожилы автоматически лишаются их части. В этом контексте достаточно перечислить несколько наиболее распространенных клише, касающихся именно китайских мигрантов:

— они отбирают у россиян рабочие места;

— они вывозят (воруют) наш лес, металлы и другие природные ресурсы;

— они вывозят капиталы из России.

Криминал. Не выбивается из общего комплекса миграционных мифов и представление об изначальной и тотальной криминализированности китайских мигрантов, как и мигрантов в целом. Специфика лишь в том, что преступный мир здесь олицетворяют зловещие «триады».

«Перелетные птицы» из Центральной Азии

Масштаб притока трудовых мигрантов из Китая и стран Центральной Азии количественно сопоставим (хотя, конечно, при этом есть существенные различия в пропорциях между отдельными городами и регионами). Первопроходцами, «пионерами» массовой трудовой миграции из Центральной Азии стали жители Таджикистана, таджики по этнической принадлежности. Их подтолкнула к этому краткая, но чрезвычайно кровопролитная гражданская война начала 1990-х годов. Массовый поток беженцев (около миллиона человек только для стран СНГ) проложил дорогу для трудовых мигрантов. Послевоенная экономическая разруха и общая экономическая отсталость создали теперь уже долговременный и мощный выталкивающий фактор. Беженцы органично трансформировались в трудовых мигрантов. Они довольно быстро сформировали миграционную инфраструктуру — от организации трафика до оказания посреднических услуг в российских городах.

Обрели они и свою «нишу» на рынке труда. В качестве новичков они были лишены тех стартовых возможностей, которыми обладали выходцы с Кавказа, массово осваивавшие Сибирь и другие регионы страны еще с советских времен и накопившие значительные материальные средства, опыт, деловые и социальные связи. Первые же таджикские трудовые мигранты начинали все с нуля, практически на пустом месте. Поэтому они могли рассчитывать только на самые непривлекательные, грязные и низкооплачиваемые профессии и сферы занятости. Служащие, врачи, ученые, преподаватели, квалифицированные рабочие становились чернорабочими.

Таджикский грузчик на рынке, сезонный строительный рабочий-отходник превратились в типичные, даже знаковые фигуры. Горожане, люди с образованием и профессией, опытом жизни и учебы за пределами родных мест, первыми прокладывали пути, по которым затем двинулись их родственники и земляки.

Через несколько лет, отчасти опираясь на созданную таджиками миграционную инфраструктуру, пришли в движение жители соседнего Узбекистана, миграционный потенциал которого много выше, чем у Таджикистана. Во многих сибирских городах (например, в Иркутске) они занимают сегодня первое место по числу официально зарегистрированных трудовых мигрантов, опережая ранее преобладавших китайцев.

Первопроходческая роль таджиков, их массовое, повседневное и постоянное присутствие в жизни принимающего общества сформировали образ «таджика». Само это слово наполнилось новыми смыслами. С одной стороны, оно осталось привычным этнонимом, обозначением жителя Таджикистана (то, что сложилось еще в советские времена). С другой стороны, его распространяют теперь на всех выходцев из Центральной Азии, приезжающих в Россию в поисках работы, преимущественно временной, сезонной. Фактически оно стало синонимом слова «гастарбайтер», которое стремительно ворвалось в массовую языковую практику и стало общепринятым. Появились устойчивые словосочетания: «таджикский труд», «таджикская зарплата», «работать как таджик». И даже — «работать таджиком».

И причина этого не только в том, что в принимающем обществе мало кто отличает таджика, скажем, от узбека. «Таджик» стал массовой фигурой, частью обыденной жизни, повседневности. О нем вспоминают, когда нужно за небольшие деньги нанять человека для временной работы (отремонтировать квартиру, например). Сведения о «надежных таджиках», то есть о тех, кто может выполнить работу не просто дешево, но и квалифицированно, без брака, распространяются по неформальным каналам, через знакомых и родственников. Это предполагает личные контакты с мигрантами, а значит — формирование отношения.

Соответственно формируется и образ, стереотип «таджика». Естественно, это выходец из Центральной Азии, совсем не обязательно собственно таджик. При численном преобладании узбеков они в данном качестве в общественном сознании практически отсутствуют (хотя о существовании Узбекистана и узбеков знают, конечно, все). Это ни в коем случае не русский или, по распространенному определению, «русскоязычный». Подразумевается при этом — не европеец. Однако и не кореец. Здесь явственно присутствуют расовые характеристики, хотя это не вербализируется, а часто и не осознается. Впрочем, в ксенофобских текстах слово «черные» употребляется повсеместно.

Иногда за рамки категории «таджик» выводятся этнические киргизы и казахи. Причины могут быть разными. Для формирования образа киргизов (а в России, по некоторым оценкам, находится около 700 тысяч трудовых мигрантов из этой республики) существенно то, что многие из них активно и довольно успешно занимаются торговым бизнесом[20]. В качестве рыночных торговцев киргизы стали в последние годы заметной частью городских сообществ. На розничных и мелкооптовых рынках многих городов, прежде всего сибирских, появились специальные киргизские ряды. Это фиксируется местными жителями и создает стимул для отношения к этой части выходцев из Киргизии именно как к киргизам. Но когда они занимаются неквалифицированным физическим трудом (особенно в сфере коммунального хозяйства) этого не происходит, здесь они — «таджики».

Отдельная проблема — казахи. Это сюжет, важный главным образом для Западной Сибири. Там есть классические трудовые мигранты, но немало и коренных жителей (в Кулунде, Горном Алтае). В крупных сибирских городах (особенно в Омске) много казахов, осевших там еще в советские времена. Они уже коренные горожане, люди, глубоко интегрированные в российскую культуру, российские граждане[21]. Это мешает сформировать по отношению к ним единый стереотип и рассматривать их всех через модель «таджиков»[22].

Таким образом, стереотип «таджика» формируется не только, а возможно, даже

и не столько этническими коннотациями. Принципиально важно, что это трудовой мигрант, «гастарбайтер». Человек не просто приезжий, но временный, «перелетная птица». Подобному восприятию не препятствует то, что многие мигранты приезжают в одно и то же место на протяжении многих лет, врастают в систему местных социальных связей и отношений, а иногда и остаются жить постоянно, перевозят туда свои семьи или (чаще) обзаводятся ими на месте. Тем не менее и они наделяются характеристикой временности. Подразумевается также сомнительный статус их пребывания и работы в России («нелегальные мигранты»). Для этого есть серьезное основание, так как до недавнего времени большинство сезонных мигрантов из Центральной Азии не имело разрешения на занятие трудовой деятельностью. После либерализации этой процедуры в 2006 году их число сократилось, но остается значительным. Когда же степень их интеграции переходит некую грань, они перестают быть «таджиками», хотя их таджикское происхождение и культура вполне осознаются.

В глазах окружающих «таджик» — это человек второго сорта, низкостатусный и бесправный, не претендующий на чье-то место в социальной иерархии, готовый на любой труд, вообще на все ради заработка. Он даже не внизу социальной лестницы — он вне ее. Еще в 1990-е годы я слышал, как чиновники, занимающиеся миграционными процессами, привычно употребляли по отношению к этой категории мигрантов слово «раб». Так они для себя определяли статус и место «таджиков» в обществе. Правда, в последние годы слово это, кажется, исчезло из их лексикона.

В основе стереотипа лежит отношение. По сравнению с китайцами и выходцами с Кавказа, в отношении к «таджику» больше отторжения, желания отстраниться, нежели страха. «Таджиков» опасаются только как трудовых мигрантов — конкурентов за рабочие места и иные ресурсы. Но конкурент этот видится слабым. Он не подкреплен мощью державы, энергией, трудолюбием и численностью, чего страшатся у китайцев. Нет у него и приписываемой «кавказцам» агрессивности, готовности и способности применить физическую силу и ресурсы подкупленного государственного аппарата.

Важнейший компонент растущего мигрантофобского комплекса — обвинение мигрантов в поголовной криминализации. Пресса всегда находит способ подчеркнуть случаи, когда преступление совершено мигрантом, особенно если речь идет о преступлениях против личности — убийствах, грабежах, изнасилованиях. Зачастую этим аргументируется тезис о миграционной угрозе. Крайне редки и остаются почти незамеченными попытки сравнить уровень и структуру преступности среди мигрантов с соответствующими показателями принимающего общества. Как только начался экономический кризис, появилась масса алармистских заявлений политиков, журналистов, чиновников, утверждавших, что оставшиеся без работы мигранты немедленно переключатся на криминальную деятельность и Россию ожидает новое «холодное лето 1953 года». Одинокие голоса профессионалов, ставящих такую перспективу под сомнение, тонули в этом хоре. Впрочем, поскольку всплеска преступности не произошло, эта истерическая пропагандистская кампания быстро закончилась.

В этом комплексе «криминального мигранта» у «таджиков» имеется собственное место. Их обвиняют в обслуживании наркотрафика. В СМИ сложилась устойчивая и прочная смысловая связка: таджикские трудовые мигранты = наркотики. Нередки попытки увязать трудовую миграцию «таджиков» с угрозой «исламского экстремизма» и «исламского терроризма», однако пока они не встречают живого отклика у обывателя.

Страха перед отдельными мигрантами и «таджиками» в целом в обществе не сформировалось. Господствует снисходительная отчужденность, взгляд на мигрантов как на представителей иного мира, «людей из-за стекла». Возможно, что принципиальное и подчеркнутое отчуждение, отторжение — это способ самоуспокоения, обретения психологического равновесия в ситуации явного и несправедливого неравенства. Способ примириться с существованием рядом «раба».

Стереотипы в потоке времени

Новая миграционная ситуация в России, несмотря на свою краткосрочность, уже продемонстрировала поразительную динамику. Она проявляется и в развитии стереотипов. Массовый приход новых людей, возникновение нового общественного феномена потребовали создания механизма адаптации к ним человека принимающего общества. А это было невозможно сделать без выработки отношения и формирования стереотипа. Мифы и стереотипы так быстро сложились и так прочно укоренились в общественном сознании по простой и важной причине — они необходимы. Это незаменимый способ определения места новых людей и новых групп в иерархии отношений и статусов. Через мифы и стереотипы формируется и функционирует модель отношений. Это инструмент идеологической мобилизации и борьбы за власть, инструмент реализации ведомственных, региональных и корпоративных интересов. Но по мере изменения отношения принимающего общества к мигрантам меняется и структура стереотипов, интенсивность присутствия в них страхов и враждебности.

Как это обычно бывает, первоначально они формировались из старых, привычных представлений — стереотипов прежних времен и прежних реалий. Важнейшими из них для советского общества и отдельного взятого человека были конструкты «национальности» и «национальных отношений». Привыкнув рассматривать себя и окружающих в категориях «исконной» этничности — этничности, определяемой государством фактически по признаку «крови», и простой человек, и властные структуры распространяли это видение и на растущие потоки трансграничных мигрантов. Принципиально важным был и сам факт трансграничности, зарубежности мигранта, наличия у него особого юридического статуса, особого набора прав и обязанностей. Осмысление данного феномена началось через использование сложившегося в советские времена устойчивого и богатого смыслами стереотипа «иностранца», человека не просто из другой страны, но из другого мира, из другой касты.

Два этих стереотипа — «представитель национального меньшинства» и «иностранец» — стали первыми инструментами осмысления и выработки отношения к новому феномену и новой проблеме. Власти бросились проводить «национальную политику», создавая для этого соответствующие институции и разрабатывая нормативные документы. С начала 1990-х годов по всей стране развернулся бурный процесс образования национально-культурных обществ, а затем — национально-культурных автономий. Через сотрудничество с ними власти пытались решать и миграционные проблемы. Однако опыт 1990-х годов отчетливо продемонстрировал низкие инструментальные возможности подобного подхода.

Быстро обнаружилась и слабая пригодность для осмысления и регулирования миграционной ситуации стереотипа «иностранца». Китайские «челноки», строительные и сельскохозяйственные рабочие никак не вписывались в образ, сформировавшийся при взаимодействии с благополучными, зажиточными и защищенными представителями Запада. Еще меньше вписывались в него вчерашние сограждане, а ныне «граждане ближнего зарубежья». Сам этот термин жестко вычленял их из категории «иностранцев» — как «бывших своих», отделенных теперь границами, но оставшихся людьми своего мира, своего измерения. К тому же открытие границ, массовые, обыденные и повседневные контакты с ранее мифологизированной «заграницей» отодвинули в сторону и сам стереотип «иностранца».

Какое-то время довольно действенным был сложившийся на закате советской эпохи образ «кавказцев» — временных мигрантов из «своей», но культурно чужой провинции, активно и успешно занимающихся предпринимательской деятельностью. Похожие на них (по мнению многих представителей принимающего общества) обликом, культурой и манерой поведения выходцы из Центральной Азии на первых порах рассматривались и оценивались сквозь призму этого стереотипа.

Распад СССР и неизбежные при этом потрясения и катаклизмы породили потоки вынужденных переселенцев и соответствующий стереотип «беженца». Формирование образа «таджика» началось именно через осмысление феномена беженцев.

К началу «нулевых» годов все эти стереотипы советской эпохи и переходного

периода себя исчерпали. Они, конечно, не исчезли, но отошли на задний план. Мигранты заняли такое огромное место в жизни российского общества и оказались настолько уникальным феноменом, что возникла потребность в собственном, отдельном отношении и стереотипе.

Ответом на эту потребность стало вхождение в обыденную речь слова «гастарбайтер», которое прежде использовалось исключительно в специальной литературе. Родившееся в Германии, оно, по-видимому, наиболее полно и адекватно отразило сдвиг в понимании и восприятии обществом проблемы — в частности, радикальный переход от этнического принципа стереотипизации к мигрантскому. Этот переход замечательно схвачен в заголовке статьи «Есть такая национальность — гастарбайтеры»[23], опубликованной в «Комсомольской правде» — самой многотиражной и читаемой газете России. Шумный успех имела книга Эдуарда Багирова под названием «Гастарбайтер».

Сквозь огромную массу самых разнообразных текстов последних лет проступают основные черты нового стереотипа. Гастарбайтер — это пришлый, не местный человек, «мигрант», приехавший из-за границы, чтобы заработать денег и уехать. Его этничность, культура, страна происхождения, личные качества никого не интересуют. Его присутствие не очень желательно, оно раздражает, но приходится с ним мириться, ибо кому-то же надо трудиться на грязных и низкооплачиваемых работах. Он должен «знать свое место» — и место это находится вне социальной иерархии принимающего общества. Чем меньше его видно, тем лучше. Имя Равшан, пришедшее вместе с таджиками, постепенно становится нарицательным и теряет свою этническую привязку. Теперь это имя мигранта, «гастарбайтера», «таджика». Как сказал корреспонденту «Известий» небольшой строительный начальник в Москве, «главное преимущество Равшанов перед Иванами — их можно легко „кинуть“»[24].

В популярной телепередаче «Наша Russia» два комических «гастарбайтера» Джамшуд и Равшан довольно зло и ядовито комментируют нынешние реалии российской жизни. И это образы не таджиков (хотя телепередача вызывает большое недовольство в Таджикистане), а именно «гастарбайтеров», людей чужих, пришлых, отстраненных. Эта отстраненность и позволяет им увидеть абсурдность многих привычных «своему человеку» ситуаций. То, что «гастарбайтеры» стали телевизионными героями, говорит о том, насколько их присутствие стало массовым, привычным, а образ — сформировавшимся и общепонятным.

С образом «мигранта», «гастарбайтера» неразрывно связана и миг-рантофобия, которая постепенно замещает ранее господствовавшие этнофобии. Как и в странах Западной Европы, в массовом и повсеместном присутствии мигрантов многие видят прежде всего угрозу «цивилизационным устоям», базовым, основополагающим категориям культуры. Это страх перед тем, что неизбежные перемены, вызванные массовым присутствием носителей чужеродных культурных установок, так радикально изменят принимающее общество, что оно исчезнет в своем прежнем качестве. В России мигрантофобия смыкается со страхом перед стремительно развивающимся Китаем, который становится мировой сверхдержавой. Страхом, что китайские мигранты могут стать инструментом реализации геополитических интересов «матери-родины», которая уже в силу своего статуса сверхдержавы подозревается в экспансионизме.

Несколько слов о механизмах и способах выстраивания стереотипов. Один из распространенных способов я бы назвал «пирамидой» — по аналогии с механизмами действия приснопамятных финансовых афер. Он опирается на взаимные перекрестные «экспертные оценки» журналистов, чиновников и ученых. Появляется, например, некая информация в газете. Ее воспроизводит (с подтверждающей или даже сдержанно-скептической интонацией) представитель научного сообщества. Получивший «научную санкцию» («ученые пишут...») тезис входит в инструментальный оборот ведомственных аналитиков и чиновников. Легитимированный ими, он используется уже как солидный и надежный источник в научных исследованиях. СМИ тиражируют авторитетные мнения ученых и практиков. И так — по кругу. И каждый новый круг взаимных ссылок делает утверждение все более солидным, непререкаемым: «всем известно» и «наука подтверждает, что...». Именно так закрепились в публицис-

тическом, экспертном и даже научном обороте «сведения» о миллионах китайских мигрантов в России, о «китайских анклавах» на Дальнем Востоке или о численности смешанных браков с участием китайцев. Широко распространена практика ссылок на анонимные источники, введения в научный оборот оценок без описания методик их получения («по нашим подсчетам...», «существуют оценки...»). Свою лепту вносит и масс-медиа: кричащие и броские заголовки даже для абсолютно спокойных и нейтральных текстов, использование алармистской («экспансия», «вторжение», «оккупация», «посланцы Поднебесной») или ернически-издевательской лексики.

Вполне обыденной стала ситуация, когда в голове одного человека спокойно сосуществуют две прямо противоположные системы представлений о проблеме. Типично, когда чиновник, отвечающий за работу с мигрантами, оценивает миграционную обстановку в зоне своей ответственности как вполне нормальную («у нас все под контролем»), а общее положение в этой сфере в стране — как катастрофическое. Имеются две картинки: одна, опирающаяся на личные наблюдения и здравый смысл; вторая, сформированная масс-медиа, заявлениями политиков, чиновников и просто авторитетных людей по описанной выше схеме финансовой пирамиды. Второй доверяют больше.

Будущее: адаптация или конфликт ценностей?

Образ мигранта, структура мигрантофобии и ее роль в общественно-политической жизни страны трансформируются под воздействием динамично развивающейся миграционной ситуации — и, в свою очередь, воздействуют на поведение общества и политику властей.

Бушующие сейчас антимигрантские страсти говорят об этом со всей очевидностью. Понятно, что в основе событий на Манежной площади (а они не первые и, боюсь, не последние) лежит большой комплекс причин. Системный кризис существующего политического режима, абсолютная неустойчивость и неэффективность с таким трудом возведенной «вертикали» — наиболее очевидная из них. Власть не боятся и не уважают — и это очень опасно для нее и чревато потрясениями для общества.

Но было бы глубоко ошибочным недооценивать и собственную динамику буйного роста националистических настроений и их стремительной самоорганизации. Конечно, отчасти и этим мы также обязаны «вертикали», таким способом «поднимающей Россию с колен». Сильная и эффективная власть не нуждается в таком опасном инструменте, как манипулирование националистическими чувствами и настроениями, а слабая с ним заведомо не справится. Классический опыт веймарской Германии говорит о том, к чему могут привести игры слабой власти с нацизмом.

Стремление залить кавказский кризис гигантским потоком денег, откупиться от этой тяжелейшей проблемы, привело к прекращению большой войны в Чечне, но создало гигантское количество новых проблем, способы решения которых непонятны даже теоретически. Это ведет к новому всплеску кавказофобии. И к новому объекту страхов и ненависти. Кто сейчас помнит о том, что еще в 1990-е годы основным «врагом» были азербайджанцы и именно вокруг них бушевали основные мигрантофобские страсти. И уже совершенно исчезли из поля внимания в этом качестве армяне и грузины. Нет страха, соответственно и ненависти, к «таджикам», заметно снизился накал антикитайских настроений на Дальнем Востоке. Очаг страха и ненависти перемещается в собственно Россию, на Северный Кавказ.

Однако встревоженные заявления лидеров ряда европейских государств о тяжелом кризисе их миграционной политики, об остроте миграционной проблемы, могут свидетельствовать о том, что и у российской мигрантофобии есть не только собственные причины и собственная динамика. Что это общемировая проблема. Мощный, «залповый» приток огромного количества инокультурных мигрантов порождают повсеместные и массовые опасения по поводу возможности сохранения собственной идентичности, преемственности собственной истории и культуры. И это реальные проблемы — и реальные опасения.

В основе этих страхов лежит не само присутствие мигрантов и даже не их количество, а все большие трудности с их интеграцией в принимающее общество. Технические достижения современного мира (мобильный и дешевый транспорт, интернет, мобильная связь) позволяют мигрантам сохранять и эффективно поддерживать привычный для них образ и уклад жизни, традиционалистские и общинные ценности и механизмы социальной организации и контроля. Особенно если для этого есть необходимая критическая масса мигрантов. И этот уклад жизни и система социальной организации, власти и контроля могут вступать, да и вступают уже, в непримиримый конфликт с ценностями принимающего общества.

Поэтому динамика миграционной ситуации, способность принимающего общества осознанно выстраивать стратегию адаптации все новых и новых волн мигрантов, глубина и размах неизбежной мигрантофобии, желание и способность общества и власти удерживать ее в социально безопасных рамках – все это и будет формировать основные параметры экономического, политического и культурного развития страны. Возможно – и само ее существование. Это один из самых серьезных вызовов для российского общества, и от характера ответов на него зависит наше будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Витковская Г.*, *Панарин С.* (ред.). Миграция и безопасность в России. М., 2000.

[2] *Фурман Д.* Несостоявшаяся революция: Политическая борьба в Азербайджане (1988—1993 гг.) // *Дружба народов.* 1994. № 4.

[3] *Гудков Л.* Антисемитизм в постсоветской России // *Нетерпимость в России: старые и новые фобии.* М., 1999.

[4] *Умланд А., Шеховцов А.* Праворадикальная партийная политика в постсоветской Украине и загадка электоральной маргинальности украинских ультранационалистов в 1994—2009 гг. // *Ab Imperio.* 2010., № 2. С. 245; *Ben-Dasan I.* The Japanese and the Jews. N.Y., 1982.

[5] Это, кстати говоря, подрывает логику оригинальной, смелой и потому чрезвычайно спорной концепции Эми Чуа (*Chua A.* World on Fire. L. 2003.). Эта американка китайского происхождения рисует впечатляющую и яркую картину вечного противостояния и непримиримой ненависти бедного большинства и богатых, высокомерных меньшинств, контролирующих рыночную экономику, причем в роли таких меньшинств могут выступать как традиционные «торговые меньшинства» (типа китайцев в Юго-Восточной Азии), так и российские олигархи-евреи. А по мере глобализации — целые государства, например современная Америка (как global market-dominant minority).

[6] *Адольф Шаевич*: чем отличается кошерная водка от некошерной? И чем отличается один главный раввин России от другого главного раввина России? // *Новая газета.* 5.07.2010.

[7] Феномен «торговых меньшинств» был широко распространен в традиционном, доиндустриальном обществе и в переходную эпоху становления рыночных отношений. Он состоял в том, что выполнение торговых, финансово-ростовщических функций и отчасти ремесленных функций было наследственной специализацией некоторых религиозных, кастовых, этнических групп. Такая специализация предопределяла их место в обществе, образ жизни и характер взаимоотношений с обществом и властями (**Дятлов В.И.** Предпринимательские меньшинства: торгаши, чужаки или посланные Богом? Симбиоз, конфликт, интеграция в странах Арабского Востока и Тропической Африки. М., 1996; **Дятлов** В.И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М., 2000.)

[8] *Осипов А.* Краснодарский край: миграция, национализм и региональная риторика // *Кавказские региональные исследования.* 1996., № 1.

[9] Независимая газета. 2.06.1996.

[10] *Цуциев А.А.* Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов // *Дружба народов.* 2005. № 10.

[11] *Цуциев А.А.* Русские и кавказцы...

[12] *Волков В.* Силовое предпринимательство. М., 2002.

[13] *Вяткин А.Р., Космарская Н.П., Панарин С.А.* (ред.). В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. М., 1999. С. 69.

[14] Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации от 14 июля 1994 г. № 22 «Об этническом аспекте освещения в средствах массовой информации причин преступности». // *Российская газета.* 23.07.1994.

[15] О китайских муравейниках писал, например, Александр Герцен. См.: *Герцен А.И*. «Былое и думы»// *Герцен А.И.* Сочинения, Т. 6. Москва, 1967. С. 67.

[16] *Рыбаковский Л., Захарова О., Миндогулов В*. Нелегальная миграция в приграничных районах Дальнего Востока: История, современность, последствия. М., 1994.

[17] Там же. С. 23.

[18] *Сорокин К.* Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996. С. 107.

[19] *Храмчихин А.* Желтое господство: Захват Китаем Сибири — не «страшилка», поскольку другого выхода у него просто нет // *Политический журнал.* 2005. № 27. С. 61—64.

[20] *Куртов А*. Геометрия политики // *Независимая газета — Дипкурьер.* 13.01.2003.; *Петрова В.* Новый продовольственный рынок появится в Иркутске // *Восточно-Сибирская правда.* 9.10.2008.; *Agadjanian V., Nedoluzhko A., Kumskov G.* Eager to Leave? Intentions to Migrate Abroad among Young People in Kirgizstan // *International Migration Review.* 2008. Vol. 42. № 3.

[21] *Садовская Е.* Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: Новые тенденции и перспективы. Алматы, 2001; *Дятлов В., Рязанцев С*. (ред.) Стабильность и конфликт в российском приграничье. Этнополитические процессы в Сибири и на Кавказе. М., 2005.; *Бондаренко А.* Российские казахи объединились в Самаре // *Независимая газета — Регионы.* 25.06.2007; *Ларина Е., Наумова О.* Кош-Агачские казахи-мигранты // *Вестник Евразии.* 2008. № 2.

[22] В рамках формирующейся в Казахстане постколониальной и постимперской историографической традиции данная ситуация осмысляется через идеологему «разделенной нации». Особенно показательны в этом отношении работы Гульнары Мендикуловой (см., напр. *Мендикулова Г.* Казахстанская диаспора: История и современность. — Алматы, 2006), жестко разводящей казахов «диаспоры» (то есть мигрантов и их потомков) и «ирриденты» (казахов, оказавшихся вне современного Казахстана вследствие движения границ).

[23] *Стешин Д.* Есть такая национальность — гастарбайтеры // *Комсомольская правда.* 17.07.2007.

[24] Известия, 6.10.2008.

Георгий Кубатьян

Внесистемная единица

Заметки о книге Мариам Петросян

Попадание в цель

Меня так и подмывало назвать Мариам Петросян и ее «Дом, в котором...» литературной сенсацией. Вовремя спохватился. Литературные сенсации невозможны с той поры, когда литература очутилась на обочине. Выпихнули ее туда либо сама скатилась и что за обочина (как минимум, интеллигентского обихода, как максимум, общественной жизни) — разговор утомительный и сторонний. Ну а сенсация — штука громкая, слух о событии достигает и тех, кто ни сном, ни духом к сфере, где оно произошло, не причастен. «Один день Ивана Денисовича», «Бабий Яр» Евтушенко, «Дети Арбата» — вот это литературные сенсации. Книга же Мариам Петросян и сама писательница не снискали какой-никакой известности даже в Армении. Где-то проскочило несколько строк: ереванка получила, мол, Русскую премию, не более того. Впрочем, о Вардане Айрапетяне с его премией Андрея Белого в Ереване не дали сколько-то лет назад и такой информации.

Между тем дебют писательницы прошел на ура. Во-первых, она привечена профессиональной средой (град отзывов и рецензий в толстых журналах, авторитетных газетах и серьезных интернет-изданиях, и место в шорт-листах двух престижных премий, и победные лавры третьей), а во-вторых — овацией молодежного сообщества, главным образом виртуального, воплотившейся в призе читательских симпатий «Большой книги» и в студенческом Букере. Вдобавок иные пишущие полагают, будто петросяновский «Дом» того гляди станет культовым, иные же без обиняков именуют его таковым. Я, признаться, не в силах уразуметь, чем определяется почетный, должно быть, этот статус, однако не собираюсь отмахиваться. Перед нами веское свидетельство пусть и не популярности (по старозаветным моим представлениям, она выражается другими количественными показателями), но попадания в цель. Или, вернее, в целевую аудиторию.

Так ли, нет ли, «Дом, в котором...» заслуживает, чтоб его не только заметили и похвалили, но и внимательно прочли. Первым долгом имею в виду литературную сторону вопроса; попросту говоря, надо бы присмотреться, как петросяновский «Дом» исполнен. В многочисленных откликах, уже мною помянутых, об этом сказано скупо, что для начального чтения в порядке вещей. Вот если текст изобилует несообразностями, как у букеровской лауреатки Елены Колядиной, их тотчас отчеркивают и — за ушко да на солнышко. Пристально же вглядываться в страницы, на которых мало что царапает ухо и глаз, — интересно ли это? Тут интерес очень специфический, поддакнут нам, и совершенно точно не первоочередной. Ну, так очередь первого-то любопытства минула. Новый писатель уже больше года не покидает разного рода перечней, обойм и, воспользуемся мандельштамовским словцом, упоминательных клавиатур. И, стало быть, испытание временем — естественно, начальное, самое что ни на есть предварительное — выдержано.

Выше помянута целевая аудитория; понятия не имею, кто к этой аудитории в данном случае принадлежит, однако сам я с нею никаким боком не соприкасаюсь. И

в обычных обстоятельствах, прочтя страниц около двухсот, иными словами не докончив и книги первой, «Курильщик» («Дом, в котором...» состоит из трех книг и эпилога), — так вот, в обычных обстоятельствах я бы наверняка захлопнул 960-страничный том. Ясно, что и как, а прочее не столь уж и занятно. Лично для меня, разумеется, не столь уж и занятно, без обобщений. Однако ж обстоятельства — в том и фокус — особенны. В чем их особливость, я растолкую под конец.

История с романом, или Роман с историей

По-моему, все, кто писал о «Доме, в котором...», уверенно называют его романом. Уверенно? Точнее, ничтоже сумняшеся, мельком и вовсе не задумываясь о жанровой природе произведения. В самом деле, толстенная книжища, великое множество персонажей; что ж это, коли не роман? А мне в первую же минуту, как только книга попала в руки, бросилось в глаза, что и на титульном листе, и среди выходных данных указание на жанр отсутствует. Ум услужливо подкидывает два варианта на выбор: оплошность издателей и скромность автора. Первый комментировать излишне, второй же не вовсе беспомощен, убог и смешон. И впрямь. Из-под пера далекой от литературной среды женщины выходит огромная кипа заполненной строка за строкой бумаги. Чем она бумагу заполнила? В иные минуты ей сдается, что получилось очень даже недурно, в иные, наоборот, она в отчаянии, десять лет, а то и больше коту под хвост, ерунда полная. Приспела пора дать имя несуразно крупному этому детищу. Легко сказать. Она ломает голову, в памяти все чаще вертится детский стишок про Джека, который построил дом, и — решено. Расплывчато, конечно, зато многозначительно и вполне соотносится с любым, какой ни выбери, поворотом идеи, замысла, развития событий. Ладно, проехали. Но назвать это рукоделие романом язык у нее не повернется. Романы сочиняют настоящие писатели, не ей чета.

Короче говоря, пометы, разъясняющей жанр, у «Дома» нет. А читателю с рецензентом и горя мало. Роман, и все тут. Относительно «просто» читателя — какой с него спрос, он всегда в своем праве. Зато критику не грех бы вспомнить азы литературной теории. Дефиниций, кратких и пространных, у романа хоть отбавляй, они не обязательно согласуются между собой, но некоторые пункты в них непременны. Произведение, посягающее считаться романом, сложно выстроено, в нем сплетено несколько сюжетных линий, частенько разветвленных, и фигурируют хотя бы два–три хорошо прорисованных, изнутри постигнутых индивидуума. На практике схема не обойдется без отклонений, это понятно, но все же.

Поищите непременные романные характеристики в книге Мариам Петросян. Ее «Дом» отстроен элементарно, никаких архитектурных (архитектонических) усложненностей, куда уж там изыски. Впрочем, один-единственный шаг от линейного повествования налицо. Речь об интермедиях, отбрасывающих его, повествование, в прошлое, к отдаленной предыстории разворачивающихся перед нами перипетий. Помимо того, в эти перипетии вклиниваются временами — по принципу сказка ложь, да в ней намек — вставные новеллы фантастического и фантасмагорического свойства. Добавим сюда разнообразные, выразимся так, артефакты: фрагменты дневников, инструкции, объявления. Боюсь ошибиться, но, кажется, все без изъятия вставки, перебивающие линейное, повторяю, повествование, выделены где шрифтом, отличным от основного, где курсивом.

О сюжете. Собственно, дважды повторив, что повествование линейно, мы зафиксировали, что какие-либо броские сюжетные ходы в книге не применяются. Да и фабула крайне проста — насельники Дома проживают энное количество месяцев, ожидая выпуска. Вот и все. Повествование вбирает в себя цепь эпизодов, увиденных глазами разных рассказчиков. Эпизоды когда связаны между собой причинно-следственно, когда не связаны. Дополнительных, побочных сюжетных линий нет. Именно дополнительных, именно побочных; о двух относительно равноценных линиях, которым предстояло бы в перспективе сплестись, и заикаться не стоит. Экспозиция, завязка, развязка — всех этих предусмотренных теорией элементов романной фабулы тоже не найти. Разве что рискнем отнести к экспозиции — не прямой, а задержан-

ной и разорванной — ряд интермедий. Зато в «Доме» резко выделяется кульминация, которая незамедлительно перетекает в развязку, — взвинченные, нервические пассажи про долгожданный и намеренно скомканный выпуск и последовавшую за ним Ночь Сказок (автор, отмечу, прописные буквы любит, но по счастью не злоупотребляет ими, нарочитыми те кажутся редко).

Теперь об авантюрной или детективной интриге, расцвечивающей, бывает, и самую серьезную прозу. Такой способ «оживляжа», во-первых, принципиально законен, а во-вторых, оказался бы в «Доме» более чем уместен. Убийства, и покушения на убийство, и кровавые сцены, пусть и совершенно по сути не мотивированные, — поводов использовать испытанные приемчики предостаточно. Ну и? Вспоминается Пастернак: «О, пренебрегнутые мои». Петросян уловками пренебрегает, они ей ни к чему. В книге и без того пруд пруди загадок и недомолвок; писательнице претит аккуратная предсказуемость и бесперебойная, везде и в любое мгновенье постижимая логика. Приведу в пример обрывочный, с бору и сосенки, набор упоминаний о Лосе. Набор обрывочных упоминаний — именно так, ибо в сколько-нибудь ясный и внятный рассказ они заведомо не складываются. Воспитатель, обожаемый подопечными, сыграл в судьбе наиболее приметных персонажей книги первостепенную роль. Однажды нас вскользь уведомляют, что в живых его больше нет. Еще, наверное, страниц через сто пятьдесят уточняется, когда и в какой заварухе Лось убит, а кем — этого не ждите. Наконец уже в финале, сызнова вскользь, едва ли не в придаточном предложении, с уст одного из героев срывается: «Лося убили случайно». Все! Какой сюжет упущен и растрачен впустую! Неопытная писательница не совладала с материалом? Э нет. Уж столько-то, не сомневайтесь, она сделать умеет, умеет и побольше. Просто манера, в которой работает Петросян, от века свойственна скорее не романисту, но поэту-лирику. Тот обращается не столько к читателю, сколько к себе и потому не торопится разъяснять очевидные — не читателю, ему самому — вещи. К тому же берется за перо, когда материал изводит его, требует излиться. Вот и Петросян. Она взялась писать оттого, что в ней зрела и созрела потребность выговорить нечто смутное. Позже поняла, что сочинять ей и нравится, и хочется, и, главное, сочинять у нее получается.

Что до хитросплетений сюжета, то в данном конкретном случае — в «Доме» — писательнице они не нужны. Хотя при желании она легко могла бы закрутить интригу. Говорит об этом удачно прочерченная линия, связанная с воспитательницей Крестной. Здесь на тесном пространстве взяты в оборот и скрытный корыстный умысел, и психологический этюд, и как из-под земли появившийся персонаж, и припахивающий мистикой невнятный, а вернее, таинственный финал. И все расчетливо и точно друг к другу прилажено, концы сходятся с концами, никаких неувязок. Иными словами, писательница может, если захочет, и сюжетец изготовить, и читателя завлечь и сбить с толку. То-то и оно, что не захотела.

Ситуация с фабулой и сюжетом отбрасывает свет и на ситуацию с характерами. Персонажей в книге множество, характеров же, полноценных и не загодя заданных, а вылепливаемых в развитии, — ни одного. Между тем изображаются вроде бы подростки, что существенно. Ведь им сам Бог велел не стоять на месте, как изваяние в парке, — развиваться. Но всякий, кто показан однажды крупным планом, уже не меняется. Страница за страницей, эпизод за эпизодом, диалог за диалогом — они добавляют вам и мне знаний о героях, об их прошлом в частности, но количество слагаемых отчего-то не влияет на сумму. Каким он был, таким он и остался; разве хоть одно действующее лицо книги не подпадает под эту песенную формулу? Заметных метаморфоз углядеть нельзя ни в ком. И даже Стервятник — у него, как оказалось, умер брат-близнец, он, это надо же, хранит-оберегает настенные рисунки и вообще совсем не таков, каким изначала кажется, и ко всему прочему Крестная готова сжить его со свету, — даже Стервятник с вереницей внезапных о нем сведений нимало по сути не преображается. Сведения сами по себе, нрав и норов юноши сам по себе. То же касается Сфинкса, некогда бывшего Кузнечиком, и Слепого, и Черного, и Шакала Табаки, и, наконец или в первую очередь, Курильщика.

Странноватая вырисовывается картинка. Ведь она ломает издавна сложившиеся представления о жанре; не корректирует их, осторожненько подправляя, — наот-

машь упраздняет. В сущности, лишь объем книги побуждает учитывать ее по ведомству романа, ничего кроме. Не слишком убедительно. Помните, как Александр Солженицын обозначил «Ивана Денисовича»? Рассказ! А ведь эта вещь по любому своему параметру — каноническая повесть, и, коль скоро мы завели речь об объеме, повесть отнюдь не маленькая. Мощью же содержания (проблематика, глубь охвата, характеры) вполне сошла бы за роман, едва ли бы кто воспротивился. Напротив, в «Доме», не будь он огромен, как Арарат посреди равнины, материала на небольшую повесть. Ольга Славникова хлестко сказала: «Стрекоза, увеличенная до размера собаки». Повестушка, увеличенная до размеров эпопеи, — примерно так определил бы я книгу Мариам Петросян. Однако с непременной оговоркой. В этом уколе нет яда, нет уничижения либо, не приведи Господь, уничтожения — попытки принизить и перечеркнуть; улыбка, да и та не злая. Все, чего мне хочется, — порельефнее выделить свой тезис. Вот он: оснований причислять «Дом, в котором...» к романам нет как нет. А раз уж очевидно, что ни рассказом, ни повестью книгу тоже не назовешь, откажемся от упрямых попыток втиснуть ее в привычную нишу. Мол, или то, или другое, или третье, четвертого не дано. Не дано и не надо.

Сколько помню, Сервантес именовал «Дон Кихота», образцовый по нынешним представлениям роман, историей. Да, теории жанров еще не было, ну и что? Вот и «Дом, в котором...» — история. Просто история, без ученых уточнений и глубокомысленного подтекста.

Ряд волшебных изменений

В разговорах о «Доме» то и дело звучат определения фантастический и фэнтези. Может быть, они чересчур общи, но не вижу резона выбирать из всего спектра фантастического либо фэнтезийного нечто менее широковещательное и более конкретное. Разве что... Сколько я разумею, фэнтези довольно тесно соприкасается с волшебной сказкой — это первое, ну а второе — где фэнтези, там и приключения, стало быть, острый сюжет и вообще все, что приключенческому произведению сопутствует. А Петросян от остроты сюжета далека, от волшебной сказки тоже, хоть и в меньшей мере. Но поскольку я мало что смыслю в этих материях, ибо фэнтези за полным к нему равнодушием не читаю, то распространяться благоразумно не стану. Что меня занимает, это доля фантастики в «Доме» — сколь она велика и сколь важна.

Так вот, фантастического у Петросян относительно немного, но то немногое, что пробивается на поверхность, умудряется править бал и уж, во всяком случае, сразу бросается в глаза. Навскидку вспомнить и перечислить, где в тексте преобладает иррациональное, — задачка не из азбучных. Иррациональное — не вполне житейское и совершенно не житейское, что располагается за гранью разумных истолкований, — то тесто, на котором замешена книга. Птица подолгу, бывает, ковыляет по земле либо сидит на ветке, но взлететь она готова в любую секунду. Вот и фантастическое в «Доме» — подстраивается под обыкновенное, не выказывает себя поминутно, ты думать о нем не думаешь, и вдруг оно ни с того ни с сего взмахивает крыльями. Ткнуть же в него пальцем — это, мол, оно — получается редко. Ну, Лес, куда наведываются Слепой и не он один. Ну, вставные то ли новеллы, то ли сказки, населенные всякой нечистью. Ну, таинственное исчезновение Крестной. Ну, время, пластичное в иные периоды, словно гуттаперча. Но главное здесь — атмосфера, в которой возможно и то, что заведомо невозможно, главное здесь — ощущение, нет, осязание этой возможности. Вообще-то всякая фантастика, научная, совершенно не научная и сказочная, возникает из обоюдного согласия двух сторон, автора с читателем или слушателем, допустить в обыденное запредельное. Диапазон запредельности неохватен — от необузданной выдумки до микроскопического сдвига по фазе...

Есть у Василия Аксенова рассказ «Любителям баскетбола». Семнадцатилетний пацан изнемогает от всеобщего внимания; причина не в том, что он выдающийся игрок, а в его росте — 221 сантиметр. И вот они с центровым другой команды, парнем того же роста и возраста, сбегают от улюлюкающей толпы. Набродившись, они вышли к реке, переплыли на другой берег и очутились в городе, где жители не пялились на

них, оттого что были под стать им высоченными. Мальчишки не успели сполна насладиться пьянящей переменой всего и вся, когда завидели вдалеке гиганта; тот возвышался над толпой, и «по пятам за ним неслись беснующиеся мальчишки». Притча о том, каково быть отличным от окружения, среды; ситуация колеблется на грани реального и нереального. Примерно то же мы видим в другом аксеновском рассказе — «Дикой», где мотив очевидного-невероятного вовсе не спровоцирован, абсолютно не подготовлен и рождается в последнем абзаце; хочешь — верь, не хочешь — не верь.

Что Мариам Петросян удается несомненно, так это создать ауру фантастического. Получается она у нее без сучка и задоринки и вроде бы на пустом месте; миг — и соткалась из воздуха, точно Коровьев в зачине «Мастера и Маргариты». Видимые поползновения «за грань» учащаются ближе к финалу, до поры до времени Петросян удерживает их в узде. В атмосфере «Дома» высвечивается межа, подле которой невероятное выглядит обыденным. И Василий Аксенов — вот уж кто смолоду любил обнаруживать абсурд и чертовщину в стерильной советской действительности! — вспомнился мне неспроста. Ведь и книга Петросян обращена к проблематике, для которой Аксенову понадобился флер элегантно намеченной потусторонности. Правда, ситуация вывернута наизнанку. Герои писателя наделены сверхвозможностями (хотя бы в игре под корзиной), тогда как у писательницы действуют инвалиды, люди, наоборот, «ограниченных возможностей», к слову, того же примерно возраста, что и аксеновские переростки. Но как увечность обитателей Дома, так и неимоверный рост юных баскетболистов обозначают отличие героев от иных-прочих. Это символ, эмблема непохожести. Внешнее — зеркало сущностного. Все проще простого.

Сложность, однако, прячется поблизости. Нет у Мариам Петросян персонажа, чья физическая неполноценность являла бы собой знак особой духовной или, на худой конец, душевной сверхценности. То есть эмблематичностью, символичностью своих персонажей автор не озабочен. Отчего Сфинкс именно что безрук, а Слепой именно что незряч? А Бог весть. Писательнице вроде как и дела нет, уловит или не уловит читатель ореол избранничества, витающий над Домом в целом и над отдельными персонажами книги. Между тем избранные-то нимало не лучше других, это знак скорее несчастья, нежели счастья; Ветхий Завет — известнейший тому пример. И какой же прок извлекает отсюда писательница, в чем ее цель? Аура волшебства, которую мудрено не распознать, она что, так-таки бесцельна? Но не будь этой самой ауры, Дом остался бы всего-навсего домом и не превратился бы в своего рода депо метафор. А нынче критики состязаются, кто наполнит его наиболее важным и глубоким смыслом. Я не преувеличиваю. Как говорится, судите сами. Дом — отражение многих миров, не исключая литературных. Очень хорошо. Дом — это метафора детства. Прекрасно. Дом — экзистенциальная сторона земного бытия посреди чуждой Вселенной. Великолепно. Дом — это мифологизированная модель мира. Блистательно. Дом — обиталище или, может быть, инкубатор сверхчеловеков. Умри, Денис, лучше не скажешь; аукцион окончен.

Отвлекаясь от метафор и возвращаясь к ауре, непременно замечу, что сама по себе та не появится, а создать ее непросто. Для этого потребно мастерство, и Мариам Петросян его выказала. Вообще-то согласитесь, аура донельзя претенциозна, с ней ничего не стоит переборщить, однако же слова более подходящего здесь, пожалуй, не сыскать. Я напомню давнишнюю вещь Андрея Битова «Улетающий Монахов», позже переименованную в «Лес» и ставшую составной частью романа-пунктира. Читая ее впервые в «Звезде», я поразился тому, как описана заурядная вроде бы русская попойка, случившаяся — внимание — в Ташкенте. Было в состоянии заглавного героя что-то диковинное, и вовсе не сразу до меня дошло… Вот именно, то ли тяжесть, то ли легкость, охватившая его, была не столько хмельной, сколько наркотической; между тем об анаше (или чем там он с собутыльниками баловался) никто, раньше всех автор, и не заикнулся. Наркотиков у нас в те поры (середина 70-х) не было и быть не могло, равно как и секса, да и «Роман с кокаином» оставался непрочитанным. И Битов соткал обманную, как платье голого короля, ауру; кажется, раздражающее это словечко не было тогда затаскано, не приелось. Она заставила читателя хотя бы вчуже почувствовать упоительный злой кайф. Изощренный стилист, Битов не подкачал. И Петросян тоже не сплоховала.

Единственное, что по-прежнему требует ясности, — природа фантастики в ее книге. Самодовлеющая ли это стихия, рожденная без умысла и целей, или нечто функциональное — пускай и не продуманное до мелочей, но по крайней мере сознаваемое? Частенько перевешивает у меня первая версия, порой одолевает вторая. Со второй и начну. Сдается, Мариам Петросян, хоть и пробивалась к финалу своей истории на ощупь, отдавала себе отчет, что, как и для чего делает. Экстрасенсорные, мистические, чудесные — называйте как угодно — способности ее героев если не дозированы, то уравновешены. Не всем сестрам по серьгам, но и не так, что кому-то все, кому-то ничего. Македонский, к примеру, лишен увечий, его можно было бы счесть обделенным, учитывая систему ценностей, где быть белой вороной — почти достоинство. Это пусть извращенная, пусть и парадоксальная, но несомненная несправедливость, персонаж-то не проходной. И в порядке компенсации ему даруется сила, которая разом возвышает его в негласной иерархии, — способность убивать напряжением воли.

Принадлежа к разряду паранормальных, эта способность удерживается все-таки писательницей в известных пределах — полет воображения, прихотливая фантазия. Но дальше... Кое-какие герои — чистой воды оборотни, другие, похоже, способны превращаться в драконов. И Рубикон уже позади, фантазия привела к фантастике, та перетекла в фэнтези. В книге, затеянной довольно спокойно, ничего не предвещало, что манера повествования сперва надломится и в излом просочится фантастика, ну а там уж лиха беда начало. Фантастические допущения раз за разом будут усугубляться волшебными, сказочными завихреньями. Нет, они не возобладают окончательно, но... Мне понятно, почему нос коллежского асессора Ковалева разъезжал в коляске и присутствовал на службе в церкви, чего ради мессир Воланд и его присные высадились десантом в Москве, с какой стати полуостров Крым обернулся островом. Фантастика же в «Доме» там и сям представляется самопроизвольной и, как бы половчей выразиться, безбашенной. В ней не видно подоплеки; нет аллюзий, нет иронических сопоставлений, нет авторской, скажем так, интенции. Помимо того, волшебные эффекты незапланированно порождают эффект иного рода — безоглядно перекраивают основу повествовательной ткани, самое ткань. Историю про подростков излагали, судя по всему, взрослому читателю. Сказочные мотивы понуждают изменить адресата. Подросткам о подростках, ибо фэнтези, кто бы что ни говорил, — это специфическое, сугубо подростковое чтение. Но ведь оно, фэнтези, возразят мне, не возобладало. Верно, не возобладало, в итоге получилось непонятно что.

Ну а все-таки? В итоге получилось примерно то же, что и с жанром. Как не поддается дефинициям жанр этой книги, так и манера повествования, мягко говоря, сбивает с панталыку. Поэт издалека заводит речь, это в порядке вещей, и поэта далеко заводит речь. Очень в нашем случае далеко, чересчур. Ухудшает это книгу? Может, и да. На мой-то вкус, ухудшает, и сильно. Кто-то думает иначе. И не в оценках, ей-богу, дело.

Круги на воде

Есть у «Дома, в котором...» особенность из особенностей — условность узловых, изъясняясь по-ученому, концептуальных его пунктов. Абзацем выше мы сказали, что книга — про подростков. И мало того, про подростков-инвалидов. Однако, читая, довольно скоро, задолго до середины повествования, вдруг обнаруживаешь: и возраст героев, и физические их пороки, в сущности, третьестепенны. Добро бы ты не замечал их, увлекшись происходящим. Ан нет, о важнейших и смыслообразующих обстоятельствах и сама писательница вспоминает изредка. Потому как они для нее только средство высказаться, средство построить уединенное, пребывающее на обочине реального мира место действия, которое связано с окружающей жизнью незримыми нитями. Только и сугубо незримыми, затея разглядеть их обречена. «Наружность», иными словами, все, что вне Дома, — предмет постоянных обсуждений и пересудов; это страх, угроза, перспектива, надежда, кошмар, ад и рай. К вящей

нашей досаде страшная, точно жупел, она вечно за кадром, отделенная от нас, отдаленная; так, если помните, Пушкин в пьесе Булгакова «Последние дни» действует исключительно за сценой. Ну а коль скоро место действия как бы параллельно нашим с вами реалиям, то параллельны с ними, в свой черед, и бурлящие в Доме события. С тем же успехом они могли бы бурлить и на необитаемом острове, как у Голдинга в «Повелителе мух», либо на некоей планете, как у Стругацких в «Трудно быть богом».

Итак, обитатели Дома — подростки; повседневное занятие подростка — школа. Но на протяжении десятков и сотен страниц уроки и классы в лучшем случае походя поминаются. Петросяновские школьники думают о чем угодно, только не о том, как выучить историю, как ответить по химии, ну и т.п. «Уроки проходят бесшумно, ничем меня не задевая». На ум поневоле приходит «Святой колодец». Валентин Катаев с усмешкой вспоминал: он дал Бунину на отзыв рассказ, втайне гордясь редкой профессией, какую придумал для своего героя, и был огорошен, когда сердитый Иван Алексеевич принялся пенять ему, мол, я жду не дождусь, когда же ваш расклейщик афиш начнет их расклеивать, а тот и в ус не дует. И что же? Не слишком усердствуя в учебе, наши школьники — не двое-трое, но чуть ли не поголовно — демонстрируют эрудицию, хорошую начитанность, осведомленность и прочие достоинства, столь юным существам обычно не свойственную, по крайней мере в наше время.

Пойдем дальше. Долгое время в Доме царила половая сегрегация; жили там, что называется, девочки налево, мальчики направо. Когда же домостроевские эти порядки рухнули, персонажи Мариам Петросян обошлись без переходного периода; никакой робости, стеснений, будто так отродясь и было, будто выросли в обстановке сексуальной революции. Мальчики, которые направо, и девочки, которые налево, с места в карьер устремились в пучину взрослых отношений. Через месяц-другой среди девочек объявляется как минимум одна особа весьма легкого поведения. Другая девочка, не тушуясь, укладывается на ночь в мужской спальне и голышом, опять же не тушуясь, выглядывает из душевой. В соседней мужской спальне бедлам, ералаш и безалаберщина выражается среди прочего разбросанными по полу презервативами, кажется, б/у. Неподобающая нравственность, естественно, ни при чем; я смиренно напоминаю, что речь-то, с позволения сказать, об отроках и отроковицах.

Или лучше подтвержу заявленный тезис — об условных отроках, условных отроковицах.

Попытаюсь обосновать и смежный тезис — о том, что условна и физическая ущербность персонажей «Дома».

Речь не о том, что в большинстве своем они живут полноценно. Жизнь без оглядки на беду не отрицает ограниченных, изъясняясь политкорректно, возможностей, а свидетельствует о мужестве молодых людей и воле не мириться с обстоятельствами — преодолевать их. Отчего же как-то несподручно восхищаться воспитанниками Дома и возглашать им здравицы? Нам объясняют, будто перед нами люди с тяжелой инвалидностью, но сами-то мы никак этого не видим. Или, вернее, не чувствуем. А чего, собственно, тебе надо, спросите вы. Не знаю. Знаю только, что, сказав А, не худо бы произнести Б. Курильщик, Табаки, Лорд и другие — колясочники (колясники, как аттестует их автор), а почему — неизвестно. Чем увечья разделяют их или роднят между собой, тоже неизвестно Диагноз или медицинская терминология мне не нужны (впрочем, уместное никогда не чужеродно), но конкретика, некая беглая хотя бы подробность — они необходимы (были бы необходимы). Вы процитируете в ответ Арсения Тарковского: «Я не живописец, мне детали / Ни к чему...» Допустим. И тем не менее... Сфинкс лишен рук, однако на зависть дееспособен. И напрашивается не досужий и не циничный вопрос: у него нет рук выше локтя, ниже локтя, по запястья? Вернее, вопрос не напрашивается, а напрашивался бы в любой другой книге. Здесь же система координат изначально не приемлет излишне подробных описаний, отвергает въедливое погружение в психологию (психология тянет за собой подробности, подробность обусловливает тот или иной психологический нюанс). А мы неспроста поминали сказку, сказочную атмосферу. В ней, этой атмосфере, реалистическая деталь отторгается, как донорская почка, поскольку мешает. Я перевел в свое время

собрание сказок Ованеса Туманяна. Сфинкс из «Дома» в иных ситуациях аукается с героиней туманяновской «Безрукой девушки». Ту оклеветали, палач отсек ей руки. Высоко ли — по плечо, по локоть? Это неважно, сказителя подобные безделицы не трогают. Он сказитель, а не бытописатель.

И вновь о возрасте. Герои — дети, больные дети, как говорят о них воспитатели. Нельзя ли точнее? Извольте. «...их выбрасывают (из Дома. — *Г.К.*), когда им исполняется восемнадцать». И в другом месте: «Никому из них нет и восемнадцати». Вопрос исчерпан? Если бы. Курильщик думает о соседней «стае»: «Почти сплошь малолетки не старше семнадцати». Между тем ему самому по логике вещей «нет и восемнадцати». В юности возрастная разница важна до крайности, но кто моложе всего-то на год или полгода, тот малолеткой не воспринимается. Македонскому, к примеру, «скоро шестнадцать», и он для Курильщика ровня. Так сколько же лет Курильщику? Старожил Дома думает о ровеснике: «Он выглядит старше. Исчезли последние следы юношеской пухлости <...> Теперь уже не скажешь, что ему нет двадцати». Двадцати, заметьте, не восемнадцати! Но и это не предел. «Обозвавший меня деткой Шакал Табаки сам выглядел от силы на четырнадцать. Правда, только издали. Вблизи ему можно было дать и тридцать». Ясно, что быть и выглядеть не одно и то же, но не менее ясно, что цифры двоятся, расплываются, будто круги на воде. Лукавые они какие-то. Условные, условней некуда.

Большую, чем лукавая эта цифирь, условность являет собой только Дом. Нет, не здание, хоть и оно, судя по описаниям, таит в себе бездну загадок; его закутки, дальние уголки, заброшенные подвалы, коридоры и коридорчики — все это скорее смахивает на готический замок с привидениями, нежели на строение, возведенное для практических надобностей лет сто тому с небольшим. В этом интернате для особых детей воспитанники пользуются свободой, чья фантастичность затмевает собственно фантастические куски книги. Власть администрации, воспитателей и педагогов или сведена на нет, или ловко маскируется. Дети не ставят взрослых ни во что; Лось и Ральф — исключения, подтверждающие правило. Напротив, авторитет вожаков — это категория бесспорная и весьма прочная. Прочная еще и потому, что под ней, по слову классика, струится кровь. Обильная и всамделишная. Дети беспрестанно курят — и не только сигареты, но и кальян! А пьют не только спиртное, но и наркотики. Все это делается в открытую. У воспитанников имеется собственный бар или клуб, именуемый Кофейником; обслуживание там платное, а взрослые носа туда не кажут. Никто не задается вопросом, откуда у детей, отрезанных — отчасти по собственной воле — от Наружности, все эти сомнительные блага цивилизации, как осуществляются поставки, кто снабжает их деньгами (родители общаются с детьми крайне редко, да и не у всех они есть). Обустроен Дом очень пристойно, в частности, коммунальная сфера здесь хоть куда, для читателя со скудным советским и послесоветским багажом попросту царская; душ и горячая вода в любое время суток, и туалетная бумага, и какие-то кремы, шампуни. Прекрасное медицинское обслуживание, хорошая кормежка. Фантастика, превосходящая фантастичностью любых оборотней и драконов. Опять же — таковы правила игры; не в силах поверить — вольному воля, не читай.

Стало быть, условности выстраиваются перед нами друг за дружкой, как солдаты в строю. Герои книги — подростки, кое-где сущие дети, но... читайте выше. Немощь их и физические их изъяны со счета не сбросишь, однако ж условность есть условность. Место действия «Дома, в котором...» тоже более чем условно: на окраине неназванного города в неназванной стране; за тридевять земель, в тридесятом государстве. Время действия, хоть и с грехом пополам, уточнить можно, но ведь с грехом пополам означает в нашем случае не что иное, как условно. Кругом условности, то есть условия, которые надлежит исполнять. Сеть условий, ограничивающих нас, означает игру. Не потому ли, постигая, как устроена жизнь в Доме, Курильщик удивляется, поскольку распознает игру? Он силится вникнуть в нее, разгадать ее правила и сценарий. Это первое, что приходит ему в голову, — мысль об игре. Проницателен он или нет, уже безразлично. Догадка, поразившая нового воспитанника, довольно быстро и независимо от его умозаключений осеняет и читателя. Собственно, сама книга Петросян — игра. Да, начиная сочинять, любой писатель

увлекает нас игрой, которую ведет, вспомним Пушкина, по законам, им самим над собой установленным. Правда, в «серьезной литературе» игровой характер упрятан довольно глубоко. Толстой сравнил стихи с пляской у плуга, но при подобном ракурсе проза такая же забава, как и поэзия. Просто в одних сочинениях это заметнее, нежели в других. У Мариам Петросян игра, размеченная сводом обязательных условий, очевидна. «Читатель милый, поиграй со мной»; приверженная к эпиграфам, особенно стихотворным, она могла б использовать эту строку Беллы Ахмадулиной как эпиграф к своей книге.

Что есть и чего нет

Первейшее достоинство «Дома, в котором...» — ясный, прозрачный и непринужденный язык. Речь естественна, динамична, диалоги легки в потреблении, фраза по преимуществу коротка.

«Я опять заглянул в чашечку.

— Вообще-то уже не хочу.

— И правильно, — обрадовался Табаки. — Зачем тебе? Вовсе не обязательно, и вообще, с чего это ты вдруг? Выпей лучше кофе. И булочку съешь.

— Нет. Спасибо. — Мне было стыдно. Хотелось побыстрее уехать. — Извините, — сказал я. — Не знал, что это так дорого».

Читать я приступал не без предубежденности. Мне чудилось, автор упростил себе задачу. Раз уж Дом — апатрид, избавленный от какой-никакой географической привязки, и неизвестно, на каком языке герои думают, общаются, пишут, стало быть, они думают и общаются на дистиллированном, абортированном, этаком, извините, «средневерхнелитературном» языке. На поверку ничего подобного. В помине нет обезлички, старательной правильности; живая речь абсолютно живых людей, изобилующая разговорными словечками, оборотами, интонациями. Просторечия вроде ихний и вульгаризмы редки, даже крайне редки, так ведь им указан от ворот поворот условиями, наперед оговоренными писательницей. Герои лишены не только национальности, но и социального происхождения и корней; кто из них кто, городские ли, деревенские ли? Впрочем, относительно социальной прослойки, преобладающей в среде воспитанников и задающей в ней тон, у нас имеется почва для догадок. Ей дают имена, вернее, прозвища персонажей. Здесь за компанию с бесхитростными (Горбач, Рыжая, Волк, Ящик, Фокусник, Зануда) перед нами целая россыпь кличек, обнаруживающих и начитанность (или хотя бы специфическую нахватанность), и склонность к ироническим обобщениям: Гомер, Македонский, Лорд, Мавр, Соломон, бандерлоги. Показательна метаморфоза, пережитая одним из центральных персонажей и запечатленная в его прозвищах. Поначалу, наивного непоседу, мальчонку окрестили Кузнечиком; испытав потрясение и разом облысев, он стал Тутмосиком, а возмужав и заматерев — Сфинксом. Из двух последних прозвищ явственно торчат уши просвещенной интеллигентской породы.

Впрочем, обезличка в книге наблюдается, причем невооруженным глазом. Она касается как авторской речи, так и речи персонажей. Не сочтите странным, я вовсе не корю за нее писательницу. Не знаю, входило ли это в ее замысел, ее, так сказать, условия игры, но что вышло, то вышло, и вышло неплохо. Книга не психологична, движения души того или иного героя прослеживаются скорее случайно, нежели закономерно; коли так, индивидуальная речь — украшение, может, и желательное, но не обязательное. Речевой поток един, и стремнина, боковые течения, притоки, мелкие заводи почти нигде не выделяются. Никто не говорит особенным образом и не повторяет излюбленных своих словечек. И что же? Вот он, случай, когда на нет и суда нет.

А еще в книге ничтожно мало канцелярита, зловредного бича русской словесности. Это понятие ввел в обиход Корней Чуковский. Верней, пытался ввести: бил в набат, остерегал от угрозы, калечащей язык, объяснял, что к чему, демонстрировал уродливые образчики, высмеивал этих уродцев, и все без толку. Не стало Корнея Ивановича — кануло в небытие и придуманное им словцо (компьютер его не знает и

подчеркивает красным), а вот явление, ненавистное К.И., расцвело во всю мощь и без устали ширится.

Как выглядит канцелярит у Мариам Петросян?

«...это потребовало бы уймы усилий по завоеванию его доверия». Чуть ли не рядом: «...полная безнаказанность в данном вопросе позволяет Помпею думать, что он не поперхнувшись пройдет по значительно более крупным костям значительно менее безвредной личности...»

В обеих фразах разговорные уйма и не поперхнувшись очутились по соседству с заскорузлыми канцеляризмами. Силюсь оправдать автора: тот и другой примеры взяты из длинного монолога Шакала Табаки; может статься, сталкивая лбами две несоединимые речевые стихии, писательница добивается комического эффекта? Но вот, извольте, не ернический монолог, к которому мы по другому поводу еще вернемся, но проходной авторский комментарий: «...Шакал читал мощнейшее заклинание по усыплению окружающих». А вот и вовсе реплика персонажа в оживленном диалоге. Диалоге, подчеркну, двух юнцов, не отравленных еще бумаготворчеством миллиона контор, офисов и столоначальников.

«Сфинкс весело хохочет.

— Черный? Не смеши меня, Курильщик! Если он в чем-то и расходится с большинством, так только в вопросе своего статуса».

Снова пример из диалога. Сменяют одна другую нормальные разговорные фразы: «Я был в одеяльной стране... у каждого змеюки есть свой двойник, только намного короче... Есть еще особо продвинутая секта... Но это уж совсем ересь». И вдруг: «Члены этой секты в целях расширения кругозора употребляют запрещенные стимуляторы, так что в настоящее время они почти полностью истреблены».

Канцелярщины в «Доме» мало, на нее, возможно, не стоило б и реагировать. Указываю на мелкие эти огрехи, во-первых, из педагогических соображений, а во-вторых... Угроза, страшившая Чуковского, давно стала бедствием, а к бедствию притерпелись и попросту не замечают. И те среди прочих, от кого совсем этого не ждешь. Марину Палей провозгласили, помнится, «русской принцессой стиля». Думаю, небезосновательно; писать она и впрямь умеет. И тем не менее в ее, скажем, «Ангажементах для Соланж» иной раз натыкаешься на корявые, как полено, чиновничьи пассажи. «...жутко уважаемый профессор, который, кроме порционной выдачи своих заумностей, занимается написанием монографий о постмодернистской музыке», «для меня излишним является присутствие одного и того же человека утром, днем, вечером, ночью...», «эта часть берега является не по-голландски холмистой», «телесная составляющая, разумеется, не является незыблемым показателем...» И даже: «являются только поверхностным проявлением некой глубинной поломки...»

Канцеляризмы, залетевшие в прозу Петросян, могли бы таким же манером оттуда вылететь, если б она когда-нибудь слышала, мол, от словесных сорняков никто не огражден, они таковы-то и таковы с виду, надо тщательно их пропалывать. Ей наверняка не доводилось этого слышать. Ибо, как умильно повторяли все, по-моему, про нее писавшие, прежде Мариам работала в анимационном кино. Умиляться вообще-то нечему, профессия как профессия. Кто-то на первых порах был инженером, кто-то врачом, кто-то служил в армии, теперь вот анимация. Но в одной из статей проскочила замечательная фраза: Петросян не писатель, а художник-мультипликатор. Как то есть не писатель? Человек, выпустивший увесистую книгу, про которую судят и рядят и литераторы и публика? Книгу, потребовавшую не меньше десятка лет работы. «Тот, кто еще не начал, не поэт, а тот, кто начал, тот не начинающий». Петросян-то начала? Понятно, подразумевается, дескать, она не состоит в СП, не окончила ни Литинститута, ни ВЛК, ни филфака и даже не посещала соответствующих секций и кружков; у нее не было наставников, она самоучка. Вот и хорошо; вам это мешает? Интересно другое: почувствовала ли себя Мариам Петросян по ходу работы писательницей, сознательно ли ставила перед собой сугубо профессиональные задачи, зародились ли у нее профессиональные амбиции?

Частокол этих вопросов отдает риторикой, но только на второй из них ответ однозначен: да, несомненно. Некоторые страницы «Дома» суть упражнения по технике письма; их посредством автор убеждает себя в своем умении, в том, что ей тоже

кое-что доступно. К примеру, с первых абзацев книги видно, что Петросян предпочитает короткую фразу, ей нравится рубить предложение, и без того не очень длинное, на мелкие словесные группы, допустим, отделять придаточное от главного не запятой, а точкой. Ничего необычного, манера как манера; «каждый пишет, как он дышит». Со временем эта манера потихоньку сглаживается, фраза чуть удлиняется, мало-помалу пропадает угловатая рубленая «телеграфность», отдаленно смахивающая на хемингуэевскую. Со временем — в самом прямом и буквальном смысле. Книга писалась много лет, и годы делали свое дело, меняли человека, то бишь его стиль. В тексте появились затяжные периоды с обилием однородных сказуемых или дополнений, с двумя-тремя-четырьмя придаточными; такие периоды требуют и долгого дыхания, и мускулистого слова. То и другое развилось, укрепилось. Однако школярским экзерсисом тут и не пахнет.

А сейчас обратимся к монологу Шакала, тому самому, к которому пообещали вернуться. Монолог этот произносился в первой половине первой книги «Дома»; короткая энергичная фраза покуда задавала тон. И что же? Занимая две книжные страницы без малого, весь он уложился в одно предложение. Причем автор укладывала рекордное свое предложение, как вещи в саквояж накануне дальней поездки, — слово к слову подгонялось впритирку, чтобы не зияли зазоры, не хлюпали пустоты, не вылазили наружу невесть откуда хвосты. Сделано это не столь искусно, сколь искусственно, но — сделано. Мало того, соблюден и приличествующий месту декорум, ибо монолог пластается на прокрустовом ложе не с кондачка, во главу угла поставлена логика контекста. Шакалу приказано разъяснить обстановку «в одном предложении»; тот артачится, но деваться некуда.

Конечно, контекст со своей логикой — именно что декорум; авторская охота пуще неволи. Кто бы ни подвигнул Мариам Петросян к эксперименту — Маркес ли в «Осени патриарха», где какая-то фраза растянулась, ежели не вру, страницы на четыре, другой ли нынешний классик, — она сама сочинила внешне безукоризненный для испытания повод и проэкзаменовала себя, протестировала на профпригодность. Вот вам и «не писатель»! Да наивняку-дилетанту такое и во сне не привидится.

Язык до Киева доведет, говорят русские. Сходное армянское присловье звучит в буквальном переводе чуть иначе: расспрашивая, доберешься до Иерусалима. Мариам Петросян никого не расспрашивала, сама торила-протаптывала тропу до конечного пункта. Вряд ли она хорошо представляла, куда движется и чем окончится (должен окончиться) путь. Оттого-то повествование топчется там и сям на месте, а следующие друг за другом эпизоды не придают ему поступательной силы; событийная канва вроде как уплотняется, но брадатый мудрец уныло фиксирует — движенья нет. Его, движенья, вправду не видно. Новые сцены, диалоги и внутренние монологи мало что добавляют к уже сложившейся картине. Сами по себе вовсе не плохие, они теряют энергию, да и смысл. И проза, такая складная, такая славная, таким прозрачным на просвет языком написанная, приобретает обидное свойство — некую жидковатость, что ли. Разреженной этой прозе недостает плотности, густоты, может быть, и вязкости, способной замесить, загустить излишне жидкую субстанцию. Без этого все трудней избавиться от ощущения — затянуто. Но затянутость здесь увертливая, ведь явных-то длиннот в тексте практически нет. Отдельных сцен и тем паче целых главок, подобных «Дню третьему» в «Шакальем восьмидневнике», которые можно было бы безболезненно вымарать, — их по пальцам перечтешь. Эта затянутость имманентна повествованию, растворена в нем.

Что до «Дня третьего», то содержание главки целиком умещено в эпиграфе. К слову сказать, эпиграфы для автора — способ организовать разросшуюся махину. В первой книге они вообще не встречаются. Во второй ими снабжено больше половины главок. И, наконец, в третьей — все без изъятья. Для чего? Рано или поздно ты вернешься к эпиграфу, осмыслишь, как он соотносится с главкой, и поневоле выделишь ее. Текст из-за фактической бессюжетности расползается, как опара, и Петросян осознанно — подчеркнем это — противостоит энтропии.

Как бы то ни было, на вполне благоприятном и просто приятном, однако же не блестящем фоне резко выделяются фрагменты текста, написанные плотно, гибко, пластично и отмеченные подлинно высоким, без экивоков и скидок, уровнем и каче-

ством прозы. Перечислю кое-какие из них. «Исповедь красного дракона»; в книге, не претендующей на психологизм и душевную распахнутость, «Исповедь» исповедальностью как раз и привлекает, а еще — неожиданным умением углубиться в подоплеку, в подкорку. «Призрак»; выделю здесь описательные куски в начале и конце и заключительную реплику, благодаря которой мистика — нечто вилами по воде рисуемое — воспринимается почти что въяве. Ну а раньше всего «В лесу»; Слепой, осязая и обоняя дикую природу, погружается в родную стихию. Берусь утверждать, что главка стоит вровень с изумительным рассказом «Арктур — гончий пес» Юрия Казакова, тоже посвященным незрячему охотнику.

И все равно «Дом, в котором...» очень уязвим для критики (нападок и насмешек он избежал). Это, во-первых, обусловлено непомерным авторским замахом; ограничь себя Петросян и не тащи в первую свою книгу все, что не терпелось выплеснуть из души, ее не попрекали бы нынче раздерганностью, композиционными провалами и прочими грехами, вовсе не надуманными. А во-вторых, опыт, верней, неопытность... У знающего свое ремесло профи не найдешь элементарных нестыковок. Ну, к примеру, сперва Курильщик сообщает, что выкуривает «в течение трех дней одну сигарету». Проходит шесть дней, он попадает в изолятор. Там ему сразу захотелось курить. «На четвертой сигарете спохватился, что слишком много курю». В итоге за два-три часа выкурено — в охотку, а не через не могу — семь сигарет. Или герой «вскочил в панике» и тут же попытался «чем-то занять себя, чтобы не впасть в панику» (вместо «чтобы успокоиться», ведь он уже паникует). Или старик дарит гостям «колесики от разбитых часов. Самым везучим — перо цапли <...> Первое у него просят все, второе не просит никто, потому что о втором подарке никто не знает». И тремя строками ниже: «Шестеренки старичок дарит нехотя, перо слишком редко, а других подарков у него не просят почти никогда». Значит, перо-то все-таки просят?

Устранить ничтожные эти промашки — дело редактора. Но редактор писательнице не пособил. И по тексту привольно разгуливают ляпы: «подкрасться исподволь», «подливая жару в огонь», «лицезрение выпуска» и даже «лицезрение потолка», не говоря уж о «троих девушках» и «Русалка завидует обоим» (подругам). Впрочем, числительные проходят, скорее, по корректорскому ведомству, как и не раз повторенные «бестолку» и «отрощенный ноготь», а вдобавок «поллица», «не при чем», «вглубь комнаты», а еще «перестала их стеснятся», «можно будет отправится», но «ничего особенного не случиться», «это не понадобиться», плюс к тому «не бывает такого, что бы в одной комнате», ну и «как-так?» и «как-будто», зато «один единственный». И в том же духе до бесконечности. Не знаю, что и сказать. Издательство «Livebook/Гаятри» заслуживает искренней признательности — рискнуло взяться за рукопись безвестной армянки и превратило ее в отменную книгу. Но в этой книге, вышедшей в столице России, десятки, может, и сотни опечаток и ошибок, орфографических и пунктуационных, тех самых, за которые некогда в школе маленького вятского поселка Вахруши, где я проучился шесть лет, беспощадно ставили двойки и колы.

Что там дальше?

В начале этих заметок я написал, что в обычных обстоятельствах наверняка бы бросил «Дом, в котором...», не дочитав. Однако ситуация для ереванского литератора прямо-таки экстраординарна. Никогда еще художественный текст автора, родившегося и выросшего в Армении, не становился событием русской литературы, к тому же гулким, отозвавшимся долгим эхом. Открывается ларчик просто. Наша страна — страна мононациональная, в ней безраздельно господствует один язык. Его стихия захлестывает уроженца здешних городов и весей с младенчества. По словам О. Лебёдушкиной («ДН», 2010, № 8), Мариам Петросян выросла в двуязычной среде. Но такой среды в Ереване просто-напросто нет. Если даже с домочадцами ты говоришь преимущественно по-русски, пишешь по-русски и по-русски большей частью читаешь, остаются двор, улица, магазины, маршрутки, метро, почтамт, учреждения, где

ты непроизвольно переходишь на тот язык, что звучит из всех уст и заполняет собою пространство. В былые времена, когда здесь еще функционировали русские школы, в каковой и училась Петросян, дети, как правило, говорили по-русски на уроках, а на переменках — уже по-армянски. Здесь очень даже возможны, хоть и крайне редки, деловые переговоры и дружеские застолья на русском языке, но немыслимо, чтоб они не перемежались армянской речью. Армянская речь постоянно звучит и в русских редакциях, и на кафедрах русского языка. Не всякий выпускник ереванской русской школы скажет: «Его нет дома», «Ты был в отъезде», «Я купил яйца в магазине»; куда чаще вы услышите кальки: «Он не дома», «Ты отсутствовал из города», «Я купил из магазина». Здешний русский язык непредставим без акцента — во всех мыслимых значениях этого слова. «Как я соскучился по чистой русской речи», — вздохнул Александр Кушнер в своей «Армянской тетради». Да, в Ереване выросли два-три первостатейных переводчика (переводчицы) прозы и несколько чрезвычайно квалифицированных литературоведов, пишущих по-русски. Но здешний уроженец, обретающийся здесь и сочиняющий мало-мальски пристойную русскую прозу, равно как и стихи, — такого не бывало. Не бывало? Ну так извольте любить и жаловать. Откуда ни возьмись является прозаик, чье первейшее достоинство — легкий и чистый русский язык, с которым автор обращается не чинясь и по-свойски. Ты берешь пресловутую книгу, скептически просматриваешь — и глазам своим не веришь. И, не веря, доходишь до последней точки. Нет, это ни в какие рамки не лезет и выламывается из устоявшихся, набивших оскомину схем и систем.

Точь-в-точь у замечательного поэта Леонида Григорьяна:

Внесистемная единица,
Позабывшая мать-отца,
Как оборванная страница
Без начала и без конца.
Что там раньше — война, больница?
Что там дальше — любовь, тюрьма?
Внесистемная единица,
Все равно — ты одна, сама.

Мариам Петросян одна и сама, не встраивается ни в какую систему. Выросла и живет в городе, где русские писатели не рождались и не жили. Близко не подходила к писательским организациям. Сочиняла свою книгу, как Бог на душу положил: определить жанр не получается, повествовательная манера ни на что не похожа, герои то ли реальны, то ли сплошь условны, да и автор то мастер, а то неумеха. Но! «Неумелое исполнение встречается с восторгом», — обмолвился Курильщик и как в воду глядел, Мариам Петросян так и встретили. При этом ее место в текущей русской прозе непонятно и непонятно, читала ли она тех, чьи книги сегодня на слуху, с кем ее сопоставляют или ставят обок. (Не менее любопытно, начитана ли она хоть отчасти в сегодняшней, равно и вчерашней, армянской прозе.) К известным литературным направлениям и тем паче группам ее не подверстаешь — она везде чужеродна, чтобы не сказать чужачка. Такова данность. А на полустишие, вынесенное в заголовок, ответа нет. И, может статься, вторая книга Петросян окажется непредсказуемой, как и первая.

Андрей Пустогаров

ВорошиловгрАД, который всегда с тобой

Опубликованный на Украине осенью 2010 года роман Сергея Жадана «Ворошиловград» — его пятая прозаическая книга. До этого были сборники новелл «Биг-Мак» (2003), «Гимн демократической молодежи» (2006), роман «Депеш Мод» (2004) и книга «Anarchy in the Ukr» (2005). Практически все переведено и напечатано на русском.

Начав литературную карьеру со стихов (некоторые из них в одно время даже были включены в школьную программу), Жадан затем стал чередовать выход своих поэтических и прозаических книг. Нетрудно заметить, что у поэзии и прозы Жадана одни и те же герои — это взрослеющие вместе с автором его сверстники, детство и отрочество которых пришлось на поздний советский период, а юность — на эпоху перемен, или, как бы сказали у нас в России, на «лихие девяностые». Обостренно чувствующие в эту нервную, опасную эпоху персонажи — в сочетании с высоким литературным стилем и царапающими реалиями все той же эпохи — позволили стихотворениям Жадана стать заметным явлением в литературной жизни новой Украины. (К предпосылкам успеха надо добавить, конечно, и недюжинный поэтический дар автора, сплавляющий воедино его достаточно синтетическую эстетику.)

Но хватит ли этих ингредиентов, чтобы сварить вкусную прозу? Мне кажется, что нет. Думаю, что это понимает и Жадан. При чтении прозаических произведений Жадана возникает чувство, что автор все время хочет ответить самому себе на вопрос: неужели «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»? О такой «снайперской» особенности своего восприятия жизни Жадан лет десять назад написал в стихотворении donbass independent:

«.....
Воскресания речек, вагонов просветы,
все пропавшие письма, тетради, монеты,
целый город с мороками дел и вещей,
как добыча, застряли в ловушке очей.
.....
После мертвых годов, после желтой стерни
из наследства всего уцелеют одни
накопленья зениц
и они
и не Божии
и не твои».

Но должен же быть в жизни еще какой-то смысл, кроме создания завораживающих картин, которыми являются стихи Жадана и которые в виде лирических отступлений он вставляет в свою прозу. (Во всяком случае, этот «еще-смысл» хочет найти в каждой книге читатель.) «Главное», — поется в цыганском гимне из романа «Ворошиловград», — «помнить о цели, которой тебя наделило провидение, и о людях, которые тебя любят...» (здесь и далее перевод фрагментов текстов Сергея Жадана — мой. — *А.П.)*

Чтобы найти эту цель, Жадан «идет в люди». В предыдущих четырех прозаических книгах это хождение, однако, к появлению нового смысла не привело. Герой оставался созерцателем, стоически наблюдающим за хаотическим блужданием то западноевропейских леваков («Биг-Мак»), то харьковских молодых алкоголиков начала 90-х («Депеш Мод»), то капитанов украинского мелкого и среднего бизнеса нулевых («Гимн демократической молодежи»). Смысл появлялся в

Сергей Жадан. Ворошиловград: Роман. — Харьков: Фолио, 2010.

тех случаях, когда автор писал о взрослении\становлении своего alter ego: рассказ «Порно» из «Биг-Мака» и книга «Anarchy in the Ukr». Возникал он и тогда, когда автор напрямую, без отягощающих «широких картин народной жизни» вел разговор о взаимоотношениях полов: рассказы «Некоторые особенности контрабанды внутренних органов» и «Баллада о Билле и Монике» из «Гимна демократической молодежи». То есть «частный» смысл у автора вполне вырисовывался, а вот с поиском общего, социального пока выходила неудача. Похождения «народных» героев вызывали лишь желание, чтобы эти герои живыми и без тяжелых телесных повреждений выбрались из неприятностей, в которые сами себя загнали. Можно, конечно, было в оправдание этой бессмысленности происходящего сослаться на то, что писатель — лишь зеркало общественных процессов, а на дворе перманентная эпоха «бурь и перемен» и затянувшаяся пора первоначального накопления капитала. Но, как показывает опыт, в истории всегда присутствует некий смысл, и именно писателю не грех прояснить его современникам.

На сей раз в поисках смысла герой Жадана решает погрузиться в экономическую жизнь страны не в качестве стороннего наблюдателя, но непосредственного участника. Можно сказать, возглавить процесс на местном уровне. Старший брат героя, живущий в маленьком городке неподалеку от автотрассы и владеющий там бензоколонкой, вдруг скрывается в неизвестном направлении. В наследство герою — Герману — достается эта бензоколонка, отягощенная как ее сотрудниками, так и неурегулированными отношениями хозяйствующих субъектов — проще говоря, заправку хочет прибрать к рукам местная мафия. Вокруг этой коллизии и вертится сюжет романа. Герой, который к началу описываемых событий живет в крупном городе и зарабатывает на жизнь пером — в качестве то ли политтехнолога, то ли сотрудника рекламного агентства, — решает встать на защиту бизнеса своего брата и работающих в этом бизнесе людей — старых знакомых героя. Этому занятию он и посвящает всю свою романную жизнь. Таким образом, Герман становится символом сопротивления, вокруг которого объединяются остальные положительные герои. Сам он, впрочем, не принимает никаких решений, за исключением следующих:

— не отдавать бизнес в чужие руки,

— самому остаться в родных краях.

В остальном просто реагирует на складывающуюся ситуацию, выполняя, как правило, рекомендации своих сотрудников. (Герой даже решает по случаю форс-мажора вложить в бизнес свои личные сбережения, но их уже присвоили его друзья — коллеги по прежней работе.)

Застолбив свою позицию, герой делит время между бизнес-делами, романами с местными жительницами различных возрастов и фантастическими странствиями по округе. (Заметим, что и романы с местными жительницами выглядят достаточно фантастическими — женщины мирно уживаются друг с другом, не отягощая склоками жизнь героя.) Одна из целей этих странствий (и романтических похождений), говоря по-украински, *дати собі раду* (*разобраться*) со своим прошлым, из которого к герою тянутся «тени, вся моя жизнь, вся моя память». Другая — показать страну, в которой происходит действие. Как-то в интервью Жадан сказал, что живет в фантастической стране. Если попытаться одним словом определить основу этой фантастичности, то, наверное, это будет слово «транзит». Сквозь описанные Жаданом земли прокатываются волны незаконных миграций и контрабанды. Да и весь быт в них — кочевой, непрочный. Оттого так органичны среди украинских степей палатки экзотических азиатских мигрантов и идущие с вооруженной охраной караваны контрабандистов. О цыганах я уже не говорю — они там давно автохтоны. Одна из границ этой фантастической страны (не обязательно северная) напрямую соприкасается с адом. Это туда направляются контрабандные караваны с топливом. (Читатель знает, зачем там топливо.) Этот заграничный край густо населен друзями молодости главного героя. Порой они все вместе приезжают оттуда и, захватив Германа, отправляются в степь на футбольный матч с местными газовиками. Герман не спускается в ад — ад сам идет ему навстречу. И, похоже, это единственное место, где ему по-настоящему хочется очутиться — рядом со своими друзьями, рядом с их и его убийственной молодостью. Как-то примиряет

героя с окружающей земной действительностью лишь то, что она мало отличается от места, где находятся его погибшие друзья. Поэтому столь проницаемы границы в романе Жадана. Собственно, и до ворошиловградского буддиста Жадана было известно, что нирвана и сансара (земная жизнь) тождественны. Но Жадан добавляет: ибо обе они — ад.

Итак, для «частного смысла» героя мы получаем ответ, с которым трудно не согласиться: стоять до конца, защищая своих близких. Даже если, как происходит в романе, в противостоянии один из этих близких прощается с жизнью. Или даже если некоторые твои друзья тебя же и предают. А вот об «общеукраинском» смысле читатель может лишь догадываться. Этот смысл, в принципе, мог бы сложиться из миллионов частных смыслов, таких же, как у Германа. Но задумаемся над вопросом — а что случится, если Герман одержит победу и никто не будет мешать ему и его команде в их бензозаправочном бизнесе? Тогда выяснится, что, с одной стороны, бизнес этот встроен в жизнь захолустного городка, недалеко ушедшую от так называемого «совка», а, с другой стороны, является частью системы транснациональных корпораций. Ведь именно от таких корпораций получает заправка Германа бензин и затем разливает его в баки проезжих дальнобойщиков, которые везут на Украину импортный товар, поставляемый такими же транснациональными корпорациями. (По данным статистики, Украина производит только 10% тех товаров, которые потребляет ее население.) То есть настоящая проблема — сохранить для себя и своих соотечественников возможность осмысленной жизни, не превратившись в клерков, послушно выполняющих исходящую сверху корпоративную волю. (О таком корпоративном житие-бытие Жадан с присущим ему сатирическим талантом написал в новеллах «Баллада о Билле и Монике» и «Красный Элвис».) Иными словами, надо сохранить самостоятельность — экономическую, политическую etc — обеспечив своей стране развитие, а не превращение в источник сырья и дешевой рабочей силы.

Так что зря удивляется главный герой: «Вся эта банковская сволочь, менты, бизнесмены, молодые адвокаты, перспективные политики, аналитики, собственники, блин, капиталисты — почему они ведут себя так, будто их прислали сюда на каникулы? Почему они все за собой выжигают?» Потому и выжигают, что их интересы не связаны с этой страной, и этими же интересами продиктован и способ действий. Схватка Германа с местной мафией — первый, хотя, может быть, поэтому и самый важный этап этого противостояния. Следующие этапы тоже хорошо известны: профсоюзное движение, работающая правовая система, политические свободы, пресловутое гражданское общество... В общем, лиха беда — начало.

Проблема еще и в том, что население описываемого автором края состоит из автономных, не желающих взаимодействовать друг с другом «племен»: это группирующиеся вокруг заправки Герман и его старые друзья, затем местная мафия, а еще «штунды» — цыгане, «перевозчики», «фермеры». (Заметим, что в романе не идет речь о стандартном делении Украины на Запад—Восток. Вероятно, подразумевается, что и «большое» деление навязывается стране местными «хозяевами жизни» в отнюдь не бескорыстных интересах.) Отношения между этими «племенами», как правило, или никакие, или враждебные. Единственный мост с «чужими» — цыганами — налаживают сам Герман и его старший друг Коча. Хотя в основе этого моста и лежат интимные связи наших героев с женщинами цыганского племени, но, так или иначе, именно цыгане приходят Герману на подмогу в физическом столкновении с мафией. Автор отчетливо осознает, что без преодоления «межплеменной» разобщенности ничего добиться нельзя: «Случилось так, что вы живете тут все вместе: и крещеные, и некрещеные, и штунды, и всякие босяки, которые и читать-то толком не умеют. Вы воюете друг с другом, не понимая главного — на самом деле вы не враги друг другу, вы воюете сами с собой. Вас стравливают, заставляют воевать, ослабляя и делая беззащитными». В романе призыв «держаться всем вместе и не пускать чужих на свою землю» (под «чужими» понимаются «хозяева жизни») пока в основном упрямо оборачивается правилом «держаться своих». Но, во всяком случае, вполне прочитывается мысль автора — борьба за свой бизнес делает необходимыми «мосты» между украинс-

кими «племенами», в этом, возможно, один из ее главных смыслов.

Все эти высокие материи герой обсуждает в конце романа с загадочным пресвитером со сложной судьбой, который духовно окормляет местное племя цыган. В конце разговора и романа «пресвитер ... выпрямился, поднял ладони для молитвы и вдруг выдохнул из гортани сине-розовый язык пламени, обдавая всех жаром и сладкой, невыносимо-щемящей радостью». Ну, вы опять догадались, где происходило действие.

У романа, что называется, открытый финал — мы не знаем, выиграет ли Герман до конца этот первый бой, бой с местной мафией. Тем более мы не знаем, что ждет наших героев дальше, в случае этой первой победы. Способна ли эта ворошиловградская команда молодости Германа выстоять и дальше? Верит ли в это сам главный герой? Во всяком случае, главное, что он может сделать, — оставаться вместе с ними там, где они есть.

Что же остается в итоге? Остается нащупанный автором нерв, болевая точка жизни на постсоветском пространстве. Остается стиль Жадана, в котором пафос разбавлен гротескной «прозой жизни»: «Стол накрыли в саду под деревьями. В траве лежали красные яблоки, в листве сновала паутина, было солнечно и ветрено. Священника, как почетного гостя, посадили поближе к молодым, рядом с ним сидел чувак, перевязанный платком; периодически они произносили речи, в которых призывали всех быть внимательными, трудолюбивыми и своевременно заполнять налоговые декларации». Остается «добыча очей»: «Солнце, как могло, прогрело осенние поля, теплый восточный ветер принес запахи дыма и сухой травы, вокруг было пусто и тихо, во все стороны расходились голые черноземы, а за ними краснели сосны. Воздух был соткан из оттенков и запахов, точно это был не воздух, а знамена, что пламенели на солнце и дрожали на октябрьском ветру. И вышиты на этих знаменах были длинные клейкие сосуды паутины и тонкие линии усталых растений, срезанных, сорванных и собранных женскими руками, а еще птицы, что пересекали простор, летели на юг, покидали густой настоянный воздух, плывший прямо по нашим волосам. Вялые осенние насекомые взбирались на эти знамена, сливаясь с красками неба и земли, и пахли эти растрепанные знамена илом и сырым песком, потому что где-то совсем рядом текла река, уносящая в себе листву и скошенные стебли». Или вот покороче: «Дни в начале октября стоят короткие, как карьера футболиста, маслянистое сонце течет над головой, утяжеляя лежащие на земле тени, делая более светлой траву и согревая разбитое сердце асфальта». Остается оставаться там, где ты родился и вырос. Никому, впрочем, не навязывая своего решения.

Евгений Абдуллаев

Полет в себя

В современную поэзию Инга Кузнецова упала прямо с неба.

Очень просто: плыла в воздухе, коснулась земли и выпустила первую книгу — «Сны-синицы» (2002).

Оранжевую (обложка) и удивительную (стихи):

Смотри, смотри: вот ангел речи
перевернулся на крыле.
Он так раним, он так доверчив!
Тихонько плачет в полумгле.
И поднимается навстречу

Инга Кузнецова. Внутреннее зрение: Стихи. — М.: «Воймега», 2010.

другой, плотней и тяжелей.
Он непрозрачней, он покрепче.
Смотри: над нами ангел речи
с блестящей тубою заплечной
и ангел нижний, ангел встречный
с щемящей книгою полей.
Мы крылья складываем в плечи.
Какая тяжесть на земле,
какая боль! Но ангел речи...

«Сны-синицы» были попыткой — почти по платоновскому «Федру» — передать праздник полета, воспоминания о небесных странствиях души до упаковки в тело. Книга была густо населена воздухоплавающими существами: ангелами, синицами, бабочками и даже одним вертолетчиком. В новой книге воздушной стихии меньше. Исчезли ангелы. Синица появляется лишь раз, и то — скрытой отсылкой к первой книге:

Лучше в небе журавль и синица в руке,
а записочки-сны в рюкзаке.
Чертежи-миражи... Не тужи — покажи,
расскажи о небесной тоске.

Появились и заграяли отсутствовавшие прежде вороны:

Город, воронами разворованный,
точно горбушку, упавшую в снег
тающий, дворников яркие робы на
рваном ветру возвращают весне.

Стаи кричат чернотою пронзительной.
Утром проснешься — в новом снегу
двор, будто фильм для медлительных
зрителей,
для замирающих на бегу.

Дважды в одно и то же небо уже не войти. Оно уже не то, воронье: «а небо вязко и землисто». Полет во «Внутреннем зрении» происходит, но — внутри, в себе.

Книги ли переставляешь на полке
иль затыкаешь оконные щелки,
холода утреннего боясь, —
ты неотчетлива и безответна,
точно пилот, что пытается тщетно
с аэропортом выйти на связь.

Ощупью в чудище реактивном
ты пролетаешь над городом дивным,
ныне — безвидным. Там твоя тень
вяло почитывает Платона,
лампочки вкручивает в плафоны
и поливает растенья.

Зная наверное: рейс твой отложен, —
медленно смахивает с обложек
пыль, не рискуя попасть в переплет.
А облака между вами, как лица
в памяти, множатся, и все длится
твой полет.

Внутренний полет, полет, переместившийся из платоновских сфер в гераклитово текучее, но теплое, пыльное, «надышанное» бытие.

Внутри — ключевое слово, явочный пароль книги:

И если ты скажешь: опомнись, вернись,
собери —
иль ты позабыла о ветках, растущих *внутри*?
(*Терпение*)

Внутри меня мох и смолистая древесина.
Земная кора
готова к любым превращеньям, но мы
замечаем
обычно лишь то, что поблизости —
кромку двора
и мертвые вещи, что тайно живут за плечами.
(*Внутреннее зрение*)

Снова Бергман *внутри* черно-белый.
(*Лето, как твой Диоген...*)

Воздушная стихия «Снов-синиц» сменяется подземной, глубоководной:

Плеер, тебя превращающий
в глубоководную рыбу,
вспышки под веками.
Что: лепестки ли, чешуйки в вагоне метро?
Дети скрипичные, падающие в разрывы
памяти. Лица листаешь со скоростью кинопробных кадров. Вот оно, то, что искала:
рыжая девушка,
кажется, глухонемая.
Так же и ты
в хоре подсвеченном плаваешь, не понимая
ни нетерпения рядом стоящего
(«Девушка, может быть, мы познакомимся...» —
губы беззвучно шевелятся),
ни ботичеллиевой
немоты.

(«Я еду в автобусе, защищаюсь от «Радио Шансон" плеером MP-3, скажем, с Бахом, и что-то набрасываю... Автобус идет в зимнее время два часа, в летнее полтора. Там же пробки. Поэтому времени, в общем, достаточно. Обычно так получается: когда автобус идет, возникает какой-то куст набросков, который потом долго дома доводится»,[1] — так Инга Кузнецова однажды описала свой «метод» писания стихов. Хотя, конечно, не стоит особо верить тому, что рассказывают поэты о своей творческой «кухне», и еще меньше — пытаться использовать это для истолкования их стихов...)

Поэт, как Алиса в Зазеркалье, заглядывает за тонкую амальгаму сознания, открывая и удивленно оглядываясь. Постепенно глаза привыкают к потемкам, ухо — к глубоководной тишине.

Голова — черный ящик. И, кажется,
не извлечь
тех, кого я любила. Все то, что когда-то
любила.
Повиликой внутри разрастается зябкая речь.
У нее дефицит хлорофилла.

Завораживающе подробный пейзаж внутреннего сознания в сочетании с раскованностью поэтического письма. Удивительный колеблющийся мир — но внутри «черного ящика». Такой самописец сверхчувствителен, он фиксирует и вычерчивает малейшее колебание чувства, мысли, предощущения. Однако возникает и опасность поэтического солипсизма — что заставляет вспомнить стихи ранней Ахмадулиной, еще «дышащие», но уже замыкающиеся в «отказе от непосредственной отзывчивости», от «мира, где действуют общие для многих людей неизысканные коллизии и страсти» (Ирина Роднянская)[2].

Впрочем, движение к «внутреннемузрению» у Кузнецовой подобно маятнику — взгляд то погружается в «темноту и мерцание точки», то движется обратно, в трехмерную явь, но уже более обостренным:

Прогулки наугад, как гулкое стекло,
как узнаванье незнакомых,
как стрекозы внезапное крыло
в трухе оконных насекомых.
(*Прогулки наугад*)

А там, где лирический накал начинает уже зашкаливать, там, где появляется *Ты*, — там уже исчезает само разделение на «внутреннее» и «внешнее».

Ты говоришь:

«Эта пугающе-липкая мгла,
что ползет от торфяников, в горле и горечь,
и жженье
оставляя,
огромной, бесформенной тварью была:
вырывала прохожих слабеющие растенья
и глотала их.
Как я боялся тебя не найти!
И, стеклянный сосуд-оболочку тебе выдувая
из спасительных слов,
я бежал переулком, и ты
чудом встретилась мне.
Но стекло раскололось, едва я
обнял тебя».

Если бы я...
Если б я только могла
удержать этот сон, этот миг, этот мир
от разрыва и пораженья,
но сама я фигурка в огне, и огонь и зола.
И ни зла ни добра нет уже при таком
приближеньи
к тебе.
Если бы ты...
Но уже никаких
«бы» не построить на узкой полоске у самого
края земли.
И пока это пламя не стихнет,
буду стоять, как трава,
до корней прогорая.

Это предел «внутреннего зрения»: стеклянная оболочка разбивается, сон удержать более невозможно. Что будет дальше, к какой стихии будет сделан следующий шаг? Продолжит ли поэт свой путь с наушниками в ушах, спасаясь от «русского шансона», от царапающего, бормочущего, кричащего свое, мира? Или остановится, замрет перед ним, прогорая до корней?

---

[1] Вечер Инги Кузнецовой в клубе Журнального зала (magazines.russ.ru/km/anons/club/020609/photo1.html)

[2] *Роднянская И.* В чем победа? (*о книге Беллы Ахмадулиной*) // Арион, 2004, № 4. С. 44.

Игорь Панин

Спасительное неумение жить

Много нынче в России разных прозаиков, да мало стоящих. И дело не в кризисе литературы (который, как известно, случается в нашей многострадальной словесности чуть ли не каждое десятилетие; в начале XX века, к примеру, критики тоже вовсю кричали о том, что нет у нас приличных писателей, хотя в то время творили Горький, Бунин, Куприн, Белый), и не в рыночных отношениях, когда автор вынужден со скоростью конвейера выдавать все новые и новые книги, мало заботясь о качестве продукта. И даже не в падении нравов, случившихся под влиянием «тлетворного Запада» (да простят меня славянофилы). На мой взгляд, во многом проблема лежит в развитии компьютерных технологий и Интернета. Я вовсе не хочу уподобляться одному заслуженному прозаику РСФСР, утверждающему, что в Интернете сидит дьявол. Я-то как раз обеими руками за IT (информационные технологии). Но то, что компьютер серьезно упростил труд писателя, — неоспоримый факт. И то, что, упростив этот труд, открыл просторную дорогу халтуре, — тоже.

В прежние времена прозаику приходилось сначала писать черновой вариант. Потом начисто переписывать (или перепечатывать на машинке) текст, который снабжался дополнениями, подвергался сокращениям и т.д. А потом еще нужно было вносить исправления в гранки… Нередко сочинение и издание книги растягивалось на годы. Действительно титаническая работа. Теперь же автору нет нужды столько корпеть над текстом. Сел за компьютер, включил приятную музыку — и вперед. Word исправит ошибки, подскажет, где допущено неправильное словосочетание (хотя зачастую как раз неправильно и подсказывает), выделит нужные куски курсивом, в общем — все условия для создания шедевра. Вот только шедевра ли? Именно эта «скорострельность» вредит многим авторам, кои, при более серьезной отделке произведений, могли бы писать куда глубже и пронзительней, раз за разом «пропалывая» текст, шлифуя его.

Не удивлюсь, если выяснится, что Анастасия Ермакова пишет свои повести и рассказы обыкновенной шариковой ручкой. И лишь потом, когда они приобретают окончательный вид, переносит их в компьютер. Настолько отточены фразы, настолько плотен, насыщен язык, что в его «электронное» происхождение не верится. После выхода «Повестей Белкина» один из знакомых Пушкина поинтересовался у него, кто таков этот Белкин? На что Александр Сергеевич, не моргнув глазом, ответил: «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот этак: просто, коротко и ясно». История эта невольно приходит на память при чтении книги Анастасии Ермаковой, которая не стремится эпатировать читателя и умеет доходчиво и без всякого наносного пафоса излагать свои мысли.

В чем же особенность прозы Ермаковой?

Ответить на этот вопрос достаточно трудно. У нее нет лихо закрученных сюжетов, зубодробительных диалогов, сверххаризматичных героев, обличительного пафоса. Все, на первый взгляд, совсем просто. Однако эта простота дорогого стоит.

В рассказе Василия Шукшина «На кладбище» старушка роняет сакраментальную фразу: «Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют…»

В чем-то с этим рассказом перекликается и «Псевдоним» Анастасии Ермаковой, где молодая женщина сразу же после развода едет на кладбище и беседует среди могил со случайным знакомым — вроде бы ни о чем, но на самом деле о

Анастасия Ермакова. Точка радости: Повести и рассказы. — М.: Молодая гвардия, 2010.

главном, о жизни. Вот это «главное», мерцающее в этом, и не только в этом диалоге, и создает смысловую плотность, этическое напряжение прозы Ермаковой. Беззащитное и обаятельное «неумение жить» — отличительная черта ее героинь. Они не хотят вырывать у судьбы свое счастье, а пытаются нащупать его в самом обыкновенном и неприметном дне, в обыденных и не важных на первый взгляд вещах. Это «неумение» от ранимости, и в нем — своего рода спасение от равнодушия, от банальности мироощущения.

Вообще, основная проблема современной прозы, на мой взгляд, — проблема героя. Если точнее — положительного героя. Немало можно встретить в книгах умных и душевно тонких, но разочарованных, депрессивных, уставших от жизни людей. Гораздо меньше чудаков, почти юродивых, безобидно-беззащитных. И еще меньше *адекватных*, добрых и чутких, духовно сильных. При этом не защищенных броней своей собственной правоты, а таких же растерянных, но не озлобившихся и не утративших способности отзываться на чужую боль, а главное — на радость.

Именно таковы героини повестей Анастасии Ермаковой из книги «Точка радости». В одноименной повести героиня работает психологом в доме престарелых, помогает старикам полноценно жить, а не доживать свой век, пытаясь одновременно справиться и со своей личной драмой — будущий отец не готов к рождению ребенка, которого она ждет. У нее своя собственная теория — жизнь любого человека может измениться в любой момент, если он найдет, отыщет в рутине обыкновенных дней некую точку радости. И здесь даже не важно, утопична эта идея или реальна, важно то, что даже поиск этой самой точки помогает преодолеть ужас, отчаяние, разочарование. «Точка радости — особое душевное состояние, когда тебе хорошо, когда любишь все на свете: человека, с которым разговариваешь, скамейку, на которой сидишь, облака, деревья... Труднее всего сделать так, чтобы это состояние теплилось как можно дольше. Причем необходимо вызвать его в себе именно в настоящем, а не в прошлом. Вы ведь наверняка замечали, что прошлое кажется нам всегда чуть-чуть лучше, чем было на самом деле?.. Так вот — эта самая точка радости может внезапно открыться в самых обыкновенных вещах: во время прогулки, еды, даже во сне...»

Пытаются найти свою мировоззренческую, хоть и хрупкую, опору и герои рассказов. Старуха из рассказа «Пусть живут со мной», похоронив единственного сына, подбирает, одну за одной, бездомных собак, находя для себя, таким образом, смысл дальнейшего существования: есть, кого любить, есть, о ком заботиться. Героиня рассказа «Стойте справа, проходите слева» сидит целыми днями в стеклянном стакане в метро и, чтобы не сойти с ума от своей муторной работы, придумывает любовь к незнакомому пассажиру...

Что роднит всеми забытую старуху Мамаиху из одноименного рассказа, толстую некрасивую Таис, придумавшую себе ироничное прозвище «Стамбульская», и одинокую, обаятельно чудаковатую молодую писательницу из «Инверсии»? Крепкий духовный стержень, помогающий преодолеть разочарование.

Все героини этой книги вызывают симпатию и сочувствие, а после прочтения остается печальное послевкусие. Но не темное и давящее, а катарсическое, просветленное пониманием и приятием.

Если угодно — вот он, положительный герой. Не идеальный, а именно положительный, порядочный — образ, так редко удающийся в искусстве.

Попытайся мы найти литературного родственника героине Ермаковой, то, пожалуй, ближе всего — князь Мышкин: та же обаятельная потусторонность-отрешенность и полноценное здесь-и-сейчас-присутствие. Не равнодушное, а отзывчивое присутствие. Та же трагедия безусловной доброты.

Несмотря на щемящие темы, интонация прозы Анастасии Ермаковой не сентиментальна, скорее наоборот — сдержанна. Эмоционально тугой сплав горечи и надежды. Образ автора, несомненно, близок образу героя, и интонационно, и лексически.

Думается, Анастасии Ермаковой явно по силам сказать в литературе свое, интонационно своеобразное слово. Эмоционально теплое, душевное слово. Способное наполнить, а не опустошить. Сегодняшней прозе так этого не хватает.

Владимир Огнев

На распутье эпох

Мы живем в эпоху безвременья. Долгого перехода к новому устроению человеческого общества. И в этом смысл постоянного ожидания перемен, которые никак не наступают. Нас ошарашивает многоголосый шум противоречивых суждений и рекомендаций, которые мы по очереди опровергаем, как ненадежные.

И совестливый художник, не желающий подстраиваться под модные копии приспособленческих идей, не может сегодня идти по другому пути, нежели честно отразить момент растерянности перед существованием человека в этом незавершенном состоянии общества.

В рабочих тетрадях Твардовского есть прекрасные и, как всегда у него, мужественные строки: «...может статься, что всех честней, превыше честь ничем на свете не казаться, но быть таким, каков ты есть».

Первое качество стихов Надежды Кондаковой именно в этом — в нежелании чем-то казаться, в естественности. В признании горечи непонимания жизни, где царит видимость правды, а не сама правда. В наши дни это уже редкость. Ведь та же в и д и м о с т ь заполонила и сферу искусства.

Предисловие к избранному Надежды Кондаковой написал Лев Аннинский. Прочитав его, я лишний раз убедился, что критик не может не видеть в поэте собственное отражение. Он смотрит в стихи поэта, как в зеркало. И в той или иной степени выражает себя, хотя, в меру своей квалификации, старается говорить за автора, перевоплощаясь в него, отдавая дань максимальной объективности.

Я — не исключение. И сразу хочу заявить, что вряд ли мои взгляды, скажем, на историю России, совпадают со взглядами Кондаковой. Я уж не говорю о религиозности поэта, мне, атеисту, чуждой, а поэтому и не столь затрагивающей чувства.

Однако в этих стихах есть та страстность поиска истины, та несуетность в проблемах общезначимых и важных для всех нас, что вопросы согласия или несогласия с поэтом перекрывает волна сочувствия и симпатии к чему-то более существенному, чем «разночтения», на которые он, не менее, чем я, имеет право.

В этой книге — стихи за 40 лет работы. Пять разделов, по датам написания — от 70-х до наших дней — располагающихся не совсем хронологически. Начальный и последний разделы состоят из стихов, написанных в первое десятилетие нового века. И если говорить о качестве, с начала 80-х — некое смятение в форме, не всегда успешные поиски нового способа выражения, а дальше — уже твердое движение, нарастание зрелости.

Единство, скрепляющий стержень долгого пути — в генеральной теме в р е м е н и как структурного выражения любой темы. Прошла эпоха, когда былое воспринималось как тотально мешающее наступлению нового, которое приветствовалось уже потому, что оно новое. Но ныне новое призрачно, а прошлое — спорно. И герой поэзии Надежды Кондаковой прибегает к весьма оригинальной, но вынужденной формуле: «...прошлое войдет в грядущее и нас оставит в промежутке». А швы — это ведь следы от реальных ран в настоящем, выпавшем из временного потока.

Когда-то Ахматова назвала одну из своих книг «Бег времени». Бегом времени отмечены многие стихи Кондаковой. Именно бегом. «Больше нет на земле...» — одно из ключевых стихотворений этого направления мыслей поэта. Темп ускорения времени диктует строки о забытых понятиях, когда-то имевших смысл. Больше нет «падэспаней», «лобзаний», «ба-

---

Надежда Кондакова. «Московские письма»: Стихотворения. — М.: Молодая гвардия, 2009.

тистов»... «отказов в наследстве»... «священных писаний»... От них остались разве что «иносказания», именно — иные сказания, а новые смыслы старых истин звучат двусмысленно.

В стихотворении «Синий дом» возникает в тумане лет некая юношеская картина надежды на вечную любовь до гроба, выплывает из тумана «паперть вокзала», зовущая к бесприютной судьбе вечно догоняющей время души.

В Москве исчезают площади и скверы, теснятся новые нелепые дома, а старые — сиротливо прижимаются друг к другу, и вскоре «исчезнут»... «как и мы с тобой». Бег продолжается. «Чтоб к прошлому казаться ближе» — а оно тоже все убегает, — и дальше, дальше, к памяти родителей, например, к ним в первую очередь. Или к былой любви, «уходящей во тьму». Еще дальше — «ты не веришь? Я тоже не верю, что зазря в Гефсиманском саду свет сиял за прикрытою дверью. Ты уходишь? Я тоже иду». Уходящая любовь — из того же ряда временных категорий. «Я думаю, в углу, где елочка стояла и тонкую иглу роняла в одеяло, еще остался свет, еще остался трепет...»

А бег, неумолимый бег продолжается. «Семидесятые — глухие, восьмидесятые — слепые и девяностые — лихие... А нынче на дворе — к а к и е? Движение. Вечное движение... Попытка остановиться. Но это, наверно, планеты, слетая с орбит, устремляются в ночь, так болит постоянство...» Вы слышите? Даже тяга к дому «из дома бегущему рьяно» — «тайны утраченный ключ». И даже путь «к неверию и вере» — долог, труден, неостановим — «и по обе двери кровенит».

От выстраданной личностью философии времени — к ее реалиям кровным, историческим. Но все тот же неостановимый бег времени.

Вспомню про мать. Молода и смугла,
глину месила и ведра носила,
ей помогала небесная сила, —
как же иначе она бы могла
выдержать засуху, мор, недород,
карточки, голод, войну, похоронки,
хату родителей с краю, в сторонке,
камни, летящие в их огород...

От памяти нельзя оторваться. Но прошлое только ранит.

Я знаю, что слезы не спрячешь,
без соли они солоны,
когда без взаимности плачешь
в объятьях холодной страны.

Отношения со страной самолюбивые. Но взаимности и не добивается ее герой. Он хочет хотя бы слить воедино понятия «родина» и «страна». И делает опрометчивые выводы, споря, например, с Евг. Евтушенко.

Кондакова не случайно разделяет родовое понятие и понятие временное или географическое. Ее герою неуютно в сегодняшнем «холодном» мире, он не знает другого вместилища своих надежд, кроме мира, уже проверенного фальшивыми надеждами, — мира п р о ш л о г о. Пусть там были и горечь утрат, и несбывшиеся упования, но было то, что мы привыкли именовать просто — ж и з н ь. Жизнь была. Какая-никакая, но достойная в лучших своих проявлениях новых надежд и значит — активных действий. «Теперь мы — и я, и память — идем по второму кругу», — пишет она, хотя, как всегда, честно признается, что «по первому кругу — мало», а «по третьему — может быть, и страшной полной правды. Некоей, возможно, и недостижимой, но втайне желаемой.

Пока же, на поверку, получается, что родина — это то, что было, а страна — это то, что есть. Но жизнь-то не стоит на месте, и то, что вчера было страной, то и завтра останется родиной... И это, казалось бы, спасительное противопоставление родины и страны ни от чего не спасает. Разве что приводит к выпадению в чистую политику, чего наш поэт в принципе избегает. Что-то изнутри ее героя неожиданно рвется к прямому выражению неудержимо и властно. Когда один герой у Кондаковой кричит другому: «Твой дед посадил моего деда...» — я невольно вспоминаю спор Твардовского с Прокофьевым в гостинице «Москва» в номере Расула Гамзатова. Вспыхнувшая там ссора двух поэтов по сути того же корня. «Мой отец погиб, защищая советскую власть!» — кричал Прокофьев. «А мой от нее погиб!» — вскипел Твардовский, хотя оба защищали революцию, ее идеалы. Но поколение Н.Кондаковой настолько удалено от истоков революции, настолько погружено в *последствия* свершившегося в 1917 году, что спор носит принципиально другой характер. Герой ее стихов революцию вос-

принимает только как начало вечной Смуты. И, безусловно, смутное время нынешнее помогает такому прочтению истории.

В чисто поэтическом смысле это находит любопытное подтверждение. Смятение чувств и в то же время желание дойти до сути — вот движущее противоречие в поэзии Надежды Кондаковой. Смятение мешает логике. Логика вырывается из плена метафор, взрывается прямым смыслом, местами мешает органическому развитию сюжета.

Высказывалось мнение, что самолюбие — вот что мешает политическому самоощущению Кондаковой. Я полагаю, что дело проще. Ей мешает отсутствие этого самоощущения. А оно маскируется, почти полуосознанно, — в аполитичность. Вернее в самообман. Отсюда и демонстрируемое ее героями нежелание *выбора,* одинаковое раздражение *левыми* и *правыми* рекомендациями, на которые так щедры иные творцы, в том числе и ее поколения.

Но — и это, пожалуй, важнее — и нежелание идти облегченным путем в поисках истины. «И *те* и *эти* мне противны лица, и *той* и *этой* стыдно суеты. Это (уже душевное) перепутье перенести труднее. Однако нота страданья и нота мужества для поэта едины:

В мир добавили горя и боли,
замесили его на глазах
без муки, без опары, без соли —
на одних человечьих слезах.

Что ж ты встал перед этим замесом,
Что ж ты смотришь трусливо? Бери
мир, что пахнет снаружи железом
и краюхою теплой — внутри.

Что это, если не призыв к тому же долго отторгаемому выбору? Но это иной выбор — жизненной позиции, морального императива, а не тактической позиции. Ведь у мира — два уровня. Суть жизни — «теплая краюха» бытия — внутри, в душе нашей. У кого-то это религия, у кого-то вера в волевое переустройство судьбы человека и человечества.

Герой Кондаковой спорит с самим собой, порой не замечая этого. «Эта странная жажда — до всех докричаться...» Поэт слышит «звездную речь» в ночи, где царит «безмолвие слов». И значит, безмолвие это недолговечно. Жажда будет утолена.

Я мало знаю строк в поэзии, равных этим стремительным, лаконичным в яростном стремлении жить:

...сильная, горячая, живая
горбится на кладбище земля.
Дышит ночь, колышет ветер травы,
Пересмешник вторит соловью!
Эта ночь — всего лишь переправа
от большой любви — к небытию.

Чего стоит только это «горбится» — вздыблено-протестующая! — земля на кладбище — самом неподвижном месте на земле... Масштаб страсти соразмерен здесь масштабу протеста против забвения.

Но чтобы «докричаться до всех» надо дошептаться до собственной души, в которой-то и начало всех начал. В теме этой — «про это» — главная сила Надежды Кондаковой. Ее осторожное, уберег Бог, беспафосное отношение к самому сокровенному чувству рождает проникновенные строки. «Музыканты все-таки играют то, что недоступно никому». Чувство любви — сакрально и труднообъяснимо, но боль реальна и долговечна. «Прошедшее и в горести красиво, особенно — не ставшее судьбой». Ставшее судьбой чаще измеряется не красотой, а вечной боязнью замены красоты обманом, или самообманом — состоянием постоянной угрозы утраты счастья.

Кондакова — поэт, чьи стихи рождают мысль не из слов, а из того ощущения, что «за словами». И потому в ее поэзии так важна «аура», в которой иногда больше содержания, чем в строках, так сказать, прямого смысла.

И тут нельзя не коснуться того периода в творчестве поэта, который Лев Аннинский именует временем, когда «стих сдвигается к авангарду». В избранном — это период 80-х годов, в прежних книгах Кондаковой особенно наглядна эта попытка отойти от привычного курса — в книге «Инкогнито» (2001), в подзаголовке которой значится: стихи прошлого века. На мой взгляд — это и в полном смысле «прошлый век» в форме поэзии. В стихотворении о Сизифе дается хороший намек на то, что миф этот не так однозначен, как нам кажется. Или бессмысленная работа, или неотступная надежда на то, что бессмыслица обернется благодаря упорству новым качеством —

смыслом деяния. Когда автор пишет в другом стихотворении: «смирительной нету рубахи, чтоб размером тебе подошла», мне, например, кажется, что здесь проявляется та непокорность обстоятельствам («законам» жизни), которая сродни упорству Сизифа, или, скажем, Пенелопы, склонившейся над нескончаемым полотном, — чувство гордое, говорящее уже не о растерянности перед безвременьем, а о рождении надежды... Хотя с надеждой у Кондаковой тоже не все гладко: «...в нашей надежде на чудо одна лишь надежда и есть». Чудес не предвидится? Я бы так не сказал.

И почти над пропастью, у края,
я не понимаю, почему
музыканты все-таки играют
то, что недоступно никому.

Музыка возникает из ощущения неопределимости словом твоего состояния. В этом ее соприкосновение с чудом. И поэтому роль поэзии неоценима:

И может быть, само искусство
лишь в том одном заключено,
что в жизни умершее чувство
должно быть в слове рождено.

А это тоже спор с жизнью, как возрождение ее — через искусство. Так мы приходим к выводу, что и на распутье есть нечто волевое в человеке, есть непокорность, воспетая Кондаковой, вопреки растерянности:

Я камни, как язычница, люблю.
Я каждому бы камень подарила:
Вот голубой — тому, кого люблю,
А желтый вот — тому, кого любила.
А черный камень
Я возьму себе:
В нем сок земли,
Чертополоха горечь, —
Та непокорность воле и судьбе,
Которую вовек не переспоришь...

Правда, это стихотворение, когда-то отмеченное Леонидом Мартыновым, относится к началу 70-х. Да и кончается оно многоточием. И слово о «споре» значит немало. Не так все просто с уверенностью.

Но сильнее, убедительнее для меня ощущение эпохи, «судьбы», в которой суждено жить герою Кондаковой. «Подлое» время сменилось «полым». «Полое время» — определение безвременья — точное определение и горькое, женское определение. Такое время не дает плодов.

В такие годы «сам человек — свой неподъемный крест», ибо на него одного, в обход пустотелого общества, ложится нагрузка времени, выбор духовных ориентиров. «Душеприказчик, подорожный куст», выдерживающий все времена года, «стучащий в землю мерзлым кулаком» и вновь зеленеющий по весне, — заставляет вспомнить гениальное цветаевское: «Но если на дороге куст встает, особенно рябина...» Там перехвачено дыхание и стих оборвался на многоточии... Куст «при дороге»... на родину. И здесь у нашего поэта — на родину малую, утраченную «за Уралом». Обе родины — большая и малая — недоступны одинаково. До поры...

Вообще мир поэта всегда неразграничен на свое и общее. Иначе он — не поэт.

Что мне слезы ничьи — мировые?
Что мне ропот души мировой?
Мать с отцом, слава Богу, живые.
Муж еще, слава Богу, живой.
Спит мой сын. На его одеяле
дремлют самые сладкие сны.
...Говорят, так же мальчики спали
лет за пять или шесть до войны.

«Слезы ничьи» рано или поздно отливаются *нашими* слезами. И нет для художника «красивых уютов», как говорил Блок. И гул танков в Праге («Август 1968») отдается в сердце болью, словно давят они брусчатку под твоим окном. И «московские письма», как назвала свой сборник Надежда Кондакова, уйдут по дальним адресам в нашем большом общем мире, даже если поэту досталась доля жить на перепутье Истории. Не его в том вина, не его заслуга. Современник наш Александр Кушнер сказал афористично: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».

Александр Зорин

Плотность культурного слоя

Роман начинается с описания подземного лабиринта древних захоронений, куда опытный археолог проник тайно, рискуя, во-первых, обнаружить свою осведомленность о засекреченном объекте (охраняется государством), а во-вторых — остаться там навсегда, потому как лазы между гробницами труднопроходимы и запутанны.

Это, так сказать, прелюдия к роману Ольги Постниковой «Радуйся!», метафора, которая раскрывается в реальном труднопостижимом мире. Россия XX века, оказавшаяся в яме тоталитарного строя, схожа с тем гнетущим пространством, откуда археолог еле выбрался. Могильная труха, погребальные урны, черепки, эти бессмертные осколки быта, причудливые ходы грабителей, побывавших здесь не раз, средневековые коммуникации — канализационные желобы, по которым когда-то собиралась питьевая влага, а сейчас текут городские нечистоты, — все это археологические реалии, тождественные реалиям нашей действительности.

Настоящее пронизано историческим фоном, наблюдая дикие нравы современников, главный герой, Годовалов, постоянно оглядывается в прошлое. И это не литературный прием, это мышление художника, в данном случае ученого (героя) и поэта (автора романа: напомним, что Ольга Постникова — поэт, автор шести поэтических книг, метафорическое мышление для нее естественный способ постижения мира).

Там, в могильнике, в зловещей тьме, возникло как бы световое пятно на фреске VI века до н.э. — портрет девушки необычной внешности, очень похожей на ту, с которой Годовалова свяжет судьба в настоящей жизни. Мистическое совпадение. Световая линия судьбы, радостная и трагическая, давшая название роману — «Радуйся!».

В центре — любовная история, которая стара, как мир, и вместе с тем первозданна в своей неповторимой личностной ипостаси. Она одновременно и украденная, и завоеванная. Любовь, разрывающая временные узы, и любовь, соединяющая навеки.

Он — бывший фронтовик, узник ГУЛАГа, бежавший из ссылки. Она, Алька, — человек другого поколения, согретая первыми лучами хрущевской «оттепели». Он, придавленный неотступным страхом сильный, мужественный человек, выпрямится по-настоящему только в момент своей смерти, будто высвободится из телесной оболочки.... Она — дитя природы, распахнувшая объятия животворящему свету. Свет и в возлюбленном, и в том ареале культуры, который стоит за ним: в притягательности его любимой Эллады. У него, ученого, скрупулезные знания, которыми он иногда бывает перегружен, у нее — подлинное мироощущение античного космоса. Безгрешный эрос пробуждает ее чувственную натуру, беспробудно спавшую в насильственном супружестве. Жертвенная женственность отзывается в ней. Постникова пишет интимные состояния так же, как античный мастер изобразил бы их в искусстве вазописи, соблюдая меру и такт и безупречность линии.

В 1992 году она издала книжечку стихотворений «Понтийская соль». Это лирическое кредо будущего романа. Таинственное предвестие. И в стихах, и в прозе ее письму свойственна целомудренность выражения, каких бы крайних состояний она ни касалась.

Если детством европейской цивилизации считать Древнюю Грецию, то Алька могла бы быть ее современницей. Она в глазах Годовалова похожа «на сатиессу с аттической вазы», в ней «пропорции

Ольга Постникова. Радуйся! // Роман. — М.: Новый Хронограф, 2010.

скульптур Лисиппа (длинное тело и небольшая голова)». И все же, несмотря на внешнее идеальное подобие классическому образцу, она дитя двадцатого века. Не понимая до конца, что происходит с ней и вокруг, она изранена происходящим. Она скорее похожа на ту, чудом сохранившуюся фреску, как будто искарябанную гвоздем.

Подлинная красота чужда потрошителям склепов — добытчикам античных древностей, включая и так называемых научных сотрудников. Один из них — руководитель археологической экспедиции, муж Альки. Через их руки уходит на черный рынок бо́льшая часть драгоценных вещей, золотых монет. Бандитский антикварный лабаз, где для продажи собраны редчайшие антики, намного превышает музейное хранилище. Невежество музейных сотрудников во главе с профаном-директором — работником идеологического фронта, карьеризм сослуживцев, да и весь НИИ искусствоведения под хищным оком кагэбэшницы Протыкан — все это не может не травмировать чувствительную душу.

Музейное воровство, санкционированное государственной политикой, процветало с конца 20-х годов, тогда иностранным скупщикам, например, «золотые античные серьги продавали, оценивая их по весу металла». Археология и ее преданные служители обречены на бандитский произвол — эта тема в романе выходит за рамки конкретной ситуации, она связана вообще с состоянием культуры в Советской России. Когда-то она, Россия, еще оправится (и оправится ли?) от нанесенных увечий.

Археологи работают с культурным слоем; в воображении поэта он обретает не только метафорическую, но и метаисторическую проекцию. Влюбленные, обнявшись, стоят «среди зеленых холмов, на плато, откуда царь Митридат озирал окрестности, ожидая нашествия». Для автора место их встречи символично и вписано в поток исторического времени. Они стоят «на траве, под которой покоился восьмиметровой толщины культурный слой, вмещающий бронзовые зеркала боспорских красавиц, серебряные монеты римских династий и перержавевшие патроны последней войны… Когда же наступила минута — не насыщения, нет — изнеможения и задыхания и поцелуй прервался, они сразу вместе внезапно услышали восторженную песню кузнечика над кустиками камнеломки, накаты плещущих на берег волн и то шепелявое шуршание гальки, когда радостно трутся друг о друга голыши гравия». Заметим это радостное состояние, пронизывающее живую и неживую природу. В отрешенном сближении влюбленных (намек на голыши гравия) мгновение длится тысячелетия, открывающиеся в разрезе земных пластов. Мгновение любви венчает тысячелетия, одухотворяет их.

Жизнь человека сопровождают сакральные события: Любовь, Деторождение, Смерть. К ним, как к путеводным вершинам устремлены судьбы героев. Растерянность в безжалостном мире, попытка самоубийства, беспомощность любимого и многое другое, что принижает человека, приводит в конце концов к подножию этих вершин. И человек преображается ввиду их сокровенной близости. Тогда-то и прорывается в нем ликующее прозрение — Радуйся!

Кроме античного в романе есть еще один, более поверхностный, культурный слой, а именно — христианский. Вера возродилась в Годовалове, когда он отбывал срок. Вера, которая, однако, не спасла его от болезненной замкнутости, от подозрительности. Вера, по большей части остающаяся на уровне знания. И здесь важный, может быть, ключевой момент взаимоотношений близких людей. У Годовалова есть жена, уже давно немолодая, они познакомились когда-то в военном госпитале. Чувство долга не дает Годовалову расстаться с ней и создать новую семью. Страдают все трое. И будет страдать четвертый, Глеб, — внебрачный ребенок. Здесь болевая точка, коллизия, неразрешимая в границах секулярной этики. Постникова говорит, что «отмена религии, отрицание Бога сделало людей абсолютно беззащитными». Это так. Но Годовалов, как бы Бога обрел, а защиты все равно не получил. Это видно и на сегодняшнем примере новокрещенных христиан. Не многих из них вера делает открытыми и радостными. Обретение веры — долгий, трудный процесс для населения, оскопленного атеизмом. Неразрешимая ситуация типична там, где вера подменяется знанием.

Рассуждения Годовалова, порой спорные, не оставляют читателя равнодуш-

ным. Например, он говорит, что лица соотечественников раньше были другими потому, что взирали на лики икон, сохраняя «свое обличье как образ и подобие Божие». Получается — икона была для них видимым нравственным образцом. Видимость ненадежный пример. Деградация населения — следствие более сложных причин: религиозных и социальных. Трагедия России — в незнании Слова Божия. Об этом предупреждал Лесков. Достоевский вторил ему: «Горе народу без слова Божия». Бердяев писал о духовных корнях трагедии семнадцатого года. Девять веков народ взирал на иконы, в том числе и житийные, и, не зная Евангелия, в одночасье от них отвернулся. И водрузил на их место иконы новоявленных вождей. Кстати, в рассуждениях Годовалова тоже нет евангельской глубины. Это, отчасти, оправдывает его поведение, колеблемый строй его жизни.

Постникова не просто живописует жизнь своих героев, а проживает ее с ними в каждом закоулке и тупике, в прозрениях и потемках наземной нашей реальности. Потому они и втягивают в свою судьбу. С ними общаешься и помимо текста, за текстом, как с близкими людьми, забывая об авторе.

Даниил Чкония

Разбирается сердце на краски

Негромкий поэтический голос Светланы Львовой звучит, тем не менее, вполне отчетливо. Детство и юность в Саратове, дыхание большой реки, широкая география большой страны, приютившая поэтессу в разные времена ее жизни, и, наконец, Калуга, ставшая ей второй малой родиной, определили поэтический характер Львовой, воскликнувшей однажды:

Мне просто во все времена.
Я — времени брошенный зонтик,
что числится в пункте потерь
всегда и теперь.

Я выброшена, как волна
из моря — попробуйте, троньте...
в плечо мне печалился зверь
и хлопала дверь.

Пожалуй, именно это противоречие в самоощущениях — «брошенный зонтик» и «мне просто во все времена» — самое важное в поэтическом характере Светланы Львовой, где никогда нет жесткой статичной определенности, где пережитое и переживаемое спорят друг с другом и дополняют друг друга.

А города, что когда-то кормила с руки
снова, как хищники, узкими смотрят глазами,
точат булатные когти и скалят клыки.

Образ вернется еще не однажды, оправдывая грустноватую интонацию даже в тех стихах, где радость жизни предстает вполне очевидно, но все же

Печаль клюет зерно с руки,
дворцом горит пятиэтажка...
Как сладко пахнут шашлыки
из тела белого барашка.

Метафорическая насыщенность поэтической речи — столь же присущая и не то прозаическим миниатюрам, не то стихотворениям в прозе — автора, несмотря на негромкий голос и приглушенную интонацию, всегда слышима, узнаваема. Осторожность жеста, трепетность высказывания, бережное отношение к

Светлана Львова. «Беспечный сад»: Стихи и немного прозы. — Калуга: Полиграф-Информ, 2010.

чувству и переживанию, желание не навязывать свое мироощущение читателю предполагают читательскую вдумчивость, хранят надежду автора на понимание и сопереживание. Мир, как пространство, мир, как движение времени, может призывно радовать, может огорчать, обнадеживать и угрожать — для Светланы Львовой эти его проявления полны единого ощущения жизненного потока, для нее времена и города — читай: пространство — все про любовь, «про тех, кого разнес по свету ветер».

Вот картинки детства, домашнего тепла, уюта, защищенности, но и здесь уже присутствует чувство некой угрозы, нестабильности, текучести и противоречивости жизни, хрупкости ее состояний. Вот отец усаживается к пианино: «После этого папа безнадежно погружает руки в самую глубину музыки. Убедившись, что клавиш там нет, папа начинает по очереди вытягивать руки из недр пианино. Пианино не хочет выпускать папины руки — тогда он вырывает их и снова бросает в бурлящий океан звуков».

Музыка восхищает, окрыляет детское сознание, дарует чувство безграничного, приваживает, но тревожит, пугает своей мощью: «музыке не жалко никого… ей кажется, она все может. И только я знаю, что на самом-то деле звуков не хватает. И все, что играет папа, — неправда, выдумка. Но он верит — и пусть. Пусть папа еще немного побудет счастливым».

Память детства то и дело проскальзывает в стихах Светланы Львовой, утаивая от нас границу перехода от детских впечатлений к поэтическому мировосприятию взрослого человека, не растерявшего эту способность острого и свежего в*и*дения, а возможно, что этой границы в случае Львовой и не существует. Ставшее банальным от частого повторения «все мы родом из детства» истинности и глубины своей не теряет, потому что в памяти своей мы остаемся там:

Там снятся верблюды и змеи,
а губы значенья имеют,
и солнце висит на дверях.

Деревьев корявы извивы,
и пахнет двудомной крапивой
ребенка счастливое «ах»…

Конечно, Львова — лирик до мозга костей, ее стихотворная речь исповедальна, распахнута, по-хорошему тороплива — нужно выговориться, выплакаться. Но вдруг переключаются регистры, взгляд поэтессы останавливается, задерживается на ком-то или на чем-то, что заставляет видеть и слышать внешний мир, подтверждая одну из ее поэтических деклараций о том, что живет она не только своей болью, но и способна остро переживать чужую. И тогда декларация оказывается полной реального содержания. Тут взгляд на окружающий мир приобретает некоторый эпический характер, повествование становится строже, прозаичней, возникает ирония прямого высказывания, словно бы избавленного от образных ходов и решений, но само сюжетно-повествовательное стихотворение становится сквозным образом, метафорой, передающей человеческую боль, печаль, переживание, жестокость реалий. Стихотворение называется «Евгению», к этому неведомому Евгению и обращено письмо-рассказ:

Привет! У нас все так же, как тогда,
когда уехал ты, не зная броду —
да что теперь… Похожи города…
По телеку вещают про погоду,

Все солнца ждут, как доброго царя.
Пока ты сдуру старишься в столицах,
я с мужем развелась — наверно, зря,
а в остальном все то же. Только лица
как будто бы другие…

Сюжет разворачивается, раскрывая житейскую историю, за которой встает картина жизни:

Ты помнишь Настю Прошину? Зимой
похоронили. Умерла от рака.
Ждала Сережку из Чечни домой…
Не от тебя он — от второго брака…

И дальше рассказчица не меняет интонации, не педалирует, отчего жизнь «с претензией на жизнь» выглядит в своей простой повседневности еще страшнее:

Я постарела. Дочка родила.
Не красится. Читает. Ходит в мини.
Ну вот. Такие тут у нас дела —
Как и во всем провинциальном мире:

Работа, нищета, пустые дни —
Как щи пустые. Ночи душу тянут.
За то, что написала, извини.
Уже светает... Все. Пока. Татьяна.

Можно было бы счесть это пародией на письмо пушкинской Татьяны к Евгению Онегину, но это печальная пародия на сегодняшнюю реальную жизнь, на нынешний день. И так постепенно сквозь лирическое начало Светланы Львовой прорывается ее более широкий, всеохватывающий, взгляд на жизнь. Ей становится тесно в рамках своих внутренних переживаний, ее открытость и распахнутость обретают характер встречного движения души — не только из себя и от своего переживания, но и в себя — от чужой боли, чужого бытия. Свое и чужое становятся общим, единым. Исчезает угроза внутренней, герметичной замкнутости, угроза, которую автор явно ощущает и с которой борется с помощью той же иронии — иронии к собратьям по перу и к самой себе:

Молодые гладкие поэты
о тоске грустили мировой,
хаяли Москву и ждали лета
по своей привычке деловой.

И, хватив по две-по три «Петровской»,
вдруг переругались просто так,
гений иль не гений Исаковский,
а народ дурак иль не дурак...

Расцветали яблони и груши.
А пока орали у стола,
хороша ль — не хороша ль «Катюша»,
Денисенко Светка умерла.

Так же просто, как они ругались,
вроде понарошке, без тоски...
В небе друг на друга натыкались
ангелы, огни и лепестки.

В конце концов автор выходит на большее обобщение, обнажая свое понимание времени, свою позицию: «Мы всегда так брели — и при Сталине, и при Орде».

И все же Светлана — лирик, который может сказать о себе: «Мне давно по силам мое сиротство», может воскликнуть: «Зачем ты меня добываешь... Огонь опалит». И лирическое признание остается главной нотой ее поэтического, ее жизненного пути:

...щебетанье про счастье какой-то печальной
пичуги,
растворенной до трепета в воздухе,
словно в стакане
кто-то звякает ложкой серебряной.
Смотрят лачуги
с маслянистых холмов, как молочные реки
стекая.

От легато моста до судьбы разыграется
детство.
Разбирается сердце на краски и грубые
звуки...
Мне приятен анапест, который звала
анапестом,
чтоб запомнить — тогда, далеко до тебя,
до разлуки.

Светлана Львова родилась в 1951 году в Саратове. В этом году она отмечала бы свой юбилей. Но вот уже шестой год, как ее не стало. Стоит заметить, что последние, калужские, годы ее жизни в творческом отношении были плодотворными и сопровождались признаками удачи: она была частым автором «Дружбы народов», запоминающимися оказались ее теперь уже давние подборки в «Новом мире» и «Волге», за книгу «Elle s'appelle... (Ее имя...)» 2001 года издания Львовой была присуждена областная литературная премия имени М.Цветаевой. Нынешняя книга «Беспечный сад» с подзаголовком «Стихи и немного прозы» — очень поэтической, надо заметить, прозы — только подчеркнула то, что было сказано выше: негромкость поэтической интонации Львовой не делает стихи автора менее слышимыми. Наоборот, голос ее — сквозь суетно грохочущее время — звучит все явственней, достигая нашего слуха.

Александр Сенкевич

Город людей

Возвращение в прошлое — это либо желание сказать ему последнее «спасибо за все и навсегда прощай», либо наивная попытка повернуть время вспять и рассмотреть его через увеличительное стекло «опыта быстротекущей жизни». В книге воспоминаний Любови Турбиной «Огни на воде» присутствует и то, и другое. С большим ударением, впрочем, на ностальгическую грусть по ушедшим детству и юности. Для тех людей в Белоруссии и России, кто знает Любовь Турбину как поэта, эта небольшая по объему книга еще и ключ к темам и образам ее поэзии. Иначе говоря, прозаическая часть книги подготавливает читателя к восприятию стихотворений, помещенных в ее конце. В известном смысле, стихотворное приложение — заключительная главка эмоциональных по тону мемуаров. Интеллектуальная квинтэссенция пережитого. Интонация, с которой ведется повествование, очень личная, почти интимная. Детали размеренного и устойчивого быта прежней жизни, которыми богата эта книга, словно вонзившиеся в кожу занозы, и не дают о себе забывать.

Осмысленный художественный взгляд на происходящее вокруг появился у Любы Турбиной в одиннадцать лет и совпал с переездом ее семьи из Ленинграда в Минск. Можно только позавидовать ее памяти. Она рассказывает о событиях пятидесятых годов так, словно они произошли вчера. В самом деле, люди и события возвращаются Турбиной в наше время из небытия через чувство любви и благодарности к тому, что было давным-давно и составляло смысл ее тогдашней жизни: «Вот вытянулось наконец-то зашлакованное, запрятанное под напластованиями других ощущений первое восприятие Минска — некая пустота воздуха, разряженное пространство, которое можно было бы не спеша заполнять своими свежевозникающими ощущениями и обрывками мыслей». Калейдоскопичность воспоминаний по мере развития повествования исчезает, и они приобретают все более законченную форму и даже монументальный характер. Из «крохоток» постепенно вырастают небольшие новеллы. Чего бы не вытащила из своей памяти Любовь Турбина, она старается убедить нас в том, что самим нам стоит чуть-чуть внимательней присмотреться и увидишь, что мир уникален и прекрасен.

Вообще-то, убеждена она, радоваться надо малому, ибо малое делает душу живой. Вот, например, она восхищается своей случайной находкой в одном из дворов послевоенного Минска — грудам цветных стекляшек, «абсолютно конвертируемой валюте ее детства». Это все, что осталось после войны от великолепных витражей Белорусского театра им. Янки Купалы. Или с восторгом вспоминает сквер в центре Минска с лучшим в городе фонтаном — «мальчиком с лебедем» и «лягушками по ободку бассейна», и все это осеняли старые развесистые клены. Ведь и вправду невозможно забыть место, где зарождалась первая любовь. Или она обращает наше внимание на другое сакральное пространство, где стоит «скамеечка у артистического выхода из Купаловского театра». И эти заповедные территории Минска осваивались Турбиной шаг за шагом, еще с девических лет. Они стали для нее вроде «глотка горячего кофе по утрам, мимолетной лаской отца в детстве, звуком флейты в подземном переходе». И не эти ли ощущения, вызванные счастливыми детством и юностью, в конце концов сделали ее зрение поэтичным и столь цепким на детали? Ничего в жизни не бывает застылым, раз

Любовь Турбина. Огни на воде: Избранное. — Минск: Литература и искусство, 2009.

и навсегда установленным. Ветры истории вторглись и в эти заповедные места. Кое-что, иногда до неузнаваемости, внешне изменили, но оказалось, что не в их силах было выдуть из Любиной памяти веру в соразмерность и устойчивость бытия, которая до сих пор придает ей силы и является стимулом творчества.

Человек с годами обрастает не только вещами, но прежде всего новыми знакомыми. Пословица «с кем поведешься, от того наберешься» как нельзя лучше отражает процесс обретения мудрости или утверждения глупости во взрослеющем человеке. Любовь Турбина происходит из семьи известного академика. Бытовые преимущества, которые предоставляет подобным детям их социальное положение, нередко приводят в конечном итоге к появлению никчемной и амбициозной личности. Это в том случае, когда забота о ребенке, его духовное воспитание передаются няням и боннам. Атмосфера жизни семьи Турбиных, убедительно воссозданная автором книги, настолько располагала к духовному общению, что каждый из ее членов без особых усилий обрастал верными и благородными друзьями и знакомыми. Этим людям в книге Любови Турбиной отведено немало страниц.

Как известно, самые лучшие друзья — книги. Главка «Букинистический магазин» лишний раз доказывает, что и советская интеллигенция сохранила любовь к книге, как и интеллигенция дореволюционная. Как невозможно забыть первую любовь, так же запоминается и первая самостоятельная покупка книги. Для Турбиной такой книгой стал роман «Айвенго» Вальтера Скотта. С некоторой долей иронии она сообщает нам, что эта книга «до сих пор хранится в тайном месте». В советское время собиратели личных библиотек составляли особый союз, своего рода орден. Они обменивались книгами, которые было трудно купить, а также изданиями полузапрещенными или совсем запрещенными. Например, желание достать книги Гумилева, Ахматовой, Мандельштама или Пастернака, не говоря уже об изданиях зарубежных писателей первой волны эмиграции, знакомило совсем разных людей, некоторых из них оставались друзьями по гроб жизни. Таким человеком стал для Любы Турбиной Слава Боровой. Знакомство с ним было для нее «жизнеопределяющим на многие годы». Недаром же его портрет написан автором книги почти в пастельных тонах.

Когда начинается чтение книг запоем, тут же, разумеется, возникает непреодолимая любовь к стихотворчеству, а затем уж и к театру. Пристанище начинающие поэты тогда находили, как правило, в официальных учреждениях вроде Дворца пионеров. Настоящая же свобода самовыражения, как свидетельствует история поэтических объединений того времени, была возможной под крылом какого-нибудь «божьего одуванчика», преданной идее просвещения и высоким духовным идеалам библиотекарши. В Москве такой женщиной была Мария Марковна Шур из библиотеки им. Фурманова, поддержавшая развитие поэтического дара Леонида Губанова, Юрия Кублановского, Саши Соколова и Владимира Алейникова. А в Минске — Инна Евсеевна из библиотеки Дома искусств. Случались в этом городе и события необыкновенные, даже для той поры невозможные. Например, проведение в Доме искусств под эгидой ЦК комсомола встречи со старинным другом Турбиной Костей Азадовским, который читал в течение трех часов лично им найденную и переведенную переписку Цветаевой и Рильке. В соответствии с маразмом того времени за опубликование этой переписки за рубежом он был арестован в Питере и провел год в Магадане. Интересна поэтическая реакция автора книги, девушки из семьи, принадлежавшей к советской элите, на это трагическое событие:

Так вот он — тот прежний, кудрявый, живой,
Его на машине везут грузовой.
Он в кузове едет — под стражей,
И я пробираюсь туда же...

Так начинался обвал советской системы. Тут было дело не в ленинском постулате; «верхи не могут, а низы не хотят», а в том, что повсеместная ложь как та дрянь, которую подсыпают в воруемый цемент, чтобы не обнаруживалось это воровство. А такая эрзац-цементная ос-

нова долго не простоит при любом раскладе сил и при любом социальном строе.

Культурный молодежный круг, существовавший в Минске, очерчен Любовью Турбиной довольно точно и основательно. Не забыты самые заметные творческие лица из театрального и музыкального мира, его составляющие. Это звезда минского Театра оперы и балета Алла Корзенкова, это знаменитый балетмейстер Валентин Елизарьев, по просьбе которого Турбина написала стихотворное либретто к балету Стравинского «Жар-птица» в его постановке. Это композиторы Владимир Грушевский, сочинивший колыбельную и романс на стихи автора книги, а также Галина Горелова, Саша Литвиновский и Дима Явтухович. К музыке у Любови Турбиной особое отношение. Для нее она — магическая сила, эликсир жизни:

> И если не музыка — что же
> Продлит экзистенции миг,
> Раздвинуть пределы поможет,
> И мы не упремся в тупик?

Книга Любови Турбиной о людях, которые, с ее точки зрения, воплощают лицо города, и о городе, который духовно возвышает этих людей. Поэтому так естественно появление в ней главок «Дом над излучиной реки», «Университетская набережная», «Улица Петра Лаврова». Панорама жизни не одного человека, а целого поколения разворачивается на ее страницах. Повествование это, слава богу, еще не закончено, а что нас ожидает впереди — не дано знать никому.

Счастливый случай...

Рубрику ведет Лев Аннинский

Анна Гедымин — это редкий, может, даже редчайший случай в русской поэзии: умение писать в состоянии счастья. Счастливый случай.

Инна Кабыш

Да, собственно, отчего не быть счастью? Москвичка, родившаяся в мирное, либеральное уже, время, когда Великая Отечественная война откатилась за гребень полутора десятилетий, и ни сумы, ни тюрьмы не приготовила судьба детям начавшейся Оттепели, и верховного вождя, главного тирана и ответчика, через год вынесут из Мавзолея ногами вперед, а еще через тридцать лет, дав поэтической душе перешагнуть возраст лермонтовский и дошагать до есенинского, — вынесли из страны ногами вперед и саму повязавшую всех Советскую власть, и за эти первые тридцать лет жизни — разве не счастье было предложено юной пионерке («председателю совета отряда») и, надо думать, истой комсомолке, которая спокойно окончила школу, потом университет...

Из школы — на всю жизнь — воспоминание:

«Ты помнишь? — детство, стриженые ногти. Огромный бант, умолкший третий класс... Горнист, волнуясь, врет на каждой ноте... Так в пионеры принимали нас...»

А семья?

«Мандариновый запах елки, семья и школа...»

А коммунальный ад с соседями?

Почему же «ад»?

«У других если родина — значит, луга, перелески, у меня — коммуналка, Арбат сквозь дыру в занавеске».

Дыра в занавеске так же важна и достоверна, как родная московская улица, видная сквозь эту неустранимую дыру. Как то, что горнист — врет. От счастья.

Дальше: между заветным дипломом журфака и началом литературной работы — требующий тонкой филиграни пальцев опыт работы сборщицей схем на заводе. Эта филигрань из памяти перетекает через кончики пальцев в строки стихов, в сотни публикаций в московской, общероссийской и всесоюзной периодике, в полдюжины стихотворных книг, литературных премий и прочих свидетельств *счастливой судьбы*, иногда и неотличимой от других счастливых литературных судеб, если бы не имя...

...Завораживающее имя, долетевшее к нам из веков литовско-польской старины в виде паспортной фамилии — Гедымин, — за поэтический шарм которой иная служительница Эвтерпы отдала бы полцарства.

Но если пращуры поэтессы Анны носили это имя с честью, подкрепляя честь оружием во времена Ягайлы и Костюшки... а дед ее, едва не сгинувший во времена Ежова и Берии на Беломорканале и мыкавшийся после срока за сто первым километром, все-таки сумел сохранить и передать великое имя по наследству, — то отец Анны, инженер уже послевоенных советских времен, с детства получал от своей любящей мамы то одну фамилию, то другую и, таким образом, делил царство надвое.

В периоды антидворянских гонений, как пишет Анна, он из Гедымина превращался в Хайкина (по матери), а в периоды гонений антисемитских опять делался (по отцу) Гедымином.

В итоге скрупулезного генеалогического исследования Анна Гедымин обнаружила в своих жилах четыре явных крови: литовской — четверть, еврейской — еще четверть, а в другой половине: русской — три восьмых, немецкой — одна восьмая, да еще греческой — за давностью колен почти уже неразличимый процент.

Есть отчего прийти в восторг и пропеть осанну дружбе народов, осчастливевших Анну таким богатством?

А может, напротив, ощутить подземные толчки от того, как бьются неуемные предки в своих могилах?

Интересно, что в стихах Анна Гедымин предков прямо не воспевает. И даже не поминает. Кроме одного известного мне стихотворения:

Будто видела — помню об этом дне:
Говорили: «Красные входят в город».
Это предок мой на гнедом коне
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.
Победитель! Его не задержит лес,
Не сломают ветра, не утопят реки...
Но другой мой предок наперерез
Выходил — остаться в бою навеки...

Наперерез... Кто же из них — навеки — победитель? И каким он будет сниться потомкам? И будет ли в этой горькой встрече — побежденный? И каким его запомнит правнучка?

Два врага погибли — и две строки
Родословная вносит в свои скрижали.
До сих пор сжимаю я кулаки,
Вспомнив предков — чтоб руки не так дрожали.
Я поповская правнучка — и княжна,
На конюшне прапрадед мой был запорот...
Так — о боже! — что чувствовать я должна,
Если снится мне: красные входят в город?..

Так сон этот — счастливый или страшный?

А земля, упокоившая этих посеченных, заколотых, запоротых предков, — покрывает их всех без разбора? И после грозы в самом деле воцаряется мирный пейзаж с ручейком, журчащим в овраге, и жуками, поющими в застывшем от жары воздухе?

Как же мука была велика
Без движения, звона и влаги,
Если вдруг появилась река
В этом старом недобром овраге!

Это — из первой книги. Если не знать, если не настраиваться, не помнить, что за пределами мирного пейзажа «повстречались две равные муки», — так и не почувствуешь отчаяния. Но если знать, помнить, — то в любом пейзаже земля бугрится взрывами боли. И в ранних стихах, и в поздних. И там, где цветут «Каштаны на Калининском». И там, где цветет в земле, пахнущей металлом, шиповник, «прекрасный, точно перед смертью».

И всегда в этом хрупком окоеме висит у Анны Гедымин на первом плане какая-нибудь живая точечка, поющая муха или замерший паучок, что-нибудь мирное, легкое, случайное, бесполезное, чаще всего — шмель. А как-то раз — стрекоза...

Приглядишься — а стрекоза-то черная. И мирная живинка на первом плане, вроде бы умиротворяющая читателя — жизнь продолжается! — лишь оттенят погребенную в глубине этой жизни гибель.

Как с таким наследием примириться?

Примириться нельзя. Но жить, вмещая все это в душу, — нужно. Враг не должен исчезнуть, он не должен перестать быть врагом. Лирическая героиня Анны Гедымин вовсе не призывает *возлюбить* врага (у нее вообще довольно сложные отношения с религиозной доктриной в силу врожденного отвращения к перемене веры, а вера, как можно догадаться, обходилась без бога с пионерско-советских времен). Не любить врага надо, а сохранять — это неизбежность бытия, которая должна осуществляться. «И без недругов жить нельзя, так что бог им помоги» (вот и богу дело нашлось). Во враге, как и в друге, главное — верность предназначению, неуклоняемость от жребия. «Я руки верным людям жму — врагу и другу». И, наконец, образ, вряд ли мыслимый в обычном миропонимании и, я думаю, уникальный именно в лирике Анны Гедымин, — «закадычный враг».

Лейтмотив такого «высокого противления» проходит и через поэзию, и через судьбу Анны. Например, тот факт из семейной истории, что бабушка Белла (Белла Моисеевна Хайкина) в молодости была очень хороша собой (и блестяще воспитана — Высшие Женские курсы!), чем обратила на себя внимание Крупской, которая вознамерилась взять ее в личные секретари. Красавица не только отвергла эту честь, но на всю жизнь сохранила к Крупской неутихавшую *враждебность* — настолько оскорбительна показалась перспектива пойти в услужение.

Еще пример такого раздрая действительности на благотворно враждующие начала. Русский дед Анны Александр Лебедев, сын священника, никогда не скрывавший неприязни к большевикам, естественно, угодил при них в тюрьму. И вот одна из его дочерей отреклась от отца, чем обеспечила себе блестящую карьеру в области медицины. Она основала в Москве Институт Туберкулеза. Спасла этим тысячи людей. Так куда записать ее: в праведницы или в предательницы? В друзья или во враги? Или принять эту неразрешимость как закон бытия?

Еще пример. Бабушка Белла — «из соображений, как ей казалось, безопасности семьи» — уничтожила родословную Гедыминов. Ту самую, которую потом по крупицам собирала Анна.

И эта же бабушка в войну променяла на хлеб хранившуюся в семье уникальную старинную библиотеку. Кто тут прав? Кого судить? Именем чего судить? Логика бьется меж полюсами горя и гордости, голода и просвещенного достоинства, и не находит выхода. Поэзия — в самой безвыходности находит смысл и видит выход, не поддающийся логике.

Горькая дань просвещенному веку
(Спятил он, что ли?
Оглох и ослеп?):
Всю уникальную библиотеку
Бабка в войну обменяла на хлеб.
Хлеб тот промерзший детишки понуро
Отогревали, в ладони дыша...
Не оттого ли,
литература,
Перед тобой замирает душа?..

Душа замирает, отдавая горькую дань оглохшему и ослепшему веку. То ли он враг тебе, этот век, то ли друг... Век просвещенный и безжалостный.

Это взаимосцепление счастливой связи и фатальной вражды окрашивает уникальной интонацией и любовную лирику Анны Гедымин.

«Мы выбрали вражду двух любящих людей».

Если счастье взаимности, то оно пресекается разрывом. Если разрыв, то он-то и таит в себе счастье. Логике тут делать нечего. Для поэзии — самый счастливый шанс: сопрячь несопрягаемое.

«И она любила его даже больше, чем он ее не любил».

Вместе плохо, врозь — еще хуже, но врозь — все-таки лучше, чем снова вместе, потому что снова вместе плохо... Выходит, в любви осуществляется закон. Какой? Закон потери. «Ты дорог мне как главная потеря из выстраданных мной когда-нибудь».

Любовь похожа на гибель — именно гибель возвращает любви осязаемость.

«И так мне холодно с тобой, так больно! — почти как без тебя».

Что больней? Что радостней? Что сильней?

«Ты мне нужен сильней, чем другим не нужен».

Уравнение неуравнимостей...

И наконец:

«Так чему ты рад, обреченный мой? Так за что ты благодаришь?»

Благодарить есть за что. Все-таки впервые на протяжении гибельного века входит в жизнь поколение, не прибитое военным временем, не обломанное лагерным режимом, не обкарнанное в выражении чувств ни цензурой нравов, ни цензурой слов. Под мутноватым титулом Перестройки осуществляется, наконец, время, которое чаялось под всяческими хомутами и плахами. Реализуются мечты задавленных и полузадавленных прадедов, дедов, отцов... И можно уже, кажется, задать детям и внукам сакраментальный вопрос:

— Ну, так вы наконец счастливы?

Ах, что-то мешает ответить... То ли спазм души, то ли облака в воде, то ли жужжит что-то...

«И озеро в пятнышках облаков, и шмель над зацветшей сливой — «Кто таков, — спрашивают у меня, — да кто он таков, чтоб сделать тебя счастливой?»

Нет, все-таки я спрашиваю: счастье есть? Или нет?

Ах, вопрос сам собой переворачивается от какого-то внутреннего заклятья:

«Придавили сердце мое, словно льдиной, на душе ощущается недород... Счастье в том, говорят, чтобы быть любимой, а выходит — наоборот».

А если это «наоборот» еще раз повернуть наоборот — будет, наконец, счастье?

Ах, рецепта хочется? Попробуйте сами:

«Счастье близкое такое, да осеннее, увы... Может, хватит на жаркое с горьким привкусом листвы...»

Так чего все-таки не хватает? Все вроде есть...

Ах, все?!

«На душе — покой и прохлада, За окном — умеренный свет. Вот и все, что для жизни надо... А для счастья — лишь смерти нет».

Кого же это мы ей напоминаем, с этими допросами о счастье, — мы, дети войн и революций, баррикад и переворотов, химер, миражей и счастливых иллюзий?

«А то собираются вместе, прикрывая злобу — участьем, и начинают судить нас, об истине зная немного: мол, наше счастье — это, в общем, несчастье, и мы поплатимся, а они, возможно, помогут».

Мы — поплатимся? Возможно... А вы? Счастливый случай: поколение, которое ни за что не поплатилось. Вопреки истории. Вопреки общему ее опыту. Вопреки всему, чего следовало ожидать.

В Новом веке (Тысячелетии) прочувствовано и записано:

Спасибо, судьба, за нежданную милость —
Что счастье ко мне так рвалось и ломилось,
Так жадно меня умоляло о встрече,
Что я наконец-то устала перечить.

Как будто очистилась жизнь от коросты,
Как будто сбылись новогодние тосты
И бродит душа по расцветшему раю...
Я знаю теперь, что я многое знаю!

Я знаю, что прошлое было кошмаром,
Что счастье дается случайно и даром —
И лучшим, и худшим, и средней руки,
Всему, что твердили мне, вопреки.

Будьте счастливы — вопреки!

Вдруг случай не повторится?

Summary

TIRKISH JUMAGELDIEV. Energy of Fear, or Yellow Cat's Head.

This novel might become a no less bomb for Turkmenian literature then Solgenitsin's «One Day of Ivan Denisovich» used to be for the Soviet literature. Though nobody knows when it may be published in the author's Motherland. The pride of Turkmenian literature, one of the glorious pleiad of the sixties, Tirkish Jumageldiev had been writing this secret novel taking much more risks than its protagonist — dramatic actor once well-known in his republic Abdullah Nuriev.

RAVIL BUKHARAEV. Lyrical Poems.

Lyrical poems by Ravil Bukharaev often present a road. For example from Tbilisi, from luxurious gardens of Sololaki at dawn till Altai's taiga. There, in a poor ayil (village), under Gerasim and Rosa's roof, where the mundane is blending with the heavenly, where the crater of the sun is situated, the poet begins to see clearly his path to celestial heights.

VLADIMIR DEGOEV. North Caucasus: Historical Essays. Exposition.

Knowledge of History is not a universal instrument for deciding today's problems but it is highly useful for comprehending them. That is why «DN» opens the new rubric «Useful History» in which intends some times a year to publish historical essays designed to fill in the blanks of our historical knowledge and to help us more thoroughly to judge about today's situation. We begin with the theme very painful for our country — North Caucasus. It will be carried on by professor Vladimir Degoev, the author of many books on history and the present day of Caucasus, Head of the Center of Caucasian problems and our regular author.

GENNADIY RUSAKOV. My Friend Sayid.

The well-known poet, our regular author Gennadiy Rusakov instead of poems presents here a moving memoir about his all life friend, an outstanding Ingush poet and honest, decent, kind man Sayid Chahkiev. Though there are poems too: the essay includes verses by S. Chahkiev in G. Rusakov's translations.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 21.02.11. Подписано в печать 21.03.11. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2500 экз. Заказ 1017. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. http://www.redstarph.ru

— Мы сами понять не можем, — сказала Сельби. — Ты смотрел новости, я была на кухне, Айдым еще где-то. Вхожу, смотрю — ты уже спишь! Удивилась: с чего бы это? Вроде трезвый, запаха от тебя не было, когда домой пришел. Значит, просто сморило. Думаю, ладно. Только час проходит, другой, а ты не шевельнешься даже. Я забеспокоилась, стала прислушиваться. Дышишь вроде бы, как обычно, цвет лица тоже вроде бы нормальный. Но спишь и спишь!

— Надо было шлепнуть по щеке, тут же вскочил бы! — попробовал посмеяться Абдулла. — Ты же знаешь, что не терплю, когда за лицо трогают!

— Папа, мама твое лицо чуть в барабан не превратила! — вмешалась в разговор Айдым.

То ли ей действительно было смешно, то ли пыталась поддержать отца, перевести ситуацию в несерьезное русло.

— Хватит вам! — не приняла их шуток Сельби. — Полотенце холодной водой намочила, стала лоб протирать, на грудь тебе положила, водой в лицо брызгала... Даже ресница не дрогнула. Тут я испугалась! Нормальный сон не может быть таким!

— Видать, заразился от огузских беков, ведь я исполнял роль Гюн-хана. Говорят, огузские ханы спали как мертвецы и сон они называли малой смертью. Ну вот, я в роль и вошел... Хотя бы во сне стал как настоящий хан.

Айдым засмеялась.

— Так до часа ночи продолжалось, — словно не заметила их шуток Сельби. — Делать нечего, побежала к Мыллы...

Мыллы, врач-инфекционист, живет в соседнем подъезде.

— Так он же специалист по всякой заразе, а не по снам!

— Папа, ты же сам же говоришь, что заразился от огузов. Если заразился — значит, инфекция!

— Хватит хихикать! Вы что, не понимаете?!

От злости в глазах Сельби появились слезы.

— Не ругайся, — примирительно сказал Абдулла. — Все я понимаю. Так мы страх пытаемся прогнать. Верно дочка?

Айдым кивнула, но видно было — на всякий случай. Она, похоже, действительно не считала, что случилось что-то серьезное.

— Рассказывай, — обратился к жене Абдулла, слегка нахмурившись. Чем дальше, тем меньше оставалось поводов для шуток.

— И Мыллы ничего не смог сделать. И так, и сяк. Руки массировал, в ноздри пускал сигаретный дым. Говорил, что ты должен отреагировать, как человек некурящий. А ты лежишь, не шевельнешься. Слава аллаху, дышишь хорошо. А то б не знаю, что со мной было... Потом Мыллы начал меня расспрашивать о всяких ужасах. Спрашивал: не пытался ли ты покончить жизнь самоубийством? Были у тебя в роду эпилептики? И еще какие-то разные болезни перечислял, я их названия на бумажке написала...

Сельби вытащила из кармана халата лист бумаги и стала читать почему-то по складам. Как будто старалась придать дополнительное значение словам:

— Нар-ко-леп-сия... Эн-це-фа-лит... Он сказал, что от них человек может впасть в летаргический сон. Еще он спрашивал, в молодости не было ли у тебя повреждения черепной коробки, ушиба мозга. «Может, в детстве с ишака или с арбы упал?» Я сказала, что не знаю, ты ничего такого не рассказывал. Тогда он стал спрашивать, что ты ел...

Абдулла засмеялся.

— Надо было клизму ставить, сразу бы проснулся!

— Сказал, что не похоже на отравление. Целый час просидел. Считал пульс, измерял давление, слушал сердце. Говорит: «Никакой патологии». И удивлялся, что не может разбудить. Наконец сказал: «Подождем до утра, а потом будем вызывать скорую помощь».

— Слава богу, проснулся.

— А если еще раз повторится? Ведь раньше такого не было? Или было? До меня еще?

— Клянусь, не было. Чтоб мне никогда не уснуть! — засмеялся Абдулла.

— И шуточки у тебя дурацкие, — сказала Сельби. — Чаю тебе приготовить?

— Знаешь, я от твоего рассказа тоже переволновался, — признался Абдуллла. — Наверно, надо полежать немного, упокоиться.

— Ну и правильно, полежи. А я посижу рядом.

— Не надо, а? — попросил Абдулла. — А то я действительно почувствую себя больным.

Сельби ушла, в душе протестуя, но понимая, что мужу надо побыть одному. Абдулла вытянулся на диване и закрыл глаза.

Молодая женщина сидела, прижавшись спиной к большому пестрому камню, закрыв лицо и плечи бархатной накидкой. Плечи под накидкой тряслись — женщина плакала беззвучно.

Абдулла стоял, склонившись над ней, не зная, что делать и что говорить.

Холм, на вершине которого он оказался, возле пестрого камня и плачущей женщины, был красный. Ни единой зеленой травинки, ни деревца — только красная земля. И долина, открывавшаяся взору Абдуллы с вершины холма, тоже красная. Лишь камень — ослепительно пестрый. Его можно было назвать белым, лишь по бокам — черные пятна, которые только оттеняли его белизну, делали его ослепительно белым или ослепительно пестрым.

На красной земле, на вершине красного холма, у бело-пестрого камня плакала молодая женщина, вызывая у Абдуллы лишь один вопрос: как она сюда попала? Он протянул руку, чтобы приподнять накидку, но она в этот момент резко взлетела, и в лицо Абдулле ударили горячие слова: «Пришел убить меня, окаянный?! Будь ты проклят!»

И сразу же бархатное покрывало опустилось, тело женщины сжалось в комок.

Лица ее Абдулла не разглядел. Но как ни краток миг, успел увидеть белый шрам на брови, вызвавший отчетливые воспоминания о днях молодости. Была весна, они ездили на пикники за город, на зеленые холмы, покрытые красными и синими цветами. Его приятель, работавший в редакции республиканского радио, был со своей девушкой. А поскольку туркменская девушка никогда не останется один на один с парнем, тем более на пикнике, само собой предполагающем городские вольности, то она взяла с собой подругу. Ее-то и должен был развлекать, а точнее — отвлекать Абдулла. Имя ее, конечно, забыл, да и лица не помнил. Но отчетливо всплывал в памяти маленький белый шрам на брови. «Кто это тебе бровь рассек?» — спросил он и даже руку протянул, чтобы потрогать. Но девушка отпрянула, словно зверек испуганный, и крикнула: «Убери руки!» Сразу видно, что деревенская. Девушки из аулов, приехав на учебу или на работу в город, живут в постоянной опаске, что каждый прохожий желает покуситься на их честь. Однако девушка о другом думала. «Это не шрам, а печать, которой наделил меня Всевышний», — сказала она. Что он ей ответил, Абдулла забыл. Наверно, пошутил, не мог же он всерьез принять такие слова? Но отчетливо помнил, что стояли на том же холме, где плачет сейчас молодая женщина в бархатной накидке, со шрамом на брови. Только холм и долина вокруг тогда были изумрудно зелеными, ласковыми, в ярких цветах, а сейчас — красные, как пески пустыни под закатным багровым солнцем. Сознание корябала смутная, неуловимая мысль. И лишь снова посмотрев на плачущую женщину, прислонившуюся спиной к камню, понял: на той давней прогулке по зеленым холмам не было камня. Никаких камней, тем более такого большого, белого, с черными отметинами. Не могли они его не заметить! Хотя... Сквозь мутную пелену лет вдруг пробилась четкая картина и даже всплыли в памяти слова. Они на вершину не всходили, остановились в уютной ложбине, расстелили скатерть, нарезали мясо, разложили лепешки, расставили бутылки, конфеты для девушек. Кажется, кто-то предлагал расположиться на вершине, чтобы пировать над городом. Но приятель сказал: «На машине туда не

добраться, а оставлять ее здесь опасно, мало ли дураков вокруг бродит. Да и ветер там сильный, нас сдует, а здесь даже ураган не достанет».

Абдулла сцену за сценой восстанавливал сон, который видел во время непонятного провала сознания. Или обморока? Или действительно краткого летаргического забытья?

Он никогда не придавал значения снам, считал их толкование уделом аульных старушек. Да и не было ничего особого в его видениях: ни кошмаров, ни ужасов. Вот Сельби видела сон — так это действительно врагу не пожелаешь. Причем молчала, два дня ходила сама не своя, пока Абдулла не заставил сказать, в чем дело. Привиделось ей, что муж засовывает ее, живую, в мешок из белой ткани. Она сопротивляется, упирается, Абдулла скрутил ей голову, свернул набок шею и все равно не может пересилить. Потому что там, в белом мешке, лежит черная змея, свернувшись в клубок. А Сельби с детства боится змей, слышать о них не может, когда по телевизору показывают, сразу же убегает куда подальше. Они — живое воплощение смерти, и никакая сила не заставит ее влезть в один мешок со змеей...

Это действительно сон-кошмар, после которого даже на родного мужа будешь смотреть с опаской. А что у Абдуллы? Так, непонятная мешанина из воспоминаний и бреда. Лишь одно необычно — четко восстановленная картина после, казалось бы, абсолютного черного провала сознания.

Так, размышляя в полусне и в некотором покое, Абдулла пролежал до наступления яркого утра.

Рано утром пришел Мыллы. И затеял бесконечный разговор о симптомах болезней, вызывающих летаргический сон. Как будто специально подготовился, проштудировал пособия-справочники. Ничего не поделаешь, врачи все такие. С ними нормально можно общаться только будучи абсолютно здоровым. Стоит им узнать о твоем самом легком недомогании — пропал. Тут же припишут тебе еще кучу болезней. То ли заботу проявляют, то ли профессиональная привычка срабатывает, как условный рефлекс у собаки, то ли им приятно, что человек вроде как попадает в зависимость от них. Если не в прямую зависимость, как от лечащего врача, то хотя бы в зависимость от их мнения.

— В общем, друг мой, надо тебе пройти полное медицинское обследование, — заключил Мыллы. — С такими вещами не шутят.

— С какими? — поддел его Абдулла. — Ты же сам говоришь, что ничего не понимаешь.

— Вот это и опаснее всего, — серьезно ответил Мыллы.

Да, тут он прав, больше всего страшит неизвестность, подумал Абдулла, пытаясь вспомнить, откуда, из какой пьесы, из какой трагедии эта мысль. Ведь у актеров не голова, а хранилище цитат из сыгранных за всю жизнь комедий, драм, трагедий.

— Знаешь, как бывает: болезнь спит годами, а потом вдруг просыпается. Никто не знает отчего. Вот у тебя что-нибудь было в детстве с головой? Удар, ушиб, сотрясение мозга?

— Помню, как пацаном с ишака упал.

— Ну, с ишака — все-таки не со второго этажа. Сильно ударился?

— Да чуть башка не раскололась! Со скачущего ишака слетел. А земля твердая, как камень, из глаз искры полетели. Орех бы раскололся на части. Полдня пролежал почти без сознания и целый месяц потом ходил сам не свой.

— Видишь, я прав оказался! — обрадовался Мыллы. — Поехали, завтра покажу тебя психиатру, есть у нас очень сильный врач, еврейка.

Абдулла заколебался. Психиатр... Потом на всю жизнь дурная слава останется. Начнут на всех углах судачить: «Ясное дело, он же актер, они все ненормальные...»

— Не будем спешить, подождем до следующего беспробудного сна.

— Нет времени ждать, эта женщина через десять-двадцать дней насовсем уезжает в Израиль.

— Пусть уезжает, и мы за ней поедем, заодно в Иерусалиме побываем.

Мыллы обиделся и ушел.

Абдулла опять увидел во сне пестрый камень. Никого и ничего вокруг, только пестрый камень, катящийся с вершины холма. Прямо как в замедленной съемке. Абдулла смотрит вниз, в долину. Что там натворит слетевшая сверху глыба — страшно подумать. Но ничего и никого не видно — не то густой туман в долине, не то обволакивающий сознание туман в голове. И — ни звука. Звенит тишина в ушах.

Проснувшись, почувствовал, что звон утих. С дороги слышится гул машин, в окне светлеет небо. Если один и тот же пестрый камень второй или третий раз является во сне — это что-то значит? Абдулла помнил, как встревожилась мать, когда однажды увидела во сне своего отца, его деда. Первый раз он молча смотрел на нее, ни слова не говорил, но всем видом выражал озабоченность. Во второй раз лицо его пылало гневом. Но опять же ни слова не сказал.

Мать пошла к толковательнице, которая объяснила: «Отец в обиде на то, что забыли его. Не вспоминаете ни в жизни, ни в молитвах. Для покойников молитвы — все равно что угощение для живых. А гнев их опасен, потому что никто не знает силу власти духов».

Сразу же после этого в доме Абдуллы зарезали барана и устроили поминальную молитву в честь дедушки и других покойников. Наверно, душа его успокоилась: Абдулла не помнит, чтобы мать когда-нибудь говорила, что он ей снова приснился.

О чем предупреждает его катящийся с холма камень? Абдулла не на шутку встревожился. Над суевериями, похоже, хорошо смеяться, когда они касаются других. А когда к тебе в душу лезут зловещие видения, лучше принять меры. Может, какая-то неожиданная напасть собирается обрушиться на его голову, подобно камню? Надо сегодня же пойти на холм, положить под камень лепешку и прочитать единственную молитву из Корана, которую он знает. Расскажи кому-нибудь из театра — насмешек не оберешься. Только ведь известно — чужую беду руками разведу...

Надо пойти на холм.

И тут Абдулла задумался: а есть ли на том холме пестрый камень? Сколько ни вспоминал — не смог вспомнить. Вроде бы никогда его не было.

Тем более надо сходить, решил он.

2. Пестрый камень

Выйдя из города, Абдулла направился к холмам, гряда которых упирается в горы. Вроде бы уже миновал весенний праздник Новруз, туркменскую землю теплым ветром должен овеивать ласковый март, но солнце почему-то еще не греет. Уже идут дожди, но холодные, и трава не пробивается. Земля голая и серая.

Поднявшись на холм первой гряды, он приостановился и окинул взглядом расстилающий перед ним город. Вдруг охватила печаль при мысли, что этот город так же безмятежно будет жить, сверкать под солнцем и без Абдуллы. Одним Абдуллой больше — одним Абдуллой меньше...

Так ведь и сейчас, при жизни, город отдаляется от него, становится чужим. Что там говорить, никогда не была столица такой пышной, как нынче. Строятся высотные здания, широкие проспекты, возникают парки, бьют прохладной водой в жаркое туркменское небо фонтаны. На серых прежде улицах как яркие цветы вырастают рестораны, гостиницы, казино, вокруг них кружится пестрый хоровод молоденьких девушек и женщин. Где-то прячутся и не особо-то и прячутся притоны с наркотиками и проститутками, и все обитатели нового мира охвачены погоней за долларом. Вот уж этот мир никак не зависит от воли, желаний, да и вообще от личности Абдуллы. Не станет меня — и в жизни города образуется брешь, думал Абдулла лет десять назад. Сейчас, усмехаясь, он сравнивал былую уверенность со скоротечной жизнью весенних трав, мгновенно высыхающих от солнца и зноя Каракумов.

Хотя Абдулла тридцать лет жизни провел в Ашхабаде, он не считал себя горожанином. Да, когда выезжал на неделю в родной аул — конечно, сразу понимал, какой он

изнеженный цивилизацией человек. Неудобства сельской жизни уже не для него. Тут он горожанин, точно. Но как только попадал в круг истинных горожан, особенно людей других национальностей, кожей ощущал: как был аульным парнем — так им и остался.

Все туркмены — вчерашние пастухи, скотоводы. Даже в Ашхабаде живущие: одной ногой в городе, другой — в ауле. Правда, приезжие из Москвы говорили, что Ашхабад — большой аул. Хотя в аулах отродясь не бывали. Абдулла пять лет в Москве жил, в театральном институте учился, и помнит, как ленинградцы называли Москву большой деревней. Так что каждому — свое. Для туркмен Ашхабад — лучший из лучших не потому, что столица, а потому, что истинный город мира, здесь бок о бок жили люди всех национальностей. Они-то и делали Ашхабад городом.

А в последние десять лет Ашхабад, по наблюдениям Абдуллы, стремительно превращается в большой аул. Как только русские школы стали одну за другой закрывать, из Туркмении начали уезжать русские, украинцы, евреи, армяне... Именно они — истинные горожане в нескольких поколениях. Яркий, многоцветный, как мозаика, из разных языков и культур был Ашхабад. Этих людей никто и ничто не заменит. Абдулла с горькой усмешкой смотрел, как на их места назначают тех, кого вчера бы и на порог не пустили. Ну да, когда уходят первые, вперед пролезают последние. Еще столицу заполонили приезжие из областей и районов, ринулись сюда в поисках работы. По сравнению с ними даже вчерашние наполовину горожане чувствуют себя столичными господами...

Грустно стало Абдулле при мысли о том, каким серым становится его город внутри, раскрашиваясь во все цвета рекламы снаружи.

Он направился к дальней гряде холмов, соединявшейся с горами. Тот самый холм, если он не ошибается, упирается в крутой утес, у подножия которого проходит дорога. Абдулла добрался до ложбины и понял, что не ошибся. Глаза забыли, а ноги помнят. Здесь, на укромной поляне, они тогда и расположились. Приятель с девушкой потом куда-то исчезли, и спутница Абдуллы обозвала свою подружку шалавой...

Тишина окружила Абдуллу. Здесь, в ложбине, уже зеленела трава. Абдулла растянулся на ней во весь рост и почувствовал, как устал от ходьбы через холмы да овраги. Он смотрел в небо и думал, что нет никакого смысла карабкаться еще куда-то, искать камень, которого, может, и нет. Наверняка нет. Мало ли что может человеку присниться! Так что теперь, каждый сон проверять и лезть черт знает куда?

В конце концов пусть даже и лежит там этот пестрый камень. Тем более нет смысла торопиться — никуда он не денется. На свете тысячи или миллионы таких камней, не искать же в каждом из них скрытый смысл. Другое дело, если это священный черный камень Каабы в Мекке... Абдулла когда-то и где-то читал, что один из древних народов в праздник урожая приносил в жертву человека. При этом беднягу побивали и забрасывали камнями. По их верованиям, камень был орудием богов, повелевающих землей и дарующих плодородие. Потом времена изменились, верования изменились, и стали камнями побивать преступников и неверных жен.

Однако какая связь может быть между его рассеянными мыслями и пестрым камнем? Такой же абсурд, как и сон, который видела Сельби! Абдулла уже пожалел, что поддался смутному порыву и направился сюда. Еще разобраться надо, был ли это порыв страха, суеверия или просто порыв глупости?

Усталое тело клонило к блаженному отдыху, к сладкому сну. Что может быть лучше — закрыть глаза и забыть про все на свете. Но что-то удерживает, не позволяет расслабиться и забыть. Что? Подспудный страх его держит. Если сейчас уснет, то неизвестно, когда проснется. Вдруг повторится вчерашнее? Никто ведь не знает, куда он ушел, где его искать. Он представил, как некто смотрит с неба на землю, видит его распластанное тело в ложбине меж холмов и гадает: почему человек так долго спит?

Из-за хребта, с неба, послышался нарастающий грохот. Абдуллу подкинуло на месте. Слава богу, догадался, что это всего лишь вертолет. Сейчас должен появиться над вершиной. Однако вертолет не появился. Грохот унесся вдоль долины, удаляясь в сторону гор, затихая. Пришла тишина, оглушительная после небесного гула и

скрежета. Вновь вернулись тревога и желание куда-то идти, искать. Издалека донесся лай собак. Или это послышалось?

Минутного покоя как не бывало. Сомнения забылись, Абдулла быстрыми шагами поднялся на вершину холма и сразу же увидел пестрый камень. Точно такой, как во сне.

Под ним расстилалась долина. Из-за окружающих ее высоких гор казалось, что чем дальше она уходит вдаль, тем сильнее погружается вглубь. Только долина не красная, как во сне, а бурая от прошлогодних пожухлых трав, серая от голой холодной земли, сквозь панцирь которой еще не пробилась ласковая зелень трав. На дороге показалась машина, ослепительно белая в лучах солнца. Большое расстояние сглаживает скорость; если смотреть с земли, самолеты в далеком небе летят медленно и плавно. Здесь же и на расстоянии видно, что машина летит, как сумасшедшая. Не успел Абдулла подивиться, как следом возникла вереница автомобилей, мчащихся на такой же безумной скорости. Как будто первая машина — разведчик, а следом идут в атаку основные силы.

Абдулла до появления кавалькады хотел сесть на камень. И вдруг обнаружил себя лежащим под ним! Он еще и подумать не успел, надо или не надо прятаться, зачем и от кого прятаться? А тело уже распорядилось,

Молодая женщина из его сна плакала, закрывшись накидкой, но она сидела лицом к долине, лицом к миру, опираясь спиной о камень. А он, мужчина, мгновенно юркнул в нору!

Кого он боится и от кого прячется? Здесь ведь не особо охраняемая территория и не пограничная зона? Почему он подумал об этом? Потому что глаза зафиксировали: четыре машины, возникшие на дороге, — джипы. А на джипах по Ашхабаду и республике носятся люди из охраны Хозяина да военные. Каждый раз, видя джипы на улицах, он с тревогой думал о сыне, который служит сейчас в армии.

Абдулла хотел подняться и принять достойную позу. Например, сесть на камень, скрестив по-турецки ноги, как праздный человек, вроде юноши-хиппи. Или как вольный художник. Еще лучше — встать рядом с камнем, слегка прислонясь к нему плечом, и любоваться открывающимся видом спокойно и значимо, как и подобает заслуженному артисту республики.

А вдруг люди из машин увидят его именно вылезающим из-под камня? Какое уж тут достоинство и значимость! А то еще заподозрят в чем-нибудь. Спросят: почему прятался, от кого, что замыслил? И поди докажи, что сам не знаешь... Просто так не прячутся...

Нет уж, теперь поздно. Надо переждать, пока машины проедут. Два автомобиля промчались мимо. Третий, кажется, остановился — шум мотора затих неподалеку. Абдулла выглянул из укрытия: так и есть, стоит рядом. А вдали — четвертая машина. Тоже остановилась. Никто из нее не выходит.

Вторая машина, умчавшаяся к хребту, начала разворачиваться. Как будто ее послали посмотреть: что там, кто там? А первая едет дальше, огибая холмы, словно проверяя, объезжая дальние окрестности.

В поле зрения Абдуллы появился человек в камуфляже. Огромный, мощный да еще с автоматом на плече. Абдулла сжался от страха: вот сейчас наведут на него дуло, прикажут спуститься с вершины и куда-нибудь поведут. Или пристрелят на месте — кто знает, что это за люди. Труп растерзают шакалы — и никто не узнает, как и куда пропал артист Абдулла Нурыев. В Туркмении давно привыкли, что люди исчезают без следа.

Абдулла открыл глаза — оказывается, он зажмурился, представляя свою незавидную судьбу, — и вдруг рассмотрел, что человек в камуфляже нагружен разноцветными бутылками, несет их в охапке, как гору подарков. Абдулла закрыл и снова открыл глаза, осторожно помотал головой, но видение не исчезло. Грозный, могучий человек в камуфляже, с автоматом через плечо, нагружен был бутылками, как арба, доверху. Пройдя метров сорок, он остановился на взгорке. На пикник приехали? Только почему он один и из других автомобилей никто не выходит? Когда пикник —

кругом шум и смех, беготня и суета. Здесь же — зловещая тишина, одинокая фигура и застывшие в отдалении машины.

Человек в камуфляже тем временем расставил бутылки в ряд, через два шага друг от друга. Проверил, насколько надежно они стоят, и бегом вернулся к машине. И тут же прогремел выстрел. Абдулла заметил, как взвихрилась пыль у крайней в ряду красной бутылки.

— Да убери ты эту свою берданку! — раздался злобный голос. На каменистую землю упало что-то тяжелое, видимо, ружье, презрительно названное берданкой.

Однако Абдуллу поразило другое — голос показался ему знакомым. Не успел он задуматься, где слышал, как по ушам ударил грохот автоматной очереди. Осколки стекла, брызги разноцветных напитков полетели во все стороны.

По горам раскатилось эхо. Заглушая его, вблизи раздался раскатистый смех. И тут Абдулла узнал его сразу. Сомнений не было — Сам! Великий Яшули! И раздраженный голос — его голос! Значит, внизу стоит Президент и Главнокомандующий, которого в народе чаще всего называют Великий Яшули.

По спине, по ложбинке, ручьем потек горячий пот. Разум Абдуллы еще не осознал всей меры ужаса, а тело уже отреагировало. Если его заметят — конец. Террорист в засаде на Президента! Сразу же откроют шквальный огонь. Абдулла где-то читал, что плотная автоматная очередь разрезает тело пополам.

Лишь бы сразу не начали стрелять. А потом, Абдулла надеялся, — Великий Яшули его узнает. Должен узнать. По стране легенды ходят о его цепкой, феноменальной памяти. А уж Абдуллу Нурыева как не узнать. Если же не вспомнит, Абдулла скажет, что он — тот самый артист, который исполнял роль Гюн-хана, сына Огуз-хана, исторического прародителя туркмен, основателя древнейшей туркменской государственности.

Совсем недавно, еще в прошлом месяце, вся Туркмения отмечала день рождения Великого Яшули. На площади, перед его дворцом с золотыми куполами, Абдулла произносил монолог Гюн-хана, и телевидение разносило его голос по городам и весям. По режиссерскому замыслу, высочайше одобренному Великим Яшули, основатель гуннской империи как бы из глубины веков обращался к своему наследнику — Президенту независимого, суверенного Туркменистана. Президент стоял на высокой трибуне, и Гюн-хан-Абдулла простирал к нему руки, чеканя звенящие слова: «Ты поразил весь мир, подарив своему народу Золотой век в начале Двадцать Первого века! Ты достиг того, чего мы не смогли достичь. Сегодня у великой огузской империи появился величайший наследник — ты! Значит, не напрасно проливалась в веках священная кровь, не напрасны были жертвы на тысячелетнем пути!»

Великий Яшули не мог не запомнить такие слова. А значит, и артиста. Наверняка поинтересовался, кто выступал на торжествах в образе Гюн-хана? Ему, конечно, доложили: Абдулла Нурыев, заслуженный артист республики. У Великого Яшули память, словно капкан. Кто попал — не выберется. На случай, если не запомнил и не поверит, Абдулла может повторить монолог Гюн-хана тут же, на вершине холма, перед ним.

Сверху послышался нарастающий гул вертолета. Видимо, облетает район по широкому кругу, обеспечивая безопасность Великого Яшули. Удивительно, что вертолет только один. Возможно, Сам не захотел привлекать внимание к поездке на холмы, к упражнению в стрельбе по бутылкам. Однако и одного вертолета достаточно, чтобы заметить Абдуллу. И расстрелять из крупнокалиберного пулемета или из автоматов службы безопасности Президента. Опять же в кино видел, как бьют сайгаков с неба. Сайгаки хоть бегут, надеясь спастись, а он лежит, как неподвижная мишень. У сайгаков пятнистая шкура, сливающаяся с местностью, а Абдулла в американском джинсовом костюме. К счастью, за прошедшие небогатые годы костюм потерял ярко-синий цвет, называемый индиго, и превратился в серую тряпку, неразличимую на серой земле. Гул стал удаляться, зато приблизился лай собак. Абдулла кожей ощутил, как стягивается петля вокруг него. И сам себе дал команду: «Встань медленно, с поднятыми руками». Но тело отказывалось подчиниться приказу. Язык

присох к небу. Не то что монолог Гюн-хана, даже имя свое назвать не в силах. И разве то, что он артист, игравший роль Гюн-хана, избавляет его от подозрений? Но если выйти с поднятыми руками, сразу стрелять не будут. Возможно. Надо надеяться, спросят: «Что тут делаешь?» Отвечу: «На прогулку вышел». Начнут пытать: «Почему за камнем прятался?» Ответить нечего. Скажут: «В театре сегодня рабочий день, а почему ты не на рабочем месте?» И — самое страшное: «Откуда тебе стало известно, что Президент приедет сюда?»

Пусть спрашивают. Пока спрашивают — не стреляют. Не без причины по Туркмении бродят слухи, что служба безопасности Великого Яшули сметает и расстреливает любые машины, по воле случая оказавшиеся на пути его кортежа.

Земля пахла сыростью и холодом. Он лежал, вжавшись в нее лицом, но холода не ощущал — губы горели, будто в малярийном жаре. Тела он не чувствовал, а вот руки заледенели.

Послышался рокот автомобильных моторов. И стал стихать. Уезжают?!

Абдулла боялся верить, старался даже и не думать. Главное — не двигаться, слиться с камнем, раствориться в земле. Говорят, от страха человека может даже парализовать. Ледяной холод в руках не первый ли признак паралича? Абдулла стал осторожно шевелить пальцами, а затем сжимать их в кулаки и разжимать. Вроде бы слушаются. А как ноги, тело? И только сейчас понял, что тело его, подобно змее, пытается обвить пестрый камень. Он стал гладить его ладонями и почувствовал, что возвращается тепло. Как после снежка в руках, который уже растаял. Абдулла прижался к камню щекой, думая, что от него идет тепло, но камень был холодный.

Абдулла прижался еще плотнее и почувствовал легкое движение. Обломок скалы покачнулся. Значит, если он поднатужится, то может скатить его вниз? Вот почему ему привиделось, что пестрый камень катится с холма. Как он ни старался во сне, не мог рассмотреть, куда катится, кто там, внизу, в долине. Теперь он знал КТО. Там стоял Великий Яшули! Представил, как обрушивается скала на его голову, сплющивая и без того узкий лоб, превращая в кровавую кашу мясистое лицо.

О, боже, почему он об этом думает? Откуда такие мысли? Что они означают?

Абдулла приподнял голову, высунулся из-за камня и увидел вдали радиоантенны уносящихся машин президентской охраны. По республике ходят слухи, что за двадцать миллионов долларов куплена сверхсовременная электронная аппаратура, способная подслушивать, улавливать и записывать разговоры людей на больших расстояниях. Впрочем, на фоне современных чудес техники простое подслушивание разговоров кажется сущим пустяком — запросто поверишь, если скажут, что есть приборы, позволяющие читать твои тайные мысли.

«Нет греха страшнее, чем покушение на жизнь человека. Только бог, который дал душу, может и забрать ее». Эти слова Абдулла произнес вслух, подумав, что таким образом снимет с себя подозрение в злом умысле.

Лучше б никогда не видеть ему этот пестрый камень! Ни во сне, ни, тем более, наяву. Если удастся, он постарается забыть его.

Абдулла достал припасенный кусочек лепешки и подложил под камень. Затем стал читать молитву-аят из Корана, закрыв глаза. Не закончив, начал сначала и повторил еще раз. Если трижды прочитать аят из Корана, то молитва будет без изъяна. Потом, не открывая глаз, обратился к камню: «Ты видишь, я специально пришел, чтобы убедится: ты есть! Давай не будем обижаться друг на друга, у нас нет для этого никаких причин!»

Абдулла еще раз пообещал себе, что постарается забыть. Но понимал, что не удастся. В их театре, в советские еще времена, ставили комедию... Он не был занят в спектакле, смотрел из зала, что нечасто случалось. И, как простой зритель, смеялся от души. Там мулла обманывал горожан, обещая и убеждая легковерных, что ему дан Аллахом дар воскрешения мертвых. Присутствующие при чтении молитвы-заклинания должны очистить чувства и разум, прежде всего не думать о богомерзкой рыжей обезьяне. Так и разъезжал мулла-прохиндей по городам, собирая обильную дань.

Ибо кто может честно сказать, что во время молитвы он не думал об отвратительных гримасах рыжей мартышки?

Тогда Абдулла смеялся. Сейчас впору плакать.

Он поднялся с земли, колени дрожали и нестерпимо болели, будто впервые встал на ноги, будто колени не выдерживают веса тела. Осторожно провел руками между ног, сказал сам себе: «Слава богу, штаны у тебя вроде сухие». И сам засмеялся над собой, не сочтя смех оскорблением. Зрителям в театре всегда приятно поднимать на смех труса. Хотят доказать себе, что они-то не такие! О-го-го, какие смелые! А может быть, с помощью смеха пытаются победить страх?

3. В духоте

Абдулла добрался до города на исходе дня, ног не чуя от усталости и от пережитого. Наверно, раз в жизни выпадает человеку угодить в такую передрягу. Причем на пустом месте из-за каких-то снов! А труп, прошитый очередью из автомата Калашникова, был бы реальностью.

Домой не пошел — направился на окраину Ашхабада, в район за железной дорогой, где бывал очень редко. Ни редакций, ни театров, ни учреждений здесь отродясь не водилось. Жили двое-трое знакомых, земляков, выходцев из его аула.

Поселок с незапамятных времен был и остался слободкой — районом частных домов со своими участками, хозяйственными постройками, сараями и хлевами. Никого не удивляли корова или верблюд, привязанные к железному колу или столбу на тротуаре. Лишь бы не поперек проезжей части: ведь некоторые слободские ухитрялись не то что скотину на тротуаре привязывать — ставили на тротуаре тамдыры — круглые глиняные печки для туркменских пресных лепешек. Как и во многих южных поселках, жизнь происходила на виду, на улице. Люди сидели вдоль нее, у своих домов, на корточках, изредка обмениваясь несколькими словами. В прежние времена кипели споры или текли непрерывные беседы о том и о сем. Сейчас люди больше молчали, не находя слов друг для друга, и на каждом лице читалась общая печать усталости.

Улицы под стать людям. Все обветшало. От асфальта почти ничего не осталось. Абдулла шел, спотыкаясь на ухабах, проваливаясь в рытвины, радуясь, что сильных дождей нет, иначе б скользил по грязи.

Дойдя до двора Овеза, нажал на кнопку звонка, прикрепленного к калитке. Овез всегда был в своем околотке непререкаемым авторитетом. Особенно при советской власти, поскольку заведовал тогда магазином.

Сейчас Овез и его взрослый сын зарабатывали тем, что забивали чужую скотину и продавали мясо на базаре.

Ни в прежние времена, ни в нынешние Овез не менялся.

— О! Артист! Какой ветер занес тебя в наши края?! — закричал он, распахнув калитку. Поздоровался вначале за руку, а потом обнял, прижал к груди.

— Какой ветер? — переспросил Абдулла. — Теперь у нас в Туркмении ветер один — ветер перемен!

И сам поразился сказанному. Прозвучало двусмысленно, с подковыркой, почти как в речах Белли Назара, известного туркменского писателя и диссидента, выступающего иногда по западным радиоголосам.

Слегка озадачился и Овез. Впрочем, заметного удивления не выказав.

— Помнишь, Овез, что ты как-то говорил про артистов? — спросил Абдулла.

— Ай, разве я могу вспомнить все, что когда-то говорил, тем более про вашего брата! Память на то и дана человеку, чтобы тут же забывать глупости, которые выбалтывает язык.

— Ты говорил, что артисты напоминают тебе детей-сирот.

— Ну, я имел в виду, что о вас вроде бы никто и не заботился. А ведь артист должен одеваться красиво. Вот я и снабжал вас дефицитом, как мог.

— А я в ответ напомнил народную пословицу: «Встретишь сироту — побей его. Станет убегать — догони и побей. Не догонишь — брось чем-нибудь вслед». А ты сказал: «Мне дела нет до того, что говорит народ — я высказываю свое мнение и в поправках народа не нуждаюсь».

— Не помню, дорогой мой артист! Но если это я сказал — то правильно сказал. Мир уже разрушают, ссылаясь на мнение и поддержку народа.

Много лет назад Овез в первый и единственный раз побывал в театре. В семидесятые-восьмидесятые годы ходить на все спектакли, выставки, на оперу и балет, заводить в доме роскошные библиотеки считалось модным и престижным. Билеты и книги не покупали, а *доставали*, пользуясь различными связями в торгово-руководящем и художественном мире. На первом месте в неписаной шкале уважения стояли директора магазинов, заведующие складами.

Среди них Овез занимал одно из первых мест — директор продовольственного магазина в Центральном районе. Не крупного, но и не мелкого — в самый раз, чтобы иметь вес и в то же время не высовываться, не торчать на виду, как глупая длинноногая птица в камышах. Хотя, если продолжить сравнение с птицами, Овез в чем-то был белой вороной в серой стае. Только так сложилось, что все думали наоборот: мол, Овез — единственная серая ворона в их белой стае исключительно интеллектуальных и интеллигентных завмагов, интересующихся всеми книжными и театральными новинками.

Овез книг не читал, не покупал и в театры не ходил.

Они познакомились с Абдуллой случайно и не случайно. На одном из праздников в поселке, где Абдулла пил водку не как известный артист, а как земляк хозяина дома, и Овез был не завмаг, а сосед. Они сошлись, потому что самым ценным в их общении была полная независимость: им друг от друга ничего не было нужно.

Однажды Абдулла все же уговорил Овеза прийти в театр.

— Дорогой мой! — взмолился Овез. — Я приду, если ты так хочешь! Но скажи мне, хоть смешно там будет?

— Нет, будет скорбно.

— Но как же можно делать спектакль из скорби?

— В театре все возможно, дорогой Овез! — с наивным воодушевлением воскликнул тогда Абдулла. — Мы расскажем историю народа «джан», который от невыносимо тяжелой жизни потерял память. Оказывается, народ, потерявший память, превращается в стадо животных, в скотов. Но животных спасает инстинкт, а люди гибнут, как от чумы, растворяются в песках. Из Москвы в Каракумы посылают Назара Чагатаева с заданием вывести народ «джан» к новой жизни. Назар мальчиком попал в Москву, выучился там и теперь едет спасать свой народ. Его роль я играю, приходи хоть на меня посмотреть.

— Кто такую чушь придумал? — спросил Овез.

— Как это — «чушь»? — растерялся Абдулла. — Русский писатель придумал, Андрей Платонов, великий писатель...

— Что может знать русский человек о жизни в песках? — удивился Овез. — Что может он сказать о чужом погибающем народе? И скажи мне, как один человек сможет спасти целый народ?

— За его спиной стоит советская власть, Москва стоит, — кратко ответил Абдулла. И, как видно, нашел самый убедительный довод.

— Если правительство стоит — тогда другой разговор, — согласился Овез.

Для таких людей, как он, слова и мнения ничего не значат. А вот правительство, власть — это авторитетно, это — серьезно.

И все равно, уговаривать Овеза пришлось долго. Оказывается, он и не знал, что спектаклю «Джан» дали Государственную премию от самой Москвы. А узнав, преисполнился почтения: Москва — это Москва! Наконец, в честь платоновской героини Абдулла назвал новорожденную дочь — Айдым. Тут уж Овез никак не мог отказаться.

Однако после спектакля Абдулла, как ни высматривал, не увидел его. Пришел на следующий день к нему в магазин, спросил.

— Ай, сидел, зевал, подумал, что сейчас усну — стыдно будет. Дождался перерыва и ушел, — объяснил Овез, нисколько не смущаясь.

Абдулла даже восхитился его искренностью. Никто еще в Туркмении не говорил, что ему скучно смотреть «Джан». Все только восхищались. Пойми, где восхищение от души, а где давит авторитет Москвы и Государственной премии!

Сейчас, вспоминая попытку приобщить Овеза к театру, они с грустью посмеялись. Оба понимали, что исчезли безвозвратно те дни и те заботы. Другие нынче времена — совсем другие заботы, и далеки они от споров по поводу русского писателя Платонова...

— Пригласи меня еще раз на тот спектакль, — попросил вдруг Овез.

— На какой? — растерялся Абдулла.

— На «Джан», — сказал Овез. — Про пески и про народ.

— С большим бы удовольствием, — усмехнулся Абдулла. — Только Великий Яшули избавил тебя от зевания в театре. «Независимый туркменский театр не нуждается в спектакле, который нравится Москве», — сказал наш Вождь.

— Вот значит как, — протянул Овез. — Ну что ж, не удивляюсь...

Они еще с полчаса поговорили о том и о сем.

— Пойдем в гости, — предложил Овез. — Сосед тут зовет на пир горой.

— В честь чего?

— Не могу сказать, — странно улыбнулся Овез. — Точно знаю, что никто там не родился, никто новый дом не построил и сына не женил.

— А зачем же ты идешь?

— Надо оказать уважение, — объяснил Овез. — Это вы там живете, как в Москве, по своим квартирам-клеткам, как зовут соседа, не знаете. А у нас тут по старинке...

Их встретили с почетом, провели в просторную комнату, где пел бахши. Двухструнный дутар в его руках звенел как голос живого человека, но человека больного, психически ненормального или на все озлобленного. Да и большая комната напоминала не человеческое жилье, а огромную полутемную нору, заполненную смрадным дымом и тяжелым запахом немытых тел. Казалось, собравшимся здесь любое дуновение свежего воздуха — словно удар ножа в бок. Стоило кому-либо войти сюда, на секунду отворив дорогу ветру с улицы, как на него обрушивался общий хриплый крик: «Закрой дверь!» Бахши сидел, сложив ноги по-турецки, держа дутар на коленях, а гости возлежали на одеялах вокруг скатерти с разбросанными как попало широкими блюдами, тарелками и бутылками. Они нестройными голосами поддерживали певца, который в бешеном темпе бил по струнам, выстукивал горячечную дробь на полированной деке дутара и неистово выкрикивал слова, кривя худое острое лицо и закрыв глаза. Он и сам был худ, как щепка, с коричневым лицом давнего курильщика опиума — терьяка. *Терьякеш,* — сразу же определил Абдулла. Неистовство бахши вызвано не музыкой и не песней — *терьяк* заставляет его надрывать связки, рвать жилы, бьет дрожью его тщедушное тело.

Абдулла, глядя на странные, одержимые лица, почти понял, почему у них нет повода для праздника в обычном понимании — ни рождения нового человека, ни свадьбы, ни строительства дома. Им не нужны поводы, потому что повод для торжества рождается из созидательной жизни, из достижения той или иной цели. У них нет цели, и они не нуждаются в ней. Возможно, к такому скотству их привела безысходная жизнь, возможно — терьяк, а скорее — то и другое вместе. Они не замечают, что среди них чужой человек, и не стараются произвести на него хорошее впечатление. Жили и живут, как придется, не сопротивляясь обстоятельствам, и любой, кто думает иначе, — для них враг. Униженность жизни в вони и смраде сочетается в них с агрессией и злой гордыней.

Словно подтверждая его мысли, здоровенный мужчина, беспрестанно вытирающий пот со лба полотенцем, закричал, обращаясь к бахши:

— Вперед и дальше, Мурри! Парни, что тебя слушают, плюют в лицо судьбе! Они всех в гробу видели! Как там в твоей песне: «Мчаться вдаль и трахать баб, жрать и пить — вот как надо жизнь прожить!» Кто не согласен — получай в морду! Правильно я говорю?

Его заглушил общий рев одобрения. Как будто из черной норы раздалось рычание и пахнуло падалью из пасти.

Здоровенный мужчина, видимо, хозяин дома, махнув полотенцем, окликнул человека, стоявшего возле внутренней двери.

— Готово там?

Человек кивнул.

— У нашего Мурри голос пропал! — снова закричал здоровяк. — Провалился, как в задницу! — захохотал он, очень довольный своим остроумием. — А почему, спрашивается? — Он обернулся к гостям, возлежащим в разных позах.

— Интересно... почему... — забормотали те, и по их ухмылкам было видно, что они знают ответ и предвкушают его.

— Потому что кончилось горючее в баках! — возвестил здоровяк. — А значит, надо срочно заправиться! «Наш паровоз, вперед лети, в золотом веке остановка!» — запел он, размахивая полотенцем, как знаменем.

— Вперед, и только вперед!

— Горючее в топку!

— А я в ракете хочу! Улететь на хрен!

— Ты и так в полном улете!

Общее возбужденное разноголосье всколыхнуло затхлый туман в комнате.

— Кто хочет заправиться, проходи в ту комнату! — распоряжался хозяин. — А нашего Мурри мы унесем на руках!

Толстенными лапищами он подхватил хрупкого бахши, как есть, сидящего по-турецки, и понес в распахнутые двустворчатые двери. За ним, возбужденно гомоня, потянулись остальные.

Абдулла и Овез, воспользовавшись моментом, выскользнули на улицу.

— Ну как, увидел? — спросил Овез

— Так ты специально меня сюда привел? — догадался Абдулла.

Овез только пожал плечами.

— Да, насмотрелся я... — бормотал Абдулла. — Тот еще театр, «Синяя птица»...

— Это жизнь, артист мой драгоценный, — сказал Овез. — Вот и скажи теперь, кто спасет этот народ?

«Что он говорит? — испугался Абдулла. — Как будто ничего не боится. А может, провокация?»

Но тут же устыдился. Уж кому-кому, а Овезу верить можно.

Овез шел, не поднимая головы.

— Ты знаешь ведь, чем мы с сыном занимаемся, — сказал он. — Мы и забойщики, и посредники, и продавцы. На прошлой неделе звонок раздается, стоит у ворот молодой парень. Говорит: «Здравствуйте, яшули, есть у меня к вам предложение, надеюсь, не будете обижаться». Спрашиваю: «Скотину, что ли, на забой привез?» Отвечает: «Нет, пока не привез, но если скажете, привезу». А сам по сторонам оглядывается. Я подумал, что вор. Даже посмеялся над собой: мол, дожил ты, Овез, воры тебя за своего держат, зовут в скупщики краденого... А парень тем временем бормочет: «Прошлой ночью в нашем ауле корова сдохла, до зари еще закопали... Думаю, кровь у нее вряд ли успела остыть и температура тела тоже. Возьметесь продать?» Я буквально онемел, не знаю, что и сказать. Говорю: «Заходи во двор». Парень зашел, тут я его спросил: «Кто тебе сказал, что я забойщик и продавец мяса? Кто тебе дал мой адрес?» Он называет имя почтенного человека. Снова спрашиваю парня: «А он сказал тебе, что я режу павших животных и торгую падалью?!» Парень

отвечает, что нет, ничего подобного. Я начал кричать: «Так почему ты решил, что я буду падалью торговать? Почему ты предлагаешь мне падалью торговать? Я тебе кто?!» Парень слегка испугался, но говорит спокойно: «Если не одобряете, яшули, я повернусь и уйду. Только не думайте, что я один такой... Недавно один человек получил 20 долларов, показав лишь место, где закопали сдохшую корову. Говорят, что сдали в тюремную столовую...»

— И что ты с этим парнем сделал? — спросил Абдулла.

— В морду дал, — сказал Овез. — Развернулся и врезал. Он — наутек. А я вдогонку кричу: «Из-под земли достану!» А что я с ним буду делать? В милицию сдам? Так на меня же и дело заведут, скажут: «Раз вам предложили — значит, имели информацию». Дурная молва пойдет обо мне. Этот подонок меня на одну доску с собой поставил — вот в чем дело! Хуже того — он меня в ловушку загнал!

— Почему?

— Очень просто. Если я сейчас шум подниму — начнутся пересуды. Если промолчу — эти гады будут шептаться: мол, раз помалкивает, значит, что-то нечисто.

— Перестань! — перебил Абдулла. — О тебе могут что угодно говорить — все равно никто не поверит.

— Твои бы слова, да богу в уши, — грустно улыбнулся Овез. — А мне кажется, нынче всему поверят. С удовольствием поверят! И будут радоваться: все одинаковые, все воры и подлецы, так что нечего кое-кому нос задирать!

— Пожалуй, ты прав, — согласился Абдулла.

— И знаешь, в чем настоящий ужас? — спросил Овез и сам себе ответил: — В том, что этот парень — как будто нормальный. И с виду нормальный, и речи у него приличные. Все время называл меня яшули, как и положено обращаться старшим, с полным почтением. И понимаешь, почтение было непритворным, я по голосу чувствовал. А ведь представить невозможно, — с безмерным удивлением выговорил Овез. — Туркмен торгует падалью!

И повторил, прислушиваясь:

— Туркмен торгует падалью!

— А мечетей тем временем все больше, — вставил Абдулла.

— Вот именно, — подхватил Овез. — Человек, потерявший ишака, кричал на площади: «Тому, кто найдет моего ишака и приведет его ко мне, я дам корову с теленком!» Ему говорят: «Дурак ты, разве выгодно отдавать корову с теленком за какого-то паршивого ишака?!» А он ответил: «Пока я только бога обманываю». Так вот, нынешние мечети на каждом шагу, молитвы — пока только обман бога. Что будет дальше — я не знаю.

— А кто знает?

— Рядом с домом, где мы сейчас в гостях были, живет старик. Его как-то спросили, когда у нас жизнь наладится. Он ответил: «Когда обретем свободу от независимости».

Они попрощались, как всегда, у железной дороги.

Овез повернул к дому, Абдулла направился «в город». Так говорят жители поселка: «Пошел в город... Поехал в город».

Не получилось у них разговора «как всегда». Абдулла хотелось забыться в привычной беседе с шуточками-прибауточками из прошлой жизни. Не удалось. Как будто злоба дня сего нарочно сгустила краски и запахи, давая понять: никуда вы не денетесь, не закроетесь, не спрячетесь в прошлом.

Абдулла долго шел пешком, глубоко вдыхая чистый весенний воздух. Но освободиться от тяжелого запаха не получалось. Казалось, смрад той комнаты въелся не только в одежду, но и в душу.

4. Гамлет-террорист

— Мама, папа вернулся! — закричала Айдым.

Сельби сидела за ученическими тетрадками.

— Тебя искали, — сообщила она, не поднимая головы. — Нашли?

Абдулла вздрогнул. Сразу почудилось — искали автоматчики, от которых он прятался за пестрым камнем.

— У Овеза я был, — невпопад ответил он. — Мы на праздник к его соседям ходили.

Подскочила дочь, держа перед собой растопыренные четыре пальца.

— Четыре раза звонили из театра! Я им говорила, что ты на работу ушел, а они мне говорят, что тебя нет в театре и тебя надо найти. Я им говорю, что я не могу тебя найти, а они кричат: «Ищите!»

Айдым подпрыгнула, повернулась и ушла в свою комнату, к телевизору. Абдулла успел заметить, что она включила видеозапись группы «Тату».

— Дай таблетку, голова раскалывается, — попросил он жену.

— Мыллы звонил, он поговорил с врачом, сказал, что ты должен там быть на следующей неделе. Что у тебя с губой случилось?

— Не знаю, какой-то волдырь вскочил, болит.

— Не простудился? — Сельби положила ладонь ему на лоб. — Температуры вроде нет.

— Когда человек чем-то напуган, могут от страха волдыри вскочить?

— А может, какая-нибудь актриса неосторожно поцеловала? — высунулась из своей комнаты Айдым. — Ой, извините, я забыла, что теперь вам запретили на сцене целоваться!

Девчонка захихикала, довольная собой.

— Сколько можно твердить, чтоб ты дома разговаривала по-туркменски! — обрушилась на нее Сельби. — И перестань смотреть этих развратных девок! А ты чем напуган, что волдырь на губе вскочил? — повернулась она к Абдулле.

— Мыллы боюсь. Приснился он мне. На вершине горы стоит, а я внизу. Видит, что я стою внизу, и скатывает на меня камень, большой белый камень!

— Этот злодей по городу бегает, о тебе заботясь, между прочим.

— А почему Мыллы должен сбрасывать на меня камень?! Пусть сходит к психиатричке, узнает, что значит мой сон? Может, он втайне желает моей смерти?

— Вот разболтался, сразу видно, что на гулянке был.

— Ни глотка не выпил.

— Пап, а ты не пробовал курить анашу? — встряла Айдым.

— Закрой рот! — всерьез уже разозлилась Сельби. — И выключи это безобразие!

Айдым надулась.

Сельби протянула Абдулле таблетку анальгина и воду.

— Все! Не морочьте мне голову, спать идите, мне еще кучу тетрадей проверять!

— Папа, ты слышал, мою школу закрывают, говорят, все русские школы будут закрывать. В русских одиннадцать лет учатся, а туркменские наш Великий перевел на 9 лет. Значит, после туркменской школы я не смогу поступить в институт в Москве?

Абдулла и Сельби промолчали. Абдулла с горечью думал: «Какая Москва... Это мне повезло, я там учился, жил...»

— Папа, переведи меня в российскую школу при посольстве, — попросила Айдым. — Мама Оли говорит: «Тебя должны перевести, если твой папа пойдет в российское посольство и попросит». Я ведь после нашей школы не смогу учиться в Москве!

— Российская школа одна, а тех, кто хотел бы там учиться, — тысячи.

— Но ты ведь заслуженный артист, папа, тебе в Москве премию давали, тебе не откажут...

— Нет уже той Москвы! — не удержалась Сельби.

— Есть! Есть она! Скоро и тетю Женю, и Олю не увидим, они в Россию уезжают. Если Оля уедет, и я перестану в эту школу ходить. Тетя Женя без работы сидит, что же она, должна улицы подметать?

История врача-пульмонолога Жени Красиковой — особая даже для сегодняшней Туркмении. Ее попросили (попробовал бы кто отказаться от такой просьбы!) переписать Книгу Великого Яшули латинскими буквами. На туркменском языке![1] Женя переписала, отнесла. И там ее какой-то чин из администрации вдруг спросил: «Сколько лет Огуз-хан был падишахом?» Она ответила, как в книге написано, — 116 лет. Но добавила, что такое долголетие дается лишь героям сказок. Что тут поднялось! «Вы не уважаете нашу историю! Вы посягаете на священную книгу туркмен!..»

И нет теперь в Туркмении еще одного хорошего врача, а скоро не будет и гражданки Красиковой, и ее дочери Оли — задушевной, с детского сада, подружки Айдым.

— А что, разве тетя Женя не права? — спросила Айдым. — Если Огуз-хан правил 116 лет, то должен прожить как минимум 140 лет. А в то время люди умирали от инфекций, средний возраст был 35—40 лет. Даже сейчас уровень медицины не позволяет...

— Замолчи! — выкрикнула Сельби.

Айдым посмотрела на нее, пожала плечами и, как взрослая, заговорила не повышая голоса.

— Если будете требовать, чтобы я молчала, как немая, уйду из дома. В пустыню уйду, как Айдым из «Джан». Буду жить у чабанов, учить их детей русскому языку. Или уеду в Москву, и мы с Олей в университете будем учиться вместе. А вас мне жалко...

Айдым ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь.

Абдулла и Сельби сидели как оглушенные.

— Кто скажет, что она только в пятом классе? — прошептала Сельби. — Боюсь, хлебнем мы с ней горя.

— Еще неизвестно, с кем мы больше горя хлебаем, — ответил Абдулла.

На другой день Абдулла явился в театр на двадцать минут раньше обычного. У входа стоял Таган — директор театра, он же главный режиссер.

— Пошли в кабинет, поговорим.

Они вместе учились в институте, было время, даже в одной комнате жили. Приводили девочек с улицы. Таган просил, чтобы Абдулла расхваливал его, говорил, что он знаменитый артист, сыграл уже Гамлета и Отелло, что его в Англию пригласили... прямо завтра улетает... Абдулла смеялся: Таган не понимал, что девочки с улицы, наверно, впервые слышат имена Гамлета и Отелло. И уж никак не может важничать перед ними человек, улетающий завтра в Англию... Для Тагана и в те юные годы главное было — пустить пыль в глаза.

— Ну, говори, что за дела у тебя на стороне появились?

Таган, подражая старым мастерам сцены, сейчас изображал строгого, но справедливого начальника — персонажа известной пьесы. Никто уже не помнил, был ли Таган когда-нибудь самим собой. Он весь состоял из заученных театральных штампов. Кто-то из старых друзей на пирушке спросил при всех: «Таган, а когда ты спишь, то кому подражаешь?»

— Где ты вчера пропадал. Мы тебя обыскались.

— Узнал, что репетиции не будет, — и ушел. Что-то случилось?

— Нумад заболел, а тебя на подмену нет. Пришлось снимать вечерний спектакль.

Абдулла обрадовался. Он-то уж думал, что...

— Вот черт! — выругался с облегчением. — Надо ж так совпасть. А что с Нумадом — совсем с ног свалился?

---

[1] Президент перевел туркменский алфавит с кириллицы на латиницу.

— С ним еще хуже — из театра вылетит, как из пушки. Сказал, что заболел, а сам в Стамбул рванул за товаром. Он у нас артист-мешочник, артист-челнок — ты не знал?

— Первый раз слышу...

Абдулла врал. В таком городе, как Ашхабад, ничего нельзя утаить, даже если очень захочешь. Тем более — челночные поездки в Стамбул за товаром. Многие, кто имел возможность, так прирабатывали. Но сорвать спектакль, сослаться на болезнь и умотать в челночный рейс — чересчур. Есть закон профессии — умирай, а играй. А тут — «за товаром»! Мало того, Нумад подставил и его...

— Черт с ним, с Нумадом, — сказал Таган. Он принял позу Интеллигента В Раздумьях — положил ладонь на лоб, потом сжал большим и указательным пальцами подбородок. — Думаю, ты знаешь, что я готовлю новую постановку.

— Слышал.

— Мне поручили поставить спектакль из жизни Президента.

— Поздравляю. Но недавно прошел слух, что слово «спектакль» запретят, верно?

Таган сдвинул густые брови.

— Президент — наш Вождь. Про Вождя не спектакли разыгрывать надо, а только правду показывать. Что, если я доверю тебе роль отца Вождя?

Таган умолк, наслаждаясь произведенным эффектом. Любой должен быть счастлив, получив такое предложение. А уж Абдулла так и вовсе осыпан милостями. Вчера — роль Гюн-хана, завтра — роль отца самого Вождя.

Абдулла молчал, сам не понимая своего молчания.

— Ты в последнее время мне сильно не нравишься, — сказал Таган. — Какой-то стал безразличный ко всему. Как старый друг предупреждаю — нельзя быть безразличным в наше время!

Абдулла спохватился.

— Я не безразличный, просто устал, дочка растет, подростковые проблемы.

Как хорошо говорить, ни словом не соврав, — усмехнулся он про себя. — И не сказав и полслова правды.

— Нельзя быть безразличным, — вещал тем временем Таган. — Ты должен усвоить одну истину — сейчас пришло время национальных идей, пришло время, когда надо служить национальному интересу! Я сам, моя семья, моя Родина, мой народ, мой Вождь — это совокупные национальные ценности, одно от другого нельзя отделить.

Абдулла смотрел на него с интересом. Вот как заговорил Таган. Где только слова выучил. У них там, среди начальства, политические спецкурсы проводят, небось...

— Мы даже можем назвать Вождя диктатором, если это соответствует национальным интересам. Не надо этого бояться. На начальном этапе независимости диктаторы могут сыграть историческую роль. Главное — диктатор из своих, а не из чужих. Ведь «меч не режет собственные ножны». Только у туркмен нет такого слова и понятия — диктатор. Туркмены испокон называют своих национальных лидеров сердарами — то есть воителями, вождями. Мы ничего не придумываем — мы возрождаем национальные традиции. У истоков любой национальной идеи стояла великая личность. И наоборот — национальная идея выводит на арену истории большую личность. Даже Сталина создала идея. Видимо, умные люди поняли: не сотворив кумира, не удастся вести народ в нужном направлении...

Слова Тагана постепенно превращались в ровный шорох осыпи мелких камней. Вдруг перед глазами возник пестрый камень, который летел вниз. Абдулла знает, кто там стоит, внизу, а Таган не ведает...

— Ты слушаешь меня?

— Да, слушаю...

— И что скажешь?

— Вот думаю, а что если нам «Гамлета» поставить? Ты — хозяин театра, я еще

не стар для роли Гамлета, и Офелия своя есть. Скажи Джамал — она в пять дней похудеет на десять кило. Поставим вопрос ребром: «Быть иль не быть?» Самое время в эпоху национального самосознания, как считаешь?

Таган, сжав губы, смотрел в упор.

— Ты это серьезно?

— Разве я похож на шутника?

— А знаешь, чем это пахнет?

— Не знаю. Запах другой?

— Это ты поймешь, когда тебя самого заставят нюхать.

— А что, и на «Гамлета» запрет?

— Сейчас не время вопросов — сейчас время ответов на вопросы! Какую идею собираешься ты выразить, сыграв Гамлета в стране, только обретшей национальную независимость?

Сейчас Таган вошел в образ Ленина. Таким, каким его изображал знаменитый актер. Засунув одну руку в карман брюк, прошелся до окна и обратно.

— А знаешь, кто твой Гамлет, если взглянуть на него с позиций XXI века? — спросил он.

— Ну-ну... — усмехнулся Абдулла.

— Террорист — вот кто!

Абдулла опешил.

— Да-да! — разгорячился Таган. — Конечно, с долей условности, но...

Таган выдержал театральную паузу.

— Шекспировский Гамлет хочет отомстить дяде. А твой Гамлет кому должен мстить? Мы прозевали караван, проходивший мимо нас. Когда мы на сцену выводили в качестве спасителя Назара Чагатаева, именно в это самое время нашу империю разрушали изнутри. Ушло время бесполезных поисков, сплетен, споров, которые способны отвлечь внимание от высоких целей! «Быть иль не быть?» Перед кем ты собираешься ставить вопрос? Народ не хочет задаваться пустыми вопросами, народ хочет спокойной жизни. Нынешний туркмен уже не тот средневековый туркмен с безумной отвагой и горячей кровью. Не знаю, на пользу это нам пошло или нет, но факт есть факт.

А ведь он в чем-то прав, думал Абдулла, покидая директорский кабинет и вспоминая сборище в поселке у железной дороги.

5. Солдат, сын артиста

Абдулла получил письмо от сына из армии. Обычно к нему ездила Сельби. На этот раз Хыдыр просил приехать отца. Значит, что-то случилось.

Абдулла был в войсковой части лишь раз, в самом начале службы. Поговорил тогда с командирами, они заверили, что к Хыдыру у них отношение особое, он и здесь будет работать по гражданской специальности. Так и сказали: по специальности. Сын прошлым летом окончил художественное училище, получил диплом оформителя сцены. Сам Абдулла в армии не служил, но по рассказам товарищей знал, что художников там ценят. Выкликали перед строем, и если призывник «по гражданской специальности художник», спрашивали: «Маркса—Ленина нарисовать сможешь? Тогда ступай в клуб».

Маркс—Ленин теперь на задворках, зато вместо них повсюду портреты Великого Яшули.

Абдулла сел в поезд вечером — и всю ночь промучился в душном купе. Вагоны старые, списанные еще при советской власти, окна наглухо заколотили зимой и поленились открыть к лету. Из туалета несет жуткой вонью. Наверно, поэтому приснилась ему очередь в это самое заведение, в основном из женщин. Увидев Абдуллу, они посторонились, пропустили его. Он вошел, думая, что там обычный туалет на

одного, а оказалось — что-то вроде общественного сортира в парках культуры и отдыха, на десяток дыр в цементном полу, и сидят на них женщины. Но Абдулла не стесняется, садится рядом, одна из женщин даже пытается заговорить с ним. Но он не отвечает, выходит, как ни в чем не бывало, из кошмарного общественного сортира и у входа видит труп с разбитой головой. Тут же — увесистый пестрый булыжник, пестрый от пятен крови. Увидев его, Абдулла присмотрелся к трупу и с ужасом узнал в нем Великого Яшули! Бросился бежать, не помня себя, мчался так, что слышал из-под ног непрерывный стук. Сквозь морок сообразил, что это стук вагонных колес, и понял: приснилось...

И впервые подумал: а ведь у него, похоже, действительно крыша поехала. Только на чем? Ведь глупее не придумаешь. Какое ему дело до Великого Яшули. Кто он и кто Великий Яшули? Смешно.

Рано утром поезд пришел в областной центр. Отсюда до части — километров десять. Благо автобусов ждать не надо, потому что их нет — маршрут отменили после наступления независимости. Зато частники бросаются на каждого пассажира, как ястребы на зайца. Хорошо промчаться по утренней прохладе с открытым боковым окном, чтоб выветрило вагонную вонь из ноздрей, развеяло муть в голове.

Частник попался разговорчивый. Рассказывал, кем он был в прошлой жизни — инженером по механизации, имел работу, зарплату, авторитет. Сообщил, что войсковая часть в прежние времена была на особом режиме как засекреченный склад боеприпасов. Птица пролетит — лишится крыльев, дикий кулан промчится — останется без копыт. Двойное ограждение. Сейчас его просто растащили по кусочкам, разворовали и продали: столбы, провода, бетонные плиты... — все! Как говорится, досталась сумасшедшему похлебка!

Два изможденных, обтрепанных солдата вышли к Абдулле у железных ворот КПП — контрольно-пропускного пункта. Провели на территорию части. Остановились в тени дежурки.

— Отец, закурить не найдется? — сразу же спросил тот, что поздоровее. Как видно, старший по наряду.

— Да я не курящий.

— И сын не курит?

— Не курит.

— В армии нельзя не курить, отец. Атда, ставь чайник, угостим отца чаем, устал с дороги, небось. В такую жару сидеть в тени невозможно, не то что ехать хрен знает куда. А заварку, отец, ты привез? Или сын твой и чай не пьет?

— Нет, заварка имеется.

Тот, которого звали Атда, пошел в комнату дежурных, волоча тяжелые сапоги.

— А я пойду позвоню, узнаю, где твой сын, — сказал старший.

Абдулла огляделся. Двухэтажное кирпичное здание с добротными стенами — только окон и дверей нет, черные проемы зияют. Удивительно, почему на кирпичи не разобрали. Фонтан перед ним разрушен и загажен, деревья высохли лет пять назад. Прямая дорога от контрольно-пропускного пункта в глубь территории выбита и выщерблена, чуть ли не в рытвинах и ухабах. Правда, можно догадаться, что когда-то была покрыта ровным асфальтом. Значит, нет в ней нужды.

Вернулся старший дежурный.

— Велели передать, что ваш сын на учениях. Обещали, что вечером привезут.

При этом улыбался, будто радовался.

— В неудачное время приехал, отец, нас постоянно на учения забирают, — добавил он уже не с улыбкой, а с двусмысленной ухмылкой. — Эй, Атда, ты чайник поставил ?

— Уже вскипел, заходите, — послышалось из дежурки.

— Идем, отец, посидим немного. До вечера. Атда, выйди, отнеси поклажу отца!

Подошел Атда, схватил сумку Абдуллы и согнулся от тяжести, споткнулся и чуть не упал. Старший тут же отвесил ему пинка под зад. Поняв по виду, что Абдулла осуждает, пояснил:

— Отец, таковы порядки в армии. Я здесь старший, Атда в моем подчинении. Как говорил мой отец, стремись в начальники хотя бы над одним человеком.

Абдулла достал из сумки ковурму — мелкие кусочки мяса, обжаренные в жире, пресную лепешку, испеченную в тамдыре. Солдаты ели степенно, соблюдая приличия при старшем по возрасту. Но ясно было, что голодны.

— Чем вы тут занимаетесь?

— Служим! Как говорится, не ослов пасем, хе-хе...

— А что за служба?

— Что ты, отец! Военная тайна. Нам ее дали — и мы ее храним, так ведь, Атда?

Судя по всему, старший дежурный был не дурак — по крайней мере, остер на язык.

— Мы с Атдой друзья, — разглагольствовал он, размякнув от вкусной еды, утирая пот со лба. — Эй, скажи, я ведь защищаю тебя?

— Да, защищаешь.

— Вчера его могли размазать по стенке за то, что он стащил анашу у пацана, с которым они на одной кровати спят. А у того земляки, из одного аула, они прижали Атду в углу... Но тут я подоспел...

Атда шмыгнул носом:

— Да соврал он, не брал я его анашу! И так жрать нечего, а от анаши на жратву еще сильнее разбирает.

— Есть в части пацаны и поздоровее меня, — продолжал хвастаться старший дежурный. — Но и они меня боятся. Почему? Потому что я бью первым. Так отец меня учил. Говорил: бей первым, изо всех сил, а потом тебе останется только добивать. И собака у меня дома боевая, первая на всех кидается. Кличка у нее Ханджар — боевой нож, так отец ее назвал. Отец говорит: «Если хочешь кого-то накормить — накорми злую собаку». Мой пахан — крутой мужик. Не то, что другие. Приезжал тут один, к сыну, мы с ним побазарили немного. Так он считает, что первой нападает трусливая собака. Мол, от своей трусости. Ну ниче не понимает в жизни мужик!

Как только Атда вышел, старший дежурный наклонился к Абдулле:

— Сын твой не на учениях. И вечером его не привезут. Скажут тебе, что, мол, неурядицы, с машинами проблемы. Будут мурыжить, пока сам не уедешь. Ты лучше иди на дорогу, двигайся по ней к заходу солнца. Увидишь сад. Пройдешь его и попадешь в большое село. Спроси дом Реджепа Шаллы, нет человека, который не знал бы его, тудыть-растудыть.... Понял?

— Что он там делает?

— Увидишь сам, когда придешь. Если командир узнает, что я тебе сказал, меня тут со свету сживут. Так что молчи, как верблюд, даже сыну не говори, откуда узнал. Оставь мне бутылочку коньяка, а я передам ротному командиру. Чтоб шум не поднимал — он же узнает, что ты был у сына...

Поймав машину на дороге, Абдулла быстро добрался до села, до усадьбы на его окраине. Трехметровый кирпичный забор отгораживал ее от остального аула. Ворота венчала высокая арка. Над ней — государственный флаг Туркмении. Чуть ниже — портрет улыбающегося Великого Вождя и Отца Всех Туркмен. Еще ниже — прибиты рога горного барана. Все вместе, как ни странно, не создавало впечатления пошлости и безвкусицы, характерных для домов так называемых новых туркмен. Наоборот, чувствовалась некая государственная строгость и мощь. Абдулла даже поискал глазами табличку с названием учреждения или организации, расположенной за этими грозными воротами. И нажал кнопку звонка не без робости.

Ждать пришлось долго. Почему-то думалось, что выйдет солдат или строгий гражданский служитель. А появился мужик с огромным животом, в тюбетейке на лысой голове. Не поздоровался, слова не сказал, лишь стал оглядывать Абдуллу пристально и с подозрением.

— Я приехал навестить своего сына, солдата Хыдыра Нурыева, — со всей

строгостью и жесткостью в голосе сказал Абдулла. Он знал таких холуев. Они вежливые просьбы считают за слабость. — Это дом Реджепа Шаллы?

— Кто тебе сюда дорогу указал?

— Язык до Мекки доведет.

— Надо ж... Скажи спасибо, что нет сейчас самого яшули.

И закрыл калитку. Абдулла решил подождать, не звонить. Начнешь звонить — покажешь суетливость. Что-то в голосе толстого мужика подсказывало, что он позовет Хыдыра или доложит, кому следует.

Действительно, минут через двадцать вышел Хыдыр. Без пилотки, в грязной, заношенной гимнастерке, на ногах старые ботинки, подошва чуть ли не отваливается, без ремня... Поздоровался без радости, почти как с чужим, разве что не надоедливым человеком. Дошли до арыка, сели в тени ив.

— Не нужно было сюда приходить, — хмуро сказал сын.

— Был в твоей части, сказали, что ты на учениях. А ты, оказывается, вон где. Что тут у вас происходит?

— Не нужно было сюда приходить, — повторил сын. — Они б за мной приехали, отвезли в часть, там бы мы и встретились.

— Какие могут быть учения в ауле, что за тайны? По виду твоему никто не скажет, что боевой солдат на стрельбах. Кто такой Реджеп Шалла?

— Богатый человек.

— А тот, который открыл калитку?

— Один из его слуг.

— А Реджеп Шалла здесь глава администрации, хаким?

— Нет, у него четыре магазина в городе и ресторан. Когда привозит товар, мы выгружаем.

— Чем торгует?

— Всем. И наркотиками тоже.

— Наркотиками? И вы об этом знаете? Открыто говорите?

Хыдыр взглянул на отца с удивлением.

— Открыто никто не говорит и тебе не советую. Особенно маме ничего не говори. А то беды не оберетесь. Понял? У Реджепа в городе дворец, турки строили. А здесь домишко на пятнадцать комнат и командир войсковой части в дружках.

— Что за «учения» тут у вас?

— Сарай для скота строим.

Абдулла слышал, конечно, что солдат отдают на батрачество богатым. Но чтоб сын туда попал! Да еще после обещания оставить его художником!

— Это что за национальная армия такая! Вы должны службу нести, а не сараи строить! Иди, забирай вещи, поедем.

— Куда?

— В твою часть! Поговорю с командирами твоими!

Хыдыр смотрел на него, как на дурачка.

— Да ты что, папа. В части жрать нечего, там солдаты объедками не брезгают. Здесь хоть кормят...

Хыдыр, когда торопился или нервничал, переходил на русский язык.

Абдулла опомнился. Он ведь если не знал, то слышал... Так чего ж распаляться впустую. Действительно, так можно только повредить сыну.

— Нет тут места, где можно устроиться и поесть? Я много чего привез, мать и сестренка напекли тебе, нажарили.

— Оставь все здесь, а сам уезжай. Сейчас у меня аппетита нет. Недавно отравление было, забрали в городскую больницу, промыли кишечник, капельницу ставили.

— Да ты что! А мы почему ничего не знаем?

— Зачем я буду вас беспокоить...

— Значит, ждешь очередного отравления? И вообще, почему тебя из города перевели сюда?

— Этот вопрос со мной не обсуждали.

— Но я же договаривался насчет тебя. Они ведь знают, кто я!

Хыдыр засмеялся, стали видны синие прожилки на лице.

— Думаешь, они знают что-нибудь про твой театр?! Они в жизни ни одной книги в руки не брали! Когда спрашивают, я говорю, что ты в школе работаешь.

— Отец твой заслуженный артист республики! Ты должен с гордостью говорить!

— Папа, — умоляющим тоном сказал Хыдыр. — Они артистов считают клоунами. Прошу тебя, не говори им, что ты актер!

Так... Значит, сын теперь стыдится своего отца... Абдулла смотрел на портрет Великого Яшули над помпезными воротами и вдруг подумал, что его портрет здесь выполняет как бы роль охранника. Почти как тот толстопузый, в тюбетейке.

Хыдыр вдруг сказал:

— Что хотите делайте, но переведите меня поближе к дому, иначе я здесь не вылечусь.

— Неужели даже в городской больнице обыкновенное пищевое отравление не могут вылечить?

— Не понял ты меня, папа...

— Раз ты понимаешь, надо было остаться в городской больнице и твердить им, что не уедешь, пока не обследуют, не вылечат до конца.

Хыдыр сидел, не поднимая головы. Потом сказал:

— У меня болезнь другая...

— Что?

Истина медленно доходила до Абдуллы. Вместе с ней его охватила невиданная ярость

— Встань! — заорал он. — Смотри мне прямо в глаза! С какого времени?

— Как здесь оказался, так сразу. Все ребята здесь...

— Все?

Абдулла, не помня себя, ударил сына по лицу.

— Позор! У нас в роду никогда наркоманов не было!

Хыдыр даже не пошатнулся.

— Да пошел ты, артист! — с презрением выговорил он и направился к воротам.

Абдулла опомнился, закричал вслед:

— Вернись!.. Хыдыр, вернись — тебе говорю!.. Постой сынок... возьми хоть продукты, мама же прислала...

Хыдыр даже не обернулся.

Ярость Абдуллы искала выхода. Казалось, сейчас он способен разнести эту гнусную крепость на кирпичики, добраться до Реджепа и взять его за глотку: «Ты, скотина жирная! Ты наших детей убиваешь!» Если не здесь, то в городе он его найдет, доберется...

Вместе с тем частью разума понимал, что не в силах, ничего не может сделать — и ярость гнева сменялась яростью бессилия.

Абдулла нажал на кнопку звонка. Вновь вышел толстопузый.

— Где можно найти твоего хозяина?

— В Афганистан уехал, — протяжно, лениво выговорил толстяк. — Если есть жалобы, обращайся к командиру части.

«Что, за новой партией героина?» — чуть не спросил Абдулла. Но вовремя удержался.

— Передай эту сумку Хыдыру Нурыеву, — обратился к нему Абдулла. — Тому парню, что сейчас выходил, это мой сын... А еще... А еще хотел я сказать несколько слов твоему хозяину.

— Можешь сказать мне, я передам.

Абдулла хотел произнести: «Передай ему, что я назвал его сволочью», но передумал.

— Скажи: очень хорошо, что он над воротами повесил портрет Великого Яшули. Очень кстати. Твой хозяйчик знает, что делать.

Толстяк выслушал, не выказывая никаких чувств, взял сумку и закрыл калитку перед носом Абдуллы.

— Все! Теперь судьбой Хыдыра только я буду заниматься! — заявила Сельби. — Чтоб ты и близко не подходил, понял?

Сказано было резко. Получилось, отстранили главу семьи, резко и грубо отстранили. Но Абдулла не обиделся, не стал показывать дурной гонор: мол, я мужчина, я должен решать! Когда речь о детях, право матери даже всевышний не в силах оспорить. Самое святое на свете право.

Но и он, мужчина, должен готовиться ко всему, к решительным поступкам. А способен ли он на них? Что он может вспомнить? Прошли времена, когда воин-джигит мечом защищал честь и жизнь семьи, кровью врага смывал оскорбления и обиды, отвечал ударом на удар. Современная жизнь не требует от мужчин таких поступков, она превращает их в беззубых клерков. А ведь иногда требуется не только мужество, но и жестокость. Абдулле некстати вспомнилось, как однажды, один-единственный раз за все годы на этом свете, он убил. Ему десять лет тогда было. В юрту, где хранились припасы, повадился какой-то зверек, воровал засоленное мясо, хранящееся в бараньем желудке — *карыне.* Мать сокрушалась, что скоро они без запасов останутся, и Абдулла, вооружившись тяжелой дубинкой, устроил засаду. Увидел, как через дымовое отверстие юрты спускается большой желтый кот, уверенно подкрадывается к *карыну* и ловко вытягивает оттуда куски засоленного мяса. Абдулла изо всех сил запустил в него дубинкой, она попала коту в голову. Он коротко мявкнул и желтым мешком свалился на землю. Из оскаленного рта вытекла струйка крови и глаза вывалились из орбит.

Абудлла выскочил из юрты и скорчился в плаче и в судорожной, долгой рвоте. На всю жизнь остался кошмар — глаза желтого кота, вывалившиеся из орбит.

6. Моисей и Великий Яшули

Перед тем как войти в подъезд четырехэтажного крупнопанельного дома, Абдулла огляделся. На улице начинало темнеть, тихо и спокойно, ничего подозрительного. Легковая машина проехала мимо, не сбавляя хода. Пожилая женщина, выйдя из маленького магазинчика, перекладывает продукты в сумке. Пробежали мальчишки, размахивая палками, как саблями.

Поднявшись на третий этаж, он остановился перед синей деревянной дверью, к которой гвоздями прибита жестяная табличка с номером «12». Когда он приходил сюда последний раз, все двери на площадке были деревянные. Теперь люди отгородились от мира и от его опасностей пуленепробиваемыми железными щитами. Только квартира Белли Назара какой была, такой и осталась. И сам он — тоже.

Абдулла прислушался к тишине. За дверью слышались голоса детей, радостные крики. Неуверенно нажал на кнопку, лишь один раз. Дверь долго не открывали. Или ему показалось, что долго. Абдулле чудилось, что из соседней квартиры, через дверной глазок, за ним наблюдают. Берут на заметку: кто это пришел к опальному писателю? В деревянной двери глазка не было, и он боялся, что спросят: «Кто?» И тогда придется громко, на всю площадку, называть свое имя и фамилию. Он уже хотел уйти, но тут дверь отворилась — на пороге стоял сам Белли Назар. Лицо хмурое, настороженное, будто заранее приготовился к приходу неприятных ему людей, к дурным вестям.

— Салам алейкум, яшули, — поздоровался Абдулла.

Настороженность сменилась удивлением, затем — улыбкой.

— Дорогой мой, какими судьбами?

Из-за спины Белли Назара протиснулся малыш лет пяти.

Белли Назар погладил его по голове:

— Мурад-джан, как раз к нам дядя артист пришел! Он на твои рисунки посмотрит!

Белли Назар говорил негромко, но Абдулле казалось, что голос его разносится по всему подъезду, и во всех квартирах заинтересовались: что это за артист? Абдулла невольно рванулся в прихожую, чуть ли не оттесняя Белли Назара. И едва не наткнулся на второго малыша, лет двух, беленького, рыжеволосого. Видимо, его задержали или он не слышал звонка и сейчас топал ножками, спешил, боясь пропустить интересное событие. Белли Назар поднял его на руки, поцеловал в пухлые шечки:

— Мои внуки! Керим-джан, сынок, поздоровайся и ты с дядей.

Малыш хотя и смотрел с опаской, но ручку протянул, как взрослые делают.

— Мурад-джан, веди дядю в кабинет, покажи рисунки. Вчера их детсад водили в русский театр, — пояснил Белли Назар. — И он нарисовал сцены из театра. Ты как артист должен оценить! — засмеялся Белли Назар.

Они вошли в комнату, хорошо знакомую Абдулле. Не раз приходили сюда с Таганом. Правда, очень давно это было. Но за годы здесь ничего не изменилось. Письменный стол у окна, перед ним тяжелое старое кресло, рядом журнальный столик, на полу ковер. Три стены закрыты книжными шкафами, сплошь увешанными детскими рисунками. Яркие, фантастические фигурки придавали строгому кабинету легкость и веселье.

Абдулла смотрел, будто первый раз видел, как рисуют дети.

Мурадик тихонько дернул его за рукав, показал пальцем. На обычном листе бумаги он изобразил театральную сцену. Синий занавес раздвинут, артисты вышли к зрителям на поклоны. Две женщины, четверо мужчин. На заднем плане забор и домик, дерево. Под деревом собака и кошка. И над всем — над людьми, домом, деревом, над кошкой и собакой — летают пчелы. Большие, яркие, с желтыми крыльями и с оранжевыми туловищами.

— Где он пчел там видел? Как он их увидел? Это ж поразительно! — невольно вскрикнул Абдулла.

— В том-то и секрет, — улыбнулся Белли Назар.

Абдулла вспомнил, как Хыдыр, когда был маленьким, рисовал машины, потом перешел на танки. После поездки в аул главными у него стали ишаки. Правда, выходили они огромными, больше лошадей, с длинными хвостами и длинными плоскими ушами. Тогда он повез сына в ближний к Ашхабаду аул, показал ишака и начал сравнивать его с рисунком сына: «Смотри, внимательно смотри! Видишь, у ишака хвост не такой длинный, и уши поменьше, и ростом он ниже. Запомни!»

После этого Хыдыр перестал рисовать ишаков.

Как сложится судьба Мурада и Керима? Ведь они — внуки Белли Назара. А он стал врагом для власти десять—двенадцать лет назад, после выступления на единственном в Туркменистане митинге. Митингов здесь не было даже в годы перестройки. Только один — во время ГКЧП. Созванный ЦК КП Туркменистана во главе с нынешним Великим Яшули. Тогда его называли просто яшули. Слова Белли Назара на том митинге теперь знает и повторяет про себя, тайком, каждый образованный туркмен. «У нас в Туркмении вместо демократии строится феодальная демократия! — сказал Белли Назар. — Пусть туркмены задумаются: согласны ли они жить при феодализме, прикрытом лозунгами национализма?!»

Таган собрал актеров и рассказал им обо всем, что происходило на митинге. «Яшули не простит ему этого», — заключил он.

Как в воду глядел. Впрочем, тут много ума не надо. Постепенно имя Белли Назара оказалось под запретом. Издательства вернули его книги, пьесы сняли с репертуара, в газетах, в журналах, тем более на радио и телевидении он вообще не упоминался. Говорили, что он теперь частенько выступает не то на радио «Свобода», не то на «Голосе Америки». Но Абдулла, как и все вокруг, ничего такого не слушал. Время от времени возникали слухи, что Белли Назара тайно бросили в тюрьму, что он бежал за границу. Ашхабад — маленький город, даже если ты не выходишь на люди,

все равно о тебе знают. Как можно тайно посадить в тюрьму? Тем более — тайно выехать за границу?

Тут все зависит от личности, от масштаба личности, от масштаба поступков. Писатель Белли Назар бросил вызов Великому Яшули — и потому слухи будут постоянными, пока кто-либо из них не уйдет в мир иной, откуда никакие слухи не достигают грешной земли...

Интересную позицию занял тогда Таган. «Нам временно придется забыть о драматурге по имени Белли Назар, — говорил он. — Иначе нас всех попросят искать другую работу. Вероятно, Белли Назар станет знаменитым как правдолюбец и диссидент, про нас, вероятно, кто-то скажет: «Угодники». Однако умение определять, какие слова к какому времени нужны, — тоже ведь талант! Такого таланта у человека по имени Белли Назар не имеется...».

Последний или предпоследний год существования СССР. Спектакль «Джан» по повести Андрея Платонова получил в Москве Государственную премию. А в самой Туркмении началась травля. Поскольку народ джан, потерявший память, скитается в Каракумах, а Каракумы — исконная территория обитания туркмен, значит, писатель Платонов имел в виду туркмен и только туркмен. Но туркмены никогда не теряли памяти, тем более — исторической памяти. Следовательно, все написанное Платоновым — злостная, гнусная клевета на великий и гордый народ. Кто-то договорился до того, что, мол, правильно сделал Сталин, запретив печатать Платонова. Однако Платонов — русский, он может писать, что ему в голову взбредет, выдумывать, понятия не имея о далекой жизни и далеких Каракумах. Но почему сами туркмены, так называемая перестроечная туркменская интеллигенция с восторгом принимает клевету на свой народ? Более того — ставит по мотивам злобных измышлений спектакль в национальном театре? И как понимать премию, данную именно в Москве именно этому спектаклю? Очень странно... Были у нас спектакли о наших героях — их Москва не замечала. А стоило поставить на сцене нечто, унижающее великий туркменский народ, — сразу же признание!

Белли Назар тогда выступил в московской прессе, высмеяв дураков. Не просто высмеял — предупредил: «Националистическая риторика разрушительна не только для политики, морали, нравственности, духовных устоев народа — она разрушительна для экономики страны».

Бесполезно. Дураки победили. А если победили — разве можно назвать их дураками? Сейчас Абдулла думает, что побеждает не разум, не мысли, умные или неумные, — побеждает власть. Если бы власть поддержала Белли Назара — все бы говорили, как глупо обижаться на Андрея Платонова и тем более глупо сопоставлять себя с народом джан. Но Великий Хозяин повел страну по другому пути. И теперь все утверждают, что в Каракумах никогда не было и не может быть никакого иного народа, кроме туркмен. Поэтому спектакль «Джан» — вредный и клеветнический. А цивилизация Каракумов насчитывает десятки тысяч лет. Здесь найдены древнейшие скульптурные изображения женщин, так называемые палеолитические Венеры, им сорок тысяч лет. Следовательно, туркменам и туркменской великой культуре не менее сорока веков.

Раз Каракумы принадлежат туркменам, значит, и вся история, все события, здесь происходившие, — туркменские.

Получилось, как в поговорке: «Кто пришел последним — тот все и присвоил».

Молодая невестка Белли Назара расставила на журнальном столике чайник, чашки и сладости, увела детей. Сейчас начнется разговор. О чем? Зачем пришел сюда Абдулла? Он и сам не знал. Вроде бы хотел посоветоваться, как быть с Хыдыром. Только ведь решено, что его проблемами будет заниматься Сельби. Да и какой из Белли Назара советчик по такому конкретному делу? Тут нужны люди, хорошо знающие, что к чему во власти, в тех кабинетах, где отдают команды военным. Да и жалобу Абдуллы писатель может расценить как недовольство властью, чего совсем бы не хотелось. Не дай бог еще расскажет по каким-нибудь «радиоголосам» на

Западе и превратит Абдуллу в диссидента. Даже если не назовет его имени, разве трудно выяснить, кто приходил, чей сын служит и что с ним случилось. От этой мысли Абдуллу прошиб холодный пот.

Белли Назар, конечно, догадывается, что Абдулла, после стольких-то лет, пришел к нему не просто так. Сейчас в его дом не приходят просто так. Оставался один выход — ничего не рассказывать. Мол, пришел проведать, послушать мудрого человека. Что само по себе похоже на вызов. Неудивительно, если завтра в театре начнут шептаться, и Таган заведет его в кабинет для *дружеской* беседы и даст *дружеский* совет...

Белли Назар усадил Абдуллу в кресло, подвинул к нему пиалу с чаем, конфеты, вишневое варенье, маленькую ложечку и блюдце. Налив и себе пиалу чая, расположился за рабочим столом.

— С годами начинаешь понимать, что такое книги на все времена, — сказал он. — Каждое поколение открывает в них свое. Сейчас мы — совсем другие, нежели десять-пятнадцать лет назад. У нас другие глаза. Мы читаем и другими глазами, другой душой чувствуем.

Абдулла покивал. Все верно, он и сам не раз об этом задумывался. Эту мысль с особой силой обнажает театр, ведь театральные режиссеры ставят классику каждый раз по-новому. Не дурью же маются, что-то ищут и видят там...

— Прочитал я недавно «Джан», — продолжал Белли Назар. — И отчетливо увидел там библейские параллели. Точнее — судьбы. Назар Чагатаев спасает народ джан, выводит его к новой жизни, получив мандат от советской власти. Но ведь точно так же Моисей спасает, выводит евреев из египетского плена. И у него повеление свыше. Да простится мне, — мандат от Бога.

Белли Назар усмехнулся, отхлебнув чай из пиалы.

— И верно, яшули! — подтвердил Абдулла. — Сюжет совершенно библейский. Как это никто не заметил?!

— Кто не заметил, а кто заметил — и промолчал. Чтоб не усложнять судьбу книг Платонова. А теперь я вижу рядом с Моисеем и Назаром Чагатаевым знаешь кого?

Абдулла всем своим видом показал, что даже и не догадывается.

— Нашего Великого Яшули я вижу — вот кого!

Д-да... Белли Назар кого хочешь огорошит. С такими людьми всегда неуютно, тревожно.

— Ты не удивляйся, а подумай, — улыбнулся писатель. — И поймешь, что так оно и есть. Только Назар Чагатаев — человек времен становления советской власти, а Великий Яшули — фигура эпохи упадка, разрушения коммунистической империи. Как он стал тем, кто он есть сейчас? Кто ему выдал мандат доверия?

— Вроде как народ, — ответил Абдулла, вкладывая в слова, в интонацию некий двойной смысл, едва заметную иронию. Как хочешь, так и понимай. К кому хочешь, к тому и отнеси иронию.

— Совершенно верно! — подхватил Белли Назар. — И то, что народ, и то, что «вроде как народ».

Абдулла окончательно убедился, что напрасно пришел. Ничем хорошим не кончится. А слух нехороший поползет. Зачем ему эта слава? Особенно сейчас, когда с Хыдыром так тревожно. Тут нужен надежный фундамент, бетонная стена за спиной, а он — с диссидентом встречается и беседует... К счастью, Белли Назар не замечает беспокойства, охватившего Абдуллу. Понятно, у человека накипело на душе, ему важно сейчас выплеснуть свои мысли.

— Логикой здесь ничего не объяснишь. Но и без логики не обойдешься. Смешно говорить, что Великий Яшули победил на выборах. Кого он победил, когда побеждать-то было некого. Но это мелочи... Допустим, он пришел, чтобы спасти народ. От чего? Говорят: от коммунизма, от советской империи. Но почему наш народ должен спасать от коммунизма бывший первый секретарь ЦК компартии, сатрап и верный слуга той империи? Такой верный, что империя вручила ему власть над колониальным народом. Разве не смешно? А самый главный вопрос в другом. Хочет ли народ

спасаться? Понимает ли народ глубину своего падения? Если б понимал, разве доверился бы вчерашнему наместнику коммунистической империи. Мне кажется, это неразрешимые, безответные вопросы. Ни сам народ в себе разобраться не может, ни мы, так называемая интеллигенция...

Долгая пауза повисла в кабинете. Это самое сложное, — думал Абдулла. — Никто ничего не понимает...

— Нет веры! — выкрикнул Белли Назар. — Нет твердой веры. За Моисеем был Бог. И какие бы невзгоды ни обрушивались на евреев, пророк Муса не метался в поисках выхода, а обращался к Богу, и Бог даровал чудо. Но тем не менее сорок лет водил Моисей свой народ по пустыне, чтобы умер последний человек, родившийся в рабстве.

— Мы не евреи, но у нас тоже есть пустыня, — пошутил Абдулла.

Белли Назар засмеялся, посмотрел на него с удовольствием. Абдулла приободрился. Вот что значит вовремя нужное слово вставить. Вроде бы и пошутил, но к месту и ко времени, показал себя умным и легким человеком.

— Назар Чагатаев тоже верил, — построжал Белли Назар. — И его вера была, наверно, посильнее, чем вера пророка Мусы. Он в советскую власть верит больше, чем Моисей в Бога. Не ждет чуда, а испытывает себя и свой народ до конца, до предела. И если обращается за помощью к власти, то знает: чуда не будет, помощь придет не скоро, надо до нее дожить, дотерпеть.

Белли Назар хлебнул остывший чай.

— И Моисей, и Назар Чагатаев свое предназначение исполнили. Обрели место в истории своих народов. А третьему нашему герою будет ли место? Куда он собрался и куда должен повести народ? Все почему-то думают, что бедный народ обязательно нужно куда-то вести. Великий Яшули объявил, что туркмены — не такие, как все, и Аллах это видит. Всех смертных он сотворил из глины, а туркмен — из света. Видимо, Аллах поведал это Великому Яшули лично. Но если туркмены — богоизбранный народ, то почему их надо куда-то вести, как ишаков к водопою. Они сами должны вести человечество, разве не так?

Белли Назар смеялся. И сразу не понять, то ли с сарказмом, то ли изумляясь логическим нелепостям.

7. Энергия страха

Раздался дверной звонок. Послышался незнакомый мужской голос, баритон. Мурад позвал дедушку. Белли Назар вышел. Баритон почтительно поздоровался с ним.

— Нам надо сверить проживающих в квартире с домовой книгой.

— Вы что, теперь каждый месяц будете приходить и сверять? — спросил Белли Назар. — Ровно двадцать дней тому назад приходили.

— Те, наверно, были из районной администрации, а мы — из городской, яшули.

— Вместо того чтобы время тратить, могли бы взять районные бумаги.

— Не беспокойтесь за нас, ведь тратится наше время, — вступил в разговор другой голос, более низкий, и, как показалось Абдулле, угрожающий.

— Да, вы тратите казенное время, а у меня — мои нервы и терпение! — раздраженно ответил Белли Назар.

— Яшули, мы ведь не только к вам пришли, — примирительно произнес баритон.

— Те, которые из района, тоже так говорили. Я на следующий день спросил соседей — ни к кому, кроме нас, не заходили. Так и скажите — из органов, мол, и не чего-то там проверяем, а мотаем нервы по приказу начальства.

— Хочешь сказать, что работники органов не имеют права приходить? — уже откровенно угрожающим тоном спросил бас.

— Да какой же дурак будет с вами спорить и связываться? — зло засмеялся Белли Назар.

— Яшули, немало тех, кто пускает к себе приезжих, незарегистрированных. Вот мы и проверяем, — не оставлял попытки примириться обладатель баритона.

— Ну так сверяйте, спрашивайте! — раздался женский голос. Видимо, жена Белли Назара. — А ты иди к себе в кабинет, не нервничай, я сама разберусь.

Однако Белли Назар, судя по шагам, направился в кухню или на балкон. Наверно, чтобы успокоиться, не показываться перед гостем с раздраженным лицом. А чем же Абдулле теперь себя успокоить? А что, если они пройдут смотреть по комнатам? Спросят, кто он такой, что здесь делает. Может, и пришли не случайно, а видели его, или соседи доложили. Кто это там средь бела дня, на глазах у всех навещает отверженного? Извольте-ка объясниться. Какова цель прихода? Ну, поговорить о литературе, об искусстве. Правда, в нашей стране уже и забыли, когда вели такие разговоры. Скажут: «Ты что, идиот, не нашел никого другого, кроме Белли Назара, чтобы о своей культур-мультур потрепаться? Теперь пеняй на себя, ты с ним одной веревочкой связан и состоишь у нас на учете!»

Абдулла почувствовал, как пересохло во рту. Стало душно и жарко, ладони похолодели. Второй раз руки оледеневают. Первый раз — когда он лежал под пестрым камнем, вжавшись в сырую землю. Значит, холод подступает к нему в минуты опасности.

Негромкие разговоры в прихожей утихли, затем захлопнулась дверь и наступила тишина. Абдулла ослаб, ему казалось, что тело его стало ничтожным и слилось с креслом. Сил не осталось даже на то, чтобы встать и уйти. Да и не стоит спешить — неизвестно еще, где проверяющие.

Белли Назар вошел в кабинет, улыбаясь, будто ничего не случилось. Абдулла понимал, как ему трудно выглядеть спокойным. Или он думает, что Абдулла ничего не слышал? Не надо показывать, что он все слышал. Иначе Белли Назар заведет разговор на еще более опасные темы, чтобы заглушить пережитое унижение, выплеснуть осадок с души.

— Я сейчас условно разделяю туркмен на две группы...

«На сколько бы групп ты их ни делил, кто сейчас тебя услышит? Да и кому интересно твое мнение?» — подумал Абдулла.

— Первая — те, кому Великий Яшули доверяет и поручает речи толкать. Они, понятно, циники и сволочи, клейма негде ставить. Они прекрасно понимают бессмысленность своих слов. Отсюда — полное безразличие ко всему, даже к обману. Они и обманывают-то народ кое-как, да и не умеют, они никогда ничего толком не умели, но для народа, оказывается, и этого достаточно. Как русские говорят: «Пипл хавает...»

Вторая группа — те, кто молчит. Среди них есть умеренно честные, даже щепетильно честные, но их объединяет чувство бессмысленности, бесполезности любых слов и дел. В итоге — общее безразличие ко всему.

— Есть еще страх, яшули. Простой страх навлечь на себя неприятности. Он всегда был и есть. При той же советской власти.

— Молчание не спасает — вот в чем дело. Молчание может спасти отдельного человека: с работы не выгонят, на более высокую должность назначат, премию дадут. Но в итоге складывается сумма молчаний, которая губит народ. Куда уходила наша внутренняя энергия в прежние времена? Когда мы жили, разделившись на роды и племена, энергия уходила на сохранение рода: защищать его с оружием в руках от внешних врагов, добывать пропитание в мирное время. Советская власть взяла на себя какую-то часть заботы о семье. Начиная с детского сада. Образование, обучение, направление на работу — очень многое решало за нас государство. Дети государства! — вот кто мы были такие. Энергия, которая высвободилась от забот о семье, направлялась опять же на укрепление государства. Армия, комсомол-партия, всякие профкомы-домкомы, ты это не хуже меня знаешь. А еще эта энергия превращалась в энергию страха. Кто-то верил, кто-то карьеру делал — с этими все понятно. А самый

большой вред природе общества и народа наносили — кто? Несогласные! Они не могли открыто протестовать — и потому молчали. Из страха. Они его никуда не могли выплеснуть. Энергия страха — страшная энергия, она уничтожает честь и надежду на свободу. Рухнул Советский Союз. Стали кричать о туркменской независимости. Не успели выплеснуть прежний страх, новый возник. В десятикратном размере! Энергия страха превратила туркмена в парализованного человека, у которого уже нет ни желания, ни способностей задуматься над своим будущим. Великий Яшули ему говорит: «Смотри в свое прошлое, у тебя в прошлом была великая история». Пичкает народ красивыми легендами, но даже если бы они были правдой, что бы это меняло? Сказано же: нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. А вперед смотреть народ не способен, потому что организм парализован, его разъедает энергия страха, разрушительная энергия.

— А как же интеллигенция? — спросил Абдулла.

— Не смеши меня, — ответил Белли Назар. — Такое же стадо, только еще хуже, наверно.

Абдулла невольно дернул головой, что можно было расценить как протест.

— Наверно, ты думаешь, что я высокомерный. Получил то же самое советское образование, а как щеки раздувает! Но дело не во мне. Интеллигенция, эта прослойка несчастная, она и в советские времена была самой уязвимой. Рабочий или колхозник, в конце концов, всегда знал, что дальше станка или трактора его все равно не сошлют — и это придавало ему в собственных глазах хоть какую-то независимость, какое-то достоинство. А так называемый интеллигент? Особенно у нас, в Азии? Из инструктора не сделают завсектором, из завсектором — завотделом. Ассистенту могут не присвоить звание старшего преподавателя, актеру не повысят категорию... Связан по рукам и ногам, главное — не выделяться! Энергия страха делает людей одинаковыми, ты не замечал? Сейчас я поневоле стал домоседом, — Белли Назар чуть усмехнулся, — но еще недавно я же ходил по улицам, смотрел на лица людей. В лицах нет света. Люди ведь разные: один — общительный, другой — нелюдимый, третий — остряк-самоучка, четвертый — злобный и завистливый... На наших улицах все на одно лицо. Это и есть толпа? Ты заметил, я употребил тут русское слово? У нас нет слова «толпа». Есть «люди», «массы», «публика», но ни одно из них не подходит. Толпа имеет единое тело, единую цель, одно лицо, одни уши, она хочет слышать речь, которая имеет только один смысл. Так энергия страха преобразуется в энергию толпы. Только укажи ей врага — сожжет, разгромит, затопчет, уничтожит. Зато толпа любит слушать колыбельные речи: мы, туркмены, от природы высоконравственный народ, мы создали великие империи древности, мы... Чем все закончится?

— Не знаю, — пожал плечами Абдулла.

— И я не знаю. Но подозреваю. Народ может быть большим или малым, толпа не может быть очень большой. Она имеет какие-то свои предельные размеры. Рано или поздно народ, превращенный в огромную толпу, начнет делиться. Из одной толпы пять или десять... Каждая из них найдет своего вожака, начнет гордиться своим родом или племенем. Куда направится энергия толпы? Друг против друга, конечно! У нас еще тлеет вчерашняя родоплеменная рознь и ревность. Вспомнить ее и раздуть огонь — легко, все равно что спичку бросить. И тогда от государства вообще ничего не останется. И тогда мы еще вспомним нынешнего Великого Яшули как светоча цивилизации: мол, он все-таки носил звание президента, проводились выборы, имелась столица, области и районы, проводились торжественные, пышные парады — то есть была армия, милиция, суд и прокуратура...

— Яшули, вы начали писать антиутопию? — попробовал пошутить Абдулла.

— Да я бы с удовольствием, но жизнь не позволяет.

— Почему?

— Наша жизнь — сама по себе антиутопия. Или триллер. Писателю здесь делать нечего — нужен хроникер. Ты обрати внимание — антиутопии, страшилки пишут в основном в благополучных странах. То ли адреналина не хватает, то ли от сытости и благоденствия воображение разыгрывается.

— И правда! — восхитился Абдулла. — Вон, американцы — весь мир напугали своим Стивеном Кингом.

— А их фильмы? — поддержал Белли Назар. — Сплошь катастрофы, заговоры и перевороты. А я не могу написать о распаде республики, о распаде пока еще единого туркменского народа, о родоплеменной войне — рука не поднимется.

— Не дай бог — сбудется?

— А чему тут сбываться — это же наш вчерашний, не забытый день. Все рядом, еще мне же и скажут: накаркал, молчал бы — ничего б и не было.

— Видимо, об этой опасности и сам Великий Яшули догадывается, часто говорит, что нас могут изнутри взорвать.

Белли Назар засмеялся.

— Да нет, он боится, что кто-то покусится на его власть. Поэтому заранее любые разговоры объявляет происками внутренних врагов. На самом деле он и подложил динамит под будущее туркмен. Кто знает, может, и под него кто-нибудь подложит динамит.

«Кой черт меня сюда принес? — ужаснулся Абдулла. — Если хоть одна душа узнает, что здесь говорилось, что я слушал, — мне конец. Театр у нас один... Куда я пойду, если из театра выгонят?»

— Для театра что-нибудь пишете? — нашел он повод и тему, чтобы уйти от опасного разговора.

«Ну конечно же не пишет, какой смысл, если на сцене не появится. Сейчас он скажет, что нет, мол, бесполезно, я посокрушаюсь и попрощаюсь».

— Есть идеи, даже есть наброски! — ответил Белли Назар и тут же, будто ждал повода, достал из ящика письменного стола толстую тетрадь, начал листать страницы. — У многих народов есть на этот счет предания, легенды, суеверия, мистические слухи, даже обряды упоминаются. Будто бы душа человека иногда покидает его тело во время сна. Туркмены, например, говорят: «Не спи с открытым ртом!». У всех народов есть нечто подобное. Я пятнадцать лет выписки делаю на эту тему... Вот заметка из дореволюционного русского журнала о нравах и верованиях западных туркмен, опубликованная 90 лет назад. И написанная, кстати, туркменом. День тринадцатого числа месяца меред по лунному календарю назывался День грязи или Тяжелый день.

— Простите, яшули, по лунному?

— А?.. Ну да... — спохватился Белли Назар. — Меред — по-нынешнему март... Так вот, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое число месяца меред архангел смерти Азраил облетает Землю и намечает людей, души которых заберет в наступающем году. Составляет, так сказать, список. И чтобы не попасть в него, люди должны убрать-прибрать территорию вокруг своего дома, вымыться, принести в жертву барана, помириться с теми, с кем поссорились, забыть обиды. Затем Азраил приглашает души этих людей к себе на испытание... Значит, душа человека в тот момент покидает тело?

— Но это значит — человек умрет?

— Говорится, что Азраил не забирает душу, а только зовет ее на разговор. Значит, она обязательно вернется. Азраил предлагает душе человека преодолеть различные преграды. Тех, кто не выдержал испытание, Азраил заносит в черный список. Значит, дни сочтены.

— Ужас какой! А человек может догадаться, что попал в этот список?

— Об этом надо Азраила спросить. Но пока еще никто не знал своего смертного часа. Чего ты так испугался?

— Допустим, душа покинула тело во сне, на время испытаний. А что будет, если кто-то разбудит спящего?

— Считается, что это очень опасно.

— Но ведь люди не знают, что чью-то душу позвали на разговор с Азраилом, и могут разбудить?

— Могут...

— А как узнать, что душа вернулась?

— Никак. Только Азраил знает, а нам — не дано. И вообще, мистику невозможно поверить логикой.

— Да уж, — вздохнул Абдулла. — Вас послушаешь, так Азраил почудится.

— Не бойся! — рассмеялся Белли Назар. — Писатель и актер — это жизнь понарошку, игра. Подумай, какой сюжет — испытания Азраила! Если их можно вообразить, представить, то можно и поставить, показать на сцене, а?

— А не сказано, какие преграды предлагает преодолеть Азраил?

— Наверно, это его тайна, и ее знать людям не дано. Предположить можно. Например, мне встречалось предание о том, как Азраил предлагал пройти по жердочке, перекинутой через пропасть, и если душа сорвется, упадет, попадает в черный список. Ведь драматургия в том, что Азраил знает и видит каждого человека насквозь. И каждому предлагает испытания, связанные с его пристрастиями, надеждами, любовью, враждой, ненавистью, ревностью, страхом, карьерой, подхалимством, завистью, храбростью, благородством! Представляешь, какие картины можно развернуть на сцене? Ведь и театральная сцена сама по себе — мистика, чудо, нереальность! И название спектакля напрашивается в современном духе — мостика, фэнтези... Ну, скажем, «Мост Азраила», «Испытание Азраила», да?!

— Да-а... Интересное зрелище получилось бы, — пробормотал Абдулла. — Я, пожалуй, пойду, яшули. Спасибо...

Белли Назар посмотрел на него, как сквозь туман. Видимо, увлечен был своими фантазиями про Азраила. Но Абдулле в его взгляде почудился вопрос: зачем приходил-то? И он поспешно сказал:

— Сегодня с утра вспомнил, что давно не виделись мы с вами. Время от времени хочется поговорить...

— Ну да, придется поверить, — свел разговор к шутке Белли Назар. — Спасибо, что пришел, двери мои всегда открыты.

Выйдя из квартиры, Абдулла постоял немного на лестничной площадке, прислушиваясь. Тишина. Никого. Осторожно спустился на первый этаж. Никого не встретил, ничего не услышал. Выглянул из подъезда, посмотрел по сторонам, окинул взглядом окна дома напротив. Все спокойно, ничего подозрительного. Быстро прошел по двору, не поднимая головы, и только свернув за угол, замедлил шаг, перевел дух.

Господи, неужели это испытание, тоже устроенное ему Азраилом? Состояние летаргии, сны про пестрый камень, реальные поиски пестрого камня на холмах за городом, страшная невстреча с Великим Яшули под автоматами охраны... наконец, приход к Белли Назару — как будто под уздцы ведут! Не мистика ли все это? А если мистика, то почему столько реальности? Вот ведь он, живой, дрожащий от пережитого. Ну, хотя бы становится более или менее ясной связь событий. Только не сам ли Абдулла провоцирует их появление? Если бы он не спросил, пишет ли Белли Назар что-нибудь для театра, не возник бы Азраил! Так ведь Абдулла спросил для отвода глаз. И вдруг оказалось, что Белли Назар пишет, да еще про Азраила — и Абдулла узнал, отчего впал в летаргический сон. Но страшно верить, не хочется верить, что Азраил вызывал его душу на испытание. В конце концов, он современный человек, живущий в век электроники, черт возьми! Просто не надо было идти к Белли Назару — его дом как сеть, а сам он — как паук, плетущий паутину для душ людских.

8. Голова желтого кота

Не похоже, что Джемал устала после дневной репетиции — походка решительная, каблучки выбивают четкую дробь по деревянному полу. Обычно она так летит после удачной премьеры или когда на ней новое платье, новые украшения. Сегодня вроде бы ничего такого нет — обычный серый день на скучной сцене и в тесноте гримерных, обычный наряд. Возле Абдуллы лишь на миг задержалась:

— Я к Тагану! — сообщила и вздернула бровь, придавая значение слову.— Приходи вечером ко мне, буду ждать.

«Началось!» — понял Абдулла. Теперь ясно, что будет новая постановка: как и говорил Таган — драматическая сага о жизни и из жизни Великого Яшули. Известно, Таган поодиночке приглашает актеров, которым поручается играть главные роли в спектаклях государственной значимости. С каждого берется обет полного молчания. Если проболтаешься, сдуру похвастаешься, не только роли лишат — весь сезон, как говорят русские актеры, будешь выходить на сцену с одной фразой: «Кушать подано!» И то счастье. Скорее всего сошлют в массовку, научишься там изображать народ.

Спектакли, приуроченные к славным датам и торжественным праздникам, оценивает сам Великий Яшули. О степени удовлетворения его эстетического чувства судят по премии, которая колеблется в пределах от пяти до двадцати тысяч долларов. В конце сезона вручается Большая премия, которую дарует лично Великий Яшули во дворце, специально построенном для таких собраний. Три тысячи удостоенных допуска в священный храм власти аплодируют стоя, и их радостные лица долго-долго показывает республиканское телевидение в прямом эфире.

Потом, уже в театре, начинается самое главное — распределение денег. Тайна сия велика есть. Конечно, всем интересно, сколько отстегивает себе Таган, но на этот вопрос наложен запрет. Вообще, любое слово себе дороже обойдется. Тут надо молчать и получать, что дают. При этом быть довольным и благодарить. А то после раздачи первой премии один артист, герой-любовник, начал права качать. Самое смешное, взялся доказывать свою правоту при помощи арифметики, как истинный сын осла! «Роль Огуз-хана занимает две страницы текста, — высчитывал он. — А моя роль — пятнадцать страниц! К тому же я весь спектакль в непрерывном движении, а Огуз-хан сидит на троне. И шесть его сыновей только и делают, что стоят по обе стороны трона. Так почему же актер, сыгравший роль Огуз-хана, получил премию в три раза большую, чем я? Мало того, и сыновья Огуз-хана получили больше! Разве это справедливо?»

Через два месяца этот идиот из театра исчез.

В той постановке Абдулле была поручена роль Гюн-хана — сына Огуз-хана. В книге Великого Яшули, официально объявленной священной, утверждается, что Гюн-хан — создатель великой империи гуннов. По легендам, дошедшим неведомо как, первые три сына Огуз-хана — Гюн-хан, Ай-хан и Йылдыз-хан — родились от его жены, спустившейся на землю с неба в виде луча света. Красивая легенда, сродни древнегреческой, в которой Зевс проник к Данае в виде солнечного луча. Почему она не понравилась Великому Яшули — непонятно. Так или иначе, он ее отменил. Сказав, что Огуз-хан — туркмен, и жена туркмена не может быть каким-то там бесплотным духом и лучом. В отношениях Великого Яшули с Историей вообще и туркменской историей в частности есть еще один смутный момент. По его версии, история туркмен начинается с Огуз-хана, который родился пять тысяч лет тому назад. Тут никто не спорит — был Огуз-хан, и живет он в преданиях туркмен. Только, по утверждению Великого Яшули, прародитель туркмен еще в утробе матери сказал ей слово «Аллах». А когда же появился на свет, тут же строго потребовал от родительницы уверовать в Аллаха, а иначе он не будет сосать ее грудь. Мать есть мать, она не может допустить, чтобы дитя уморило себя голодной смертью. Так первые туркмены, мать и сын, стали мусульманами пять тысяч лет назад. Если считать по туркменскому паспорту, выданному Огуз-хану нынешним Президентом, то прародитель наш появился на свет за несколько тысяч лет до самого пророка Мухаммеда, провозгласившего ислам по воле великого Аллаха. Да, все беды от арифметики, будь она неладна. Пусть с ней разбирается Великий Яшули, а ему, актеру Абдулле, надо играть на сцене. За роль Гюн-хана он получил триста долларов премии. Что равняется пятимесячной зарплате. На эти деньги Сельби два раза ездила к Хыдыру. Во второй раз — вместе с двоюродным братом, работающим в Комитете национальной безопасности. Иметь такого родственника по нынешним временам — хорошая защита. Но Абдулла поче-

му-то не испытывает к нему теплых чувств. Да и тот к нему холоден. При случайных встречах на улицах (Ашхабад — город маленький!) лишь кивнет да спросит мимоходом: «Ну как, артист, играешь еще?». А Сельби часто к ним ходит. И правильно делает, сейчас такой родственник на вес золота, особенно в тяжкой ситуации с Хыдыром.

Абдулла вспомнил, что вечером встретится с Джемал — и душа наполнилась привычным трепетом, который он всегда испытывал, любуясь ее летящей походкой, струящимся от стремительного шага платьем, подчеркивающим ее крепкое тело. И красива Джемал, и привлекательна, и талантлива, но несчастна. Потому что, как считает Абдулла, не может быть счастлива женщина, тем более туркменка, во цвете лет живущая без мужа, одна воспитывающая ребенка. Со стороны смотреть, Джемал предовольна. Всегда жизнерадостная, цветет, подобно розе. Даже артистке, следящей за собой по профессиональной надобности, в тридцать пять лет трудно выглядеть на двадцать... ну... на двадцать пять... если присмотреться. А уж тело... Абдулла всю жизнь мечтал когда-нибудь оказаться с ней в одной постели, получить все, что грезилось ему, как вожделеющему подростку... Так мечтал, что желание превратилось в привычку. Но когда приближался, казалось, решающий миг, его охватывал стыд. Летом, на гастролях по районам республики, гостиничная вольная жизнь сама толкает актеров, и без того людей легкомысленных, к скоротечным и ни к чему не обязывающим романам. В автобусе, возвращаясь после вечерних спектаклей в районную гостиницу, Джемал ложилась ему на плечо и закрывала глаза, приваливаясь всем телом. То ли задремывала, то ли делала вид... Он даже уговаривал себя: «Не будь дураком, сколько времени она ждет... ждет с закрытыми глазами!» Но не получалось никак. Он боялся потерять Джемал. Телесная близость — ненадежная вещь, возникает ответственность обеих сторон по отношению друг к другу, а ответственность — тяжелая ноша. Все конфликты начинаются после постели. Кажется, и Джемал привыкла к их странным отношениям, которые и дружбой-то назвать нельзя.

Можно сказать, что из-за Джемал он так и не вступил в партию. Не очень-то и хотел заявление подавать, но его уговаривал Таган: мол, беспартийный всегда будет на последних ролях во всем. Пошли за характеристикой к председателю профкома, тогда он назывался местком. Тот выслушал Абдуллу с ехидной улыбкой и спросил:

— А как насчет моральных устоев, дорогой?

— В каком смысле? — удивился Абдулла.

— В самом прямом, — хохотнул председатель месткома. — Ты знаешь, что к члену партии требования другие, что там шашни-шлюшни направо и налево не допускаются?

— Да, знаю!

— Знать — одно, а соблюдать — другое. А вы с Джемал даже не пытаетесь скрыть, что у вас шуры-муры. Ты от нее не отходишь, она — от тебя. Ну, она-то незамужняя, а ты — семейный.

— Да вы что?! — чуть не вскричал Абдулла. — Мы с ней друзья, мы с ней добрые товарищи!

— Ты смеешься, что ли? — удивился и председатель месткома. — Где ты видел дружбу с актрисой, да еще с такой женщиной? «Товарищ Джемал», — рассмеялся он. — Жена твоя верит этому бреду?

— Жена моя об этом и не спрашивает.

— А как только вступишь в партию, — тут же жалобу в партком. Знаешь, как в анекдотах: «Мой муж подлец — верните мне мужа!» Тебе такой скандал нужен? Нам он не нужен.

— Когда напишет, тогда и будем разбираться.

— Нет, дорогой, партия учит: руководить — значит предвидеть. А я ведь за тебя ручаться буду, под характеристикой моя подпись. С меня тоже спросят. Давай так: поговори с женой, возьми расписку, что она не станет жаловаться по этому вопросу, я положу расписку в сейф — и пусть лежит там.

— Да вы что? — ошалел Абдулла.

— Если я сомневаюсь, мне нужны гарантии.

— Ваши слова оскорбляют честь Джемал! — возмутился Абдулла.

Видимо, так горячо сказал, что председатель месткома поверил. Уставился на Абдуллу смеющимися и одновременно удивленными глазами:

— Ты что, сынок, оставляешь ишака без сена?

Так закончился его поход в партию. А Тагана приняли сразу — его поддерживал художественный руководитель театра. У них фамилии были похожими. Тагана — Гулбердыев, худрука — Гулгелдыев. Обе — от слова «гул», что означает «раб». После смерти худрука его место занял Таган — раб передал кресло рабу. В театре еще три человека носят фамилии, начинающиеся с «гул». Кстати, и имя двоюродного брата Сельби, который из органов, — Гулназар. Почему народ так чтит слово «гул»? Никогда рабства у туркмен не было — на Востоке рабами становились только пленные. Откуда ж тогда повсеместное «гул»? То ли все они — потомки рабов, то ли народ так уважительно к рабам относился? На Востоке говорят: только через семь поколений у отпущенного на волю раба родятся истинно свободные потомки, только через семь поколений рабская кровь очистится.

А ведь его арабское имя Абдулла означает — раб Аллаха.

Джемал была дома одна, дочь ушла к подружке. Джемал оделась по-домашнему — в красный, переливающийся шелковый халат. Черные блестящие волосы распущены, спадают на плечи, оттеняя белизну шеи и открытой груди. От нее исходил запах духов и прохлады. Здесь нет ни забот, ни страха, а есть успокаивающая душу тишина. Эта трехкомнатная квартира — лучшее место спасения от мирской суеты. Абдулла с дрожью вспомнил дом Белли Назара, постоянную тревогу, в которой он провел те часы. Надо же было самому залезть туда?!

Джемал подвинула низенький столик к дивану, разложила по блюдцам кишмиш, халву, разлила по пиалам чай, а сама села напротив. Абдулла по ее поведению догадывался, о чем пойдет речь. Джемал, наклонившись, заговорила чуть ли не шепотом:

— Таган сказал, что после спектакля о Великом Яшули нам дадут ордена и звания народных артистов.

— А что, пьеса уже есть?

— Даже неизвестно, кто ее пишет. Таган думает, что автора не будет. Мол, не может быть автора у драматического повествования о жизни Великого Яшули. Как нет автора гимна Туркменистана.

Абдулла не стал спрашивать в подробностях, о чем еще был разговор. И без того Джемал успела сказать о том, о чем надо молчать, как рыба. Сказала, потому что Абдуллу считает родным, верит ему, как самой себе. А он-то, чуть ли не первым узнав о будущей эпопее, ей даже не намекнул.

— До сих пор удивляюсь, Джемал, почему я не женился на тебе? — вдруг ляпнул он.

— Сейчас не время для такого разговора! — Джемал резко встала, зачем-то включила телевизор. — И не место! Гуллера скоро должна прийти. Она у новой подружки. Семья приличная, в соседнем подъезде купили квартиру у русских, уехавших... Девочка хорошая, компьютерами увлекается, теперь и Гуллера не просиживает часами у телевизора, а компьютер осваивает.

Абдулла когда-то хотел, чтобы Гуллера подружилась с Айдым, но потом передумал. Сельби, конечно, не ревнивая, но зачем еще и в дом вносить смуту. Дружба дружбой, а добром может не кончиться.

«Пицца!» — вскрикнула Джемал и пулей вылетела из комнаты. Раздался стук, металлический скрип открываемой духовки — и с кухни потекли волшебные запахи. Абдулла аж сглотнул. Условный рефлекс, как у собаки Павлова. Такой же условный рефлекс теперь у актеров их театра. При словах «новый спектакль» чуют запах доллара и предвкушают раздачу.

Джемал вернулась довольная.

— Слава богу, не подгорела! Как пришла с работы, сразу тестом занялась. По дороге свежие шампиньоны купила... Все сделала, как надо. И чуть не сожгла. Сейчас вынула из духовки, накрыла полотенцем, пусть немного остынет... Увидишь, это совсем не то, что замороженная гадость в магазинах.

Джемал открыла сервант.

— Есть водка, коньяк... Хочешь? Вообще-то к пицце лучше сухое вино. Внизу, в магазине, продают болгарское... я сейчас сбегаю и принесу.

— Ты сиди лучше, я сам схожу.

— Абдулла-джан, сегодня же мой праздник!

И Джемал вприскочку, как девочка, выбежала из квартиры.

Радуется... Говорит: праздник... Значит, ей твердо обещана роль. Как понял Абдулла, роль матери. А ему, как намекал Таган, уготована роль отца. Отец Великого Яшули был человеком, верящим в идеалы коммунизма, защищал их с оружием в руках, погиб на Отечественной войне. Может, эта роль даст ему возможность посмотреть на Великого Яшули другими глазами, поможет понять его, увидеть смысл и суть его политики. Белли Назар на такое не способен, он — человек, уткнувшийся в одну идею, идею демократии и сопротивления. Ничего не видит и не хочет видеть, к тому же высокомерный. А гордыня — смертный грех, из-за нее человек сходит с пути, предначертанного богом. Белли Назар считает себя выше и умнее Великого Яшули и потому не находит в его правлении ничего хорошего. Даже если есть что-то хорошее — не замечает. Или делает вид, что не заметил. А в мире столько страшного творится — мы же по телевизору каждый день видим и слышим! Войны, терроризм, взрывы!.. В нашей стране такого нет, по ночам спокойно выходи на улицы и гуляй — разве одно это уже не заслуга руководителя? Если Абдулла попробует смотреть на Великого Яшули глазами его отца, то, возможно, раскается в некоторых мыслях, найдет выход из ситуаций, которые кажутся сейчас тупиковыми. Конечно, Белли Назар скажет: «Пока диктатор у власти, выхода не ждите». Глаза ему застил туман демократии. А ведь многих уже тошнит от нее. Люди, подобные Белли Назару, чуть что, кричат: народ лишен права на свободу слова! Но ведь видно, что творится в тех странах, где к власти пришли демократы: не в молоке и меде там купается народ, а в спорах и раздорах барахтается. Ноги надо протягивать по длине одеяла! И вообще, свобода слова, печати и раньше была чуждым для туркмена понятием, и сейчас. Газеты и радио он узнал только в советское время, но о чем там писать или говорить, определялось начальниками, и народ привык к такому порядку. Говорить, что Великий Яшули вернул нас к родоплеменному строю, к феодализму — искажать истину. Он не вождь племени, а глава государства. Хоть и считается, что при родовых порядках каждый мог говорить все, что хотел, это неправда. Любое слово должно было быть одобрено старейшинами, седобородыми яшули-аксакалами, род жил по установленным веками нормам и правилам. Отступление от них каралось жестоко. Сегодня же туркмены как цивилизованные люди имеют свое государство, и государство живет по законам. Так что Великий Яшули не возвращает нас к патриархальным порядкам, а призывает опираться на лучшие традиции. В них народ черпает духовное здоровье. Великий Яшули называет такое устройство этнодемократией, а Белли Назар — феодальной демократией. Каждый смотрит со своего холма...

Внимание Абдуллы привлек вертолет на экране телевизора. Чем дольше он смотрел на него, на ослепительный круг от винта, тем сильнее было впечатление, что он видит быстро текущий водный поток. Последние три-четыре года он ложился спать со страхом. Каждый раз ему чудилась полноводная река с бурным течением. Поток его подхватывал, кружил, он начинал задыхаться, в панике открывал глаза, привыкал к тому, что мир вокруг неподвижен — и только после того, успокоившись, мирно засыпал. Абдулла закрыл глаза и опустил голову на подушку, пытаясь спрятаться от вертолета, не слышать его. Постепенно грохот винтов сменился долгим и тихим звоном в ушах — так звенит от оглушительной тишины, которую он наконец-то обрел.

В тишине небо чистое, а звезды яркие, будто лампочки, подвешенные к черному

куполу. В их свете различимы силуэты холмов, и больше ничего не видно. Он кого-то или чего-то ждет. Сквозь звон в ушах пробивается плач женщины. Прислушивается, окидывает холмы взглядом и замечает, что небо за грядой озаряется красным светом. Наверно, восходит солнце. Свет приближается, плывет волнами, и над холмами медленно появляются красные крылья гигантской птицы. Головы ее не видно, зато виден огромный пестрый камень, заменяющий туловище. Может, она держит его в когтях? Однако сколько ни всматривался, когтей не заметил. Абдулла испугался, что камень рухнет на него с неба, раздавит в лепешку, бросился бежать, но не смог стронуться с места — ноги по колено будто вросли в землю. Когда красные крылья заслонили небо, женский плач прекратился. Звезды на небе оказались фарами, высвечивающими Абдуллу, превращающими его в мишень. Перед ним что-то упало на землю, и Абдулла увидел, что это маленький пестрый камень, копия того, что он обнаружил когда-то на холме. Абдулла схватил его и тут же ощутил обжигающий жар, как от картошки, вытащенной из костра. Несколько раз переложил камень из ладони в ладонь, но жар становился нестерпимым, и тогда он запустил камень в темное пространство, насколько хватило сил. Раздался взрыв, Абдуллу бросило на землю. Сверху градом посыпались камни. Он прикрыл голову руками и с ужасом увидел, что это не камни, а головы желтого кота с вывалившимися из орбит глазами. Земля вокруг усыпана кошачьими головами. Абдулла закричал и увидел перед собой женщину, видно, ту, чей плач доносился неведомо откуда. Вначале подумал, что Сельби, а когда услышал ее голос, понял, что это Джемал.

— Абдулла! Абдулла! Не бойся, я — Джемал, возле тебя сижу, ты у меня дома...

Абдулла огляделся и начал бормотать:

— Голова желтого кота... я его убил, когда был маленьким, убил из-за того, что он воровал наше мясо...

— Абдулла, очнись! Ты меня слышишь?

— Слышу...

— Слава богу... Ты очнулся?

Абдулла еще раз огляделся и понял, что да, очнулся.

— Азраил мне снился...

— Абдулла, ты, правда, в сознании?

— Тебя ведь слышу.

— Выпей воды... Я чуть не умерла от испуга...

Абдулла сделал несколько глотков, почувствовал, что рубашка мокрая. Догадался, что от пота. Снова закрыл глаза — тело охватил холод.

— Как же ты меня напугал?! Минут десять я в магазине пробыла. Возвращаюсь — ты лежишь. Думала, ты меня разыгрываешь, говорю: «Вставай!». Никакой реакции. Слушаю, а ты спишь! Начинаю будить — не просыпаешься. Слушаю дыхание — дышишь хорошо. Я с ума чуть не сошла. Хотела звонить в «Скорую помощь» — да опомнилась. На весь город был бы скандал — ночью в квартире актрисы Джемал лежит без сознания актер Нурыев! Не то напился до потери памяти, не то еще что! А не звонить еще страшней — вдруг с тобой что случится. Четыре часа возле тебя сижу, хорошо, ты кричать начал. Ты кричишь, стонешь, что-то страшное снится, а я радуюсь: жив, голос подает!

Джемал зарыдала, сотрясаясь, слезы ручьем. Абдулла трясущимися руками пытался дать ей воды, потом налил коньяку и влил в рот. Она закашлялась, рыдания прервались. «Какой же кошмар пережила, бедная, — догадался он наконец. — Сидеть, можно сказать, у живого трупа...»

— С тобой такое раньше было? — спросила Джемал.

— Однажды случилось, недавно.

— Мне ты об этом не говорил. Врачи знают, врачей спрашивал?

— Сосед-врач знает, Мыллы. А больше никто. Это просто головокружение, пройдет.

— Не говори ерунды! — закричала Джемал. — Четыре часа лежать, как

мертвый, — это головокружение, по-твоему? Это пройдет? Ты что-то скрываешь? Говори!

А ведь верно — скрывает. В том-то и страх, что скрывает. Птица с красными крыльями — Азраил. Азраил взял его душу на какое-то ему лишь ведомое испытание. И рассказать можно только Белли Назару. Обмолвись хоть словом врачам — упрячут в психушку. Рассказать Сельби или Джемал, любимым людям, и они тоже отправят его в психбольницу. Из великой любви к нему...

— Спасибо, Джемал... Прости, что так получилось... Я пойду, ладно?

— Ты что, смеешься? Думаешь, так тебя и отпущу? Сейчас вызову такси и отправлю домой.

Джемал нежно поцеловала его в лоб. Как ребенка. Или как больного.

9. Красные крылья Азраила

Тот камень словно до сих пор лежит в ладонях. Абдулла физически ощущал его вес и тепло. Наверно, с килограмм или чуть меньше, граммов семьсот. И уже не горячий, а приятно теплый. А стоит поднять голову, как тут же возникают, закрывая небо, красные крылья. В одной из мусульманских легенд говорится, что Азраил — архангел с четырьмя лицами. При сотворении человека Аллах долго не мог найти глину. Принес ее Всевышнему Азраил. За что был особо отмечен Создателем. Коли участвовал Азраил в сотворении человека, то ему Аллах и поручил забирать на небо души людские. Потому и постоянно облетает архангел Землю, следя за всеми. Крылья у него красные, а борода белая. Она враз поседела, когда узнал он о своем тяжком жребии. Души праведников он принимает легко, воспаряет с ними, как облако, а вот грешники... Никто ничего не знает, только ужас живет в человечестве...

Мифы об Азраиле — на то они и мифы. Кто помнит, кто забывает. А вот пестрый камень — на самом деле существует, лежит на вершине холма. Его не забыть. Тем более Абдулле, выросшему в ауле, пропитанном суевериями. Он помнит, как запрещали перешагивать через яму с кровью только что зарезанного барана, как на рубашку ему нашивали бусинку, оберегающую от сглаза. Если же не удалось уберечься, если навели-таки порчу, то надо украсть волос или тряпочку из одежды человека, который тебя сглазил, и сжечь. А если он на тебя наложил проклятие, то надо вылепить его фигуру из глины и большой иглой выколоть глаза... Но как избавиться от наваждения пестрого камня? Не помогли ни молитва, ни лепешка, принесенная в дар. Значит, надо пойти на холмы и скатить с вершины. Авось, ударившись о другие камни, расколется к чертовой матери. Если не расколется — закопать!

С характерной для суеверных людей настойчивостью Абдулла тут же отправился на холмы. Когда идешь, сам с собой разговаривая, дороги не замечаешь. В марте было холодно, ни тепла, ни дождей. В апреле — сплошные ветра. И только сейчас, в мае, люди почувствовали весну. С утра прошел теплый дождь, затем поднялось горячее солнце и высушило землю, стало даже жарко, душновато. Вокруг тишина, над головой — синее небо. Только подумал о покое, как раздался лай собак. Две, три, четыре собаки между собой перекликались, как будто сигналы передавали, предупреждали об опасности. Он представил овчарок, рвущихся с поводков, а поводки в руках автоматчиков, цепью спускающихся с вершины холма, — и сам не заметил, как повернул назад и чуть ли не побежал к городу. На легких ногах, подгоняемый страхом, как ветром. Выйдя на шоссе, оглянулся. На склонах увидел отару пасущихся овец. Благостная, мирная картина! Значит, он испугался пастушеских собак!

Абдулла засмеялся. Говорят, над собой способны смеяться только сильные люди. В смехе Абдуллы была одна лишь грусть, обида слабого человека на самого себя.

Возвращаться не имело смысла. Уже не хотелось ни смотреть на этот проклятый камень, ни тем более скатывать его куда-то вниз. Вообще, вся затея борьбы с

куском скалы показалась ему сейчас дурацкой. Абдулла даже рассмеялся. Избавился от нелепого суеверия! И решил: раз уж вышел из дома, надо сходить в госпиталь к Хыдыру.

Да, Хыдыр передал через Сельби, что отца видеть не хочет. Но это не важно. Важно то, что его перевели в Ашхабадский госпиталь. Благодаря хлопотам Сельби, а точнее — благодаря влиянию ее двоюродного брата Гулназара, сотрудника КНБ.

С души Абдуллы словно камень свалился... Тьфу, опять он про камень, чтоб ему пропасть! Что ни говори, а ощущение беспомощности тяжелее любого камня. Унизительно, хоть головой в петлю. Отец должен выручать сына — на том мир стоит. И нет горше доли, чем беспомощность отца, не приведи, Господи, никому такого случая.

А то, что Хыдыр не хочет видеть его, — понятно: обижается за пощечину. Пустяки, разберемся, не чужие. Абдулла стал мысленно сочинять монолог, с которым обратится к сыну.

Твоя мама оказалась сильнее меня, нашла выход, как тебя вытащить из того ада, скажет он сыну. Спасибо дяде. Не будь его... да ладно, теперь не стоит об этом. Но забывать нельзя, неблагодарность — худший из пороков человеческих. Только мелкие душой людишки всегда неблагодарны. Да, я не смог помочь тебе, я слабый, нет у меня ни власти, ни влияния. Ты прав. Но не считай меня чужим, я ведь отец твой, Хыдыр-джан! Еще про одно скажу, что мне не понравилось в тебе, сынок: как бы ты ни был зол на меня, не унижай, презрительно называя артистом. Отец твой не стыдится своего звания, а гордится им! И чести артиста не уронил. Я понимаю, ты обиделся за пощечину. Но даже если и обиделся, не нужно было говорить, что видеть меня не хочешь. Ты не имеешь на это права. Характер у туркмен мягкий, совершив решительный поступок, потом они часто раскаиваются в нем, просят прощения. Но не жди этого от меня. Разве я не имею права наказать своего ребенка? Поймешь это, когда у тебя самого вырастут дети. Стать наркоманом — что может быть страшнее? Что может быть унизительнее для человека?

Не замечая дороги, Абдулла добрался до госпиталя, показал свои документы и попросил вызвать Хыдыра Нурыева. Через некоторое время вышла дежурная сестра и сказала, что Хыдыр не может. Помолчала и добавила: «Потому что плохо себя чувствует...» Абдулла понял, что добавила от себя, придумала, пожалев его, отца. С другой стороны, она могла подумать, что сыну стыдно — и потому он не захотел видеть родного отца...

Абдулла медленно направился к дому. Успокаивая себя тем, что должен терпеть. На то он и отец, чтобы терпеть. Наградой ему будет то время, когда у Хыдыра появится свой сын, и он поймет отца, и станет ближе к отцу...

Пока он шел к госпиталю, ничего не замечал, погруженный в свои мысли, в беседу с Хыдыром. А сейчас увидел, что улицы почти безлюдны, зато очень много полицейских. Так бывает во время выездов Великого Яшули. Правда, у нового четырехэтажного здания очень оживленно, народу собралось, как на торжественный митинг. Дети, девушки и юноши в национальных платьях и чапанах, а в основном — начальственного вида мужчины в костюмах. Облицованное белым мрамором, со сплошным фасадом из темного стекла, здание увито лентами, как невеста на выданье, а вверху, на фронтоне, — огромный портрет улыбающегося Великого Яшули. Чуть ниже — литые буквы, покрытые золотом: «Животноводческий банк».

Ну да, сегодня же торжественное открытие «Животноводческого банка». Откроет его сам Великий Яшули. Он открывает все, что построено. Что ни делается в стране — делается им и по его воле.

Как бы ни иронизировали критиканы вроде Белли Назара, а новые, великолепные здания банков украшают город. «Государственный банк», «Промышленный банк», «Крестьянский банк», «Газовый банк», «Коммерческий банк», «Строительный банк», «Народный банк», «Водный банк»... Теперь к ним прибавится «Животноводческий банк». Каждый из них открывал своим указом Великий Яшули и руководителей сам назначал. Говорят, что все они входят в систему государственного банка. Абдулла далек от бизнеса и не понимает, какую роль они играют в жизни страны. Зато знает,

что черный валютный рынок в народе называется «Дайза-банк». Дайза, дайзашка — тетя, тетка, тетушка. Главные банкиры и кассиры в нем — женщины среднего возраста, крепкие на вид, смышленые, хваткие, языкастые, не лезущие в карман за словом, а только за деньгами. Они — самый живой банк в стране, работают на каждом углу города. Хочешь купить доллары, продать доллары — ни в одном из государственных тебе не продадут и не обменяют. Не положено. У нас своя национальная валюта, своя гордость и свои строгие порядки. Только «Тетушкин-банк» не мучается дурью и проворачивает все операции моментально, без бумаг и документов. Говорят, установленный государством курс доллара в пять раз ниже, чем на черном рынке. Но по такой цене, в пять раз дешевле, никто никогда доллары не покупал и не может купить. Однако, говорят, есть люди, которые имеют возможность. Потом сдают их в «Тетушкин-банк» по пятикратной цене, приобретают мешки национальных манатов и на них снова покупают «зелень» по государственному курсу. Нет в Ашхабаде человека, который бы не слышал, что «Тетушкин-банк» — уличный филиал государственной финансовой системы. Что до маната — национальной валюты и национальной гордости, то Великий Яшули премии от своего имени и от имени государства официально объявляет и выдает в долларах. Не в манатах.

А сегодня он благословит на богатую жизнь во благо туркмен еще одно хранилище долларов. Абдулла представил торжества, посвященные открытию банка. Он до мельчайших деталей знал, как они будут происходить — сценарий один и тот же. Абдулла стоит среди людей, удостоенных высочайшей чести — встречать Великого Яшули у ступенек парадной лестницы, ведущей в банк. В пяти-десяти шагах от красной ковровой дороги, по которой проследует Великий Яшули. В других странах ее называют дорожка, а здесь это дорога, устланная драгоценными, знаменитыми на весь мир туркменскими коврами ручной работы. Тянется она от улицы. Лимузин останавливается, заезжая на ковры. Великий Яшули всегда идет один. Расстояние от свиты рассчитано с точностью до сантиметра, чтобы никто, кроме него, не попал в кадр телевизионной камеры. Помимо всего прочего, здесь кроется еще и забота об истории. Нельзя оставлять потомкам хронику, где рядом с Великим Яшули будут запечатлены люди, которых никто не знает и не помнит. Сегодня они в свите, завтра — неизвестно. Их сменят другие, которые послезавтра также канут в номенклатурную черную дыру. Только Великий Яшули вечен.

Абдулла почувствовал в правой руке приятную тяжесть и тепло камня. Атмосфера вокруг словно наэлектризовалась. Как рокот прокатилось одно слово: «Едет». Вдали показался кортеж. Все взоры устремлены к нему, на Абдуллу никто не обращает внимания. Он посмотрел в небо и увидел красные крылья, которые слегка колыхнулись, словно подавали Абдулле сигнал. Страха не было — наоборот, в душе разлилось невиданное спокойствие. Только камень с каждой секундой становился горячее, уже начинал обжигать ладонь. В этот миг и появился Великий Яшули на красной ковровой дороге своей судьбы. И Абдулла резким движением швырнул раскаленный камень в большое, мясистое лицо. Грохот страшного взрыва сотряс округу.

Со всех сторон раздались полицейские свистки. В двух шагах от него остановилась красная «Лада». Машину и Абдуллу окружили люди в мундирах. До него дошло, что никакого взрыва не было. Он увидел пустынный проспект, простирающийся отсюда до дворца Президента. Двое полицейских, выставив перед собой пистолеты и с силой распахнув дверцы, нырнули в машину,

Худощавый лейтенант начал трясти Абдуллу, схватив его за плечо.

— Ты из этой машины вышел?

— Откуда?.. Нет... я здесь стою...

— Как ты сюда попал?

— Шел мимо...

— Другого места не мог найти? Имя, фамилия?

— Нуры... фамилия моя, имя Аб...

— Что ты здесь кудахчешь! Предъяви документы!

Абдулла начал шарить по карманам. Пока искал, увидел мраморно-зеркальное

здание банка, улыбающееся лицо Великого Яшули на портрете, многочисленных начальников, выстроившихся для встречи. Сейчас они были похожи на сбившееся в кучу стадо испуганных баранов.

С визгом тормозов подлетел полицейский «Мерседес». Из «Лады» выскочил полицейский и начал докладывать чину в «Мерседесе».

— Товарищ полковник! Этот колхозник говорит, что его на посту никто не останавливал. Говорит, прямо так и проехал...

— Врет! Забирайте его! Немедленно хватайте постового, на очную ставку! Остановить всех пешеходов, все улицы перекрыть!

Машина полковника умчалась. На ковровой дороге остался полицейский, который докладывал. Худощавый лейтенант обратился к нему, еще сильнее вцепившись в плечо Абдуллы:

— А что с этим делать, товарищ капитан?

Капитан впервые обратил внимание на Абдуллу.

— В машину его!

Лейтенант потащил Абдуллу к задней двери «Лады». Когда дверца открылась, толкнул в спину.

— Документы велел предъявить, а он их мне не дал, товарищ капитан.

— Щас душу свою отдаст!

За руль красной «Лады» сел сержант, капитан — впереди. Абдуллу втиснули на заднее сиденье рядом с двумя мужчинами, испуганными до смерти. Миновав один квартал, свернули с проспекта и въехали в пустой двор с бетонными стенами. Остановились у железной двери низкого двухэтажного здания. Задержанных завели в комнату с несколькими привинченными к полу табуретками и голым деревянным столом. Сержант, который вел машину, сел на табуретку у двери и знаками приказал им сесть поодаль.

Мужчина средних лет, с черными трещинами на руках, таращил по сторонам выпуклые глаза.

— Что случилось? Я ничего не понял.

— Постарайтесь сидеть молча, — сказал сержант и вдруг добавил: — Пожалуйста. Отвечайте только на вопросы капитана, лишних слов не произносите.

— А ключи от машины, у тебя, братишка?

— У капитана. У меня ничего не спрашивайте.

— Ладно, братишка, не буду спрашивать.

Пучеглазый сжал губы, кивнул головой.

Абдулла сидел, дрожа от страха. То, что возникло в его воображении и произошло на самом деле, не могло быть мистической случайностью. В памяти отчетливо всплыли слова Белли Назара: «Кто знает, может, и под него кто-нибудь подложит динамит».

В обычное время такие слова вызвали бы смех, а сейчас... Или на его глазах разворачивается какая-то игра, в которой он — подставная фигура, баран на заклание?

В комнату вошел давешний капитан, вслед за ним гладко причесанный, можно сказать — прилизанный мужчина в сером костюме, с красным галстуком. Черты лица правильные, глаза пустые — типичный слегка постаревший комсомольский функционер советских времен. Сев в стороне от капитана, стал разглядывать задержанных исподлобья.

— Кто владелец машины? — спросил капитан.

— Я, — ответил пучеглазый.

— Если ты, встань с места!

Пучеглазый вскочил, аж подпрыгнув.

— Где проживаешь?

— В ауле, аул наш в тридцати километрах от города. В аптеку приехал, нужны лекарства для укола, доктор сказал, что только в городе их найду... Бросил сев,

хлопок я сею, взял землю в аренду. Хорошо, весна поздняя, земля еще не прогрелась, днем жарко, а ночью еще холодно. С севом надо подождать...

— Я не спрашиваю, что ты сеешь!

— Знаю. У малыша нашего воспаление легких, доктор говорит, что даже двустороннее, температура никак не спадает...

— Где ты этих людей встретил?

— Этих? — Владелец машины посмотрел на Абдуллу и сидящего рядом с ним человека.

— Если честно, я с этими людьми не знаком.

— А как же они оказались в твоей машине?

— Ко мне в машину сел только один из них, вот этот... А этот... — пучеглазый ткнул черным пальцем в Абдуллу, — не садился, никогда я его раньше не видел. Вы сами его посадили в мою машину.

— А этого товарища ты знаешь?

Владелец машины, посмотрев на большеголового, с густыми бровями человека, нерешительно сделал паузу.

— И его я не знаю.

— А в машину свою посадил?

— Возле базара он стоял... с авоськой в руках... пожалел я его и предложил сесть.

— Да что ты врешь! Неправду он говорит! — Человек с густыми бровями привстал. — Чего ты ангела из себя строишь? Сказал, что за пять тысяч довезешь, я и сел. Левак он, частник!

Владелец машины повернулся к капитану:

— Я — из аула. Лекарство для укола в аптеке, оказывается, есть. Вот, у меня с собой имеется и записка доктора.

Вытащил из кармана листок бумаги, положил перед капитаном.

— Тебя не про лекарства спрашивают!

— Так я и говорю... Немного не хватило денег, про это я хочу сказать. А чтобы взаймы просить — у кого я тут попрошу? Нужда заставила, разве похож на человека, который будет левачить?!

— У тебя есть лицензия на такси?

— У меня есть один гектар земли в аренде, хлопчатник выращиваю. Пусть Аллах даст долгих лет жизни нашему Великому Яшули, он сказал, что и семена от хлопка, который сдадим, отдаст нам. Наше пропитание от земли зависит. Я двадцать пять лет на колхозном тракторе отпахал. Не хотел возвращаться без лекарства. Баба моя волнуется, к этому времени я должен быть дома.

Капитан посмотрел на Абдуллу.

— И ты лекарства искал?

— В госпитале у меня сын лежит, в военном госпитале, я от него шел.

— А почему не предъявил документы?

— Не успел, не нашел сразу. Вот документ, — Абдулла положил на стол удостоверение, выданное театром. Капитан переводил взгляд с фотографии на Абдуллу, потом снова на фотографию. Чуть улыбнулся.

— Ай, артист, оказывается!

И передал удостоверение прилизанному. Тот, словно желая показать свою значимость, стал внимательно разглядывать обложку, развернул, углубился в текст. А что там читать, три слова? Явно из КНБ. Может, знает, что у Гулназара Гараева родственник — заслуженный артист? Наверняка знает, в их конторе все про всех должно быть известно, до седьмого колена.

Прилизанный человек с правильным незаметным лицом вернул удостоверение капитану.

— Возьмите с них объяснительные и отпустите.

Встал и вышел, не взглянув на них.

Капитан сказал владельцу машины:

— Сейчас сюда приведут полицейского, стоявшего на посту, проведем очную ставку. Объяснительную напишешь потом.

— Что я сделал? — закричал человек из аула, испугавшись, видимо, непонятных и потому страшных слов «очная ставка». — Я на своей машине ехал!

— Ты создал опасность на пути следования Президента! — тоже закричал капитан. — И, повернувшись к двери, гаркнул изо всей мочи: — Где этот мудозвон постовой?! Он теперь баранов патрулировать будет!

10. Под дулом автомата

В дверь постучали. Абдулла открыл и увидел самого себя. На нем серая пижама с красными полосками, голова выбрита. Под мышкой пестрый камень. Сбоку возник яркий луч, в его свете фигура двойника стала белой, будто в саван оделась, и даже волосы стали как хлопковый пух, готовый исчезнуть от легкого дуновения.

Только этого не хватало! Саван во сне! Говорят, после смерти душа человека несколько дней бродит между домом и кладбищем. Или сон предупреждает, что Абдулла приговорен, или уже умер, и это его душа уже бродит неприкаянная, покоя не найдет. Все это от страха. Нельзя сдаваться, надо решиться, наконец, на поступок. Потому что снова возник этот пестрый камень.

Когда-то и где-то он слышал, что сон, которому не дали толкование, все равно что непрочитанное письмо. Точно так же и дело, не доведенное до конца. Нет, он должен скинуть проклятый камень с вершины и избавиться от него раз и навсегда!

Абдулла на этот раз выбрал кружной маршрут, чтобы избежать дороги, по которой приезжал к холмам Великий Яшули. Путь оказался долгим, и он даже забыл о дурном сне с саваном, о суеверном наваждении. Почудилось, что просто бродит по ложбинам и взгоркам, радуясь весеннему дню, физической нагрузке, как говорится, усталый, но довольный. Поднявшись на вершину одного из холмов, услышал собачий лай и мгновенно вернулся в прежнее состояние загнанного в ловушку. Опять собаки! Все повторяется, как в заколдованном круге.

На этот раз не пастушеские псы. Он увидел двух солдат, слаженно бегущих по краю ложбины. Один из них в вытянутой правой руке держал, наверно, поводок — собаки не видно, но по наклону солдатской фигуры чувствуется, как она тянет вперед, рвется по следу. Его следу!

Абдулла бросился в ложбину, инстинкт повел в укрытие. Отдышавшись, спохватился: если собаку спустят с поводка, она его найдет и растерзает, никто не увидит, не успеет оттащить.

Он побежал наверх, на вершину, слыша за спиной отдаленный лай и рычание. Обернувшись, увидел на той стороне солдат. Один из них, размахивая руками, закричал:

— Стой! Не двигайся! Побежишь, он тебе жопу оторвет!

Абдулла замер. Из ложбины послышалось рычание и вылетела черная овчарка. Солдаты наперебой завопили:

— Аждар! Сидеть! Сидеть! Кому я сказал!

Черный пес резко остановился, слегка проехав лапами по траве, и заскулил, будто жалуясь, что не дают расправиться с законной добычей. Затем сел и стал лаять. Абдулла старался не смотреть на него, боясь, что взглядом может разозлить, спровоцировать. Из ложбины, пыхтя, поднялись солдаты. Впереди — чернолицый, как негр, ефрейтор. Наставил автомат и стал орать:

— Дернешься — застрелю! Имею права. Руки вверх, подними руки, я тебе говорю! Ораз, иди проверь его! Не бойся, иди, у тебя же дубинка.

Тот, кого звали Оразом, вытащил из чехла на поясе дубинку и поднял над головой. Другого оружия у него не было.

— Да крепче ты держи дубинку! — командовал ефрейтор. — Начнет сопротив-

ляться, дай ему по башке. Стой, не так! В правую руку бери дубинку, а левой рукой обыщи карманы. Эй, а ты не шевелись, я голову твою на мушке держу!

Собака, примолкшая, снова залаяла.

Ораз в карманы не полез, постеснялся, наверно, а начал их обхлопывать.

— Яшули, у вас покурить не найдется?

— Просить курить запрещается! — закричал чернолицый ефрейтор.

— Да ладно тебе, командир, — сказал Ораз.

— В боковом кармане должна быть пачка, сам я не курящий.

— А если сам не курящий, почему тогда носишь с собой?!

Ефрейтор задергал автоматом.

— Ораз! Отставить! Сигареты брось сюда, он пытается подкупить нас.

— Никакого оружия у него нет.

Ораз с жадностью посмотрел на пачку сигарет.

— Можно, я закурю, не заставляй же меня мучиться, ей богу.

— А если там взрывчатка? Хочешь сдохнуть тут, как собака? Дай ему, пусть сам откроет!

Ораз отдал пачку Абдулле. Абдулла вскрыл ее и бросил в сторону ефрейтора. Тот поднял, взвесил на ладони, понюхал.

— Да, на самом деле курево.

Ораз достал из кармана спички. Ефрейтор вроде немного успокоился.

— Что тут делаешь?

— Гуляю!

— Интересный человек! Люди в городе гуляют! В парке культурно отдыхают! Разве мало тебе места в городе? Кто здесь гуляет? Зачем?

— Есть у меня дело.

— Какое тут может быть дело? Говори!

Ефрейтор опять направил на Абдуллу автомат.

— Ну!

— Да, ребята, от вас никакой тайны не скроешь.

— Не называй нас ребятами, мы — солдаты! Служим родине и Президенту!

— Молодцы.

— Ну говори, с какой целью здесь ходишь?

— Скажу, скажу... Когда был студентом, мы тут с одной девушкой гуляли. Как наступала весна, гуляли по этим холмам. Трава была до колен, не так, как в этом году...

— А потом чем занимались?

— Ждали наступления следующей весны.

— Так не пойдет... Говори правду!

— Командир, давай уже закурим! — чуть не взмолился Ораз.

— Да возьми ты, надоел уже!

Ораз налету поймал пачку, вытер пальцы о гимнастерку, достал сигарету, раскурил, сделал две затяжки и закрыл глаза, замычав от наслаждения.

— Ораз, мешаешь допросу!

— После окончания института девушка моя погибла, под машину попала. И с тех пор, как я оказываюсь в столице, прихожу сюда, а когда сильно расстраиваюсь, бывает, что и закурю...

— Сейчас здесь запрещено посторонним находиться!

— Разве? — удивился Абдулла. — Это же не пограничная зона.

— Не задавай лишних вопросов! Сказали, что запрещено — значит, запрещено!

Ораз курил, по-прежнему закрыв глаза.

— Имя свое скажи, фамилию, где работаешь! — потребовал ефрейтор.

— А что если не скажу?

— Попробуй только! Отведем в комендатуру — там не то что заговоришь — запоешь! Эй, Ораз, посмотри внимательней, тебе этот человек никого не напоминает?

— Я лично хочу сказать, что этот яшули ни на кого, кроме себя, не похож, — глубокомысленно изрек Ораз с блаженной улыбкой на лице.

— Пусть на кладбище меня свезут, но он точно на кого-то похож!

— Главное, чтобы на террориста не был похож.

— Ты не артист случайно? — упорствовал ефрейтор. Но не настороженно-враждебно, как прежде, а с каким-то радостным азартом. — Где-то я видел тебя. В кино, что ли, а может быть, по телевизору? Точно, видел раньше!

— Да, и некоторые другие люди путают меня с каким-то артистом, не помню, как его зовут, — попытался увести его в сторону Абдулла.

— Бывает, — поддержал его ефрейтор. Но с пути, тем не менее, не сбился. — Черт возьми, никак сейчас не могу вспомнить имя того артиста!

Ефрейтор аж стал бить себя кулаком по лбу.

— По телевизору, в одном спектакле я тебя видел!..

— Да не меня, а того артиста. И я тебе так скажу: артисты, они ведь гримируются. Сегодня он на одного человека похож, а завтра — на другого.

— Да нет же, ты это был! На одной красивой девушке хотел жениться, правильно? А она в день свадьбы убежала с другим. Когда тебе сказали, ты закричал: «Убью!» Поверил теперь, что я видел?

— Если артист сказал, то не может быть правдой, — продолжал глубокомысленные рассуждения Ораз. — Так и говорят: играл роль.

— Та проститутка осрамила тебя на весь мир, и твои слова, что убьешь ее, мне понравились. — Ефрейтор был не согласен с Оразом. — Если убьешь изменницу, на тебя грех не падет. Нельзя давать себя обманывать бабской породе!

Абдулла невольно улыбнулся. Как же сочетается в этом простом аульном парне наивная вера в то, что разыгрывается в кино, на экране телевизора, с истовой подозрительностью, службистским рвением и служебным хамством. Видано ли, чтобы молодой туркмен «тыкал» человеку, почти вдвое старше его? Но если у тебя в руках автомат и тебе велено задерживать всех «подозрительных», то все восточное воспитание и якобы исконное уважение к старшим, оказывается, мгновенно летит ко всем чертям. Не у всех, конечно, Ораз, сразу видно, не такой. А этому навесили ефрейторские лычки — так он готов первого встречного пристрелить. Если завтра звание сержанта дадут — родного отца сдаст в комендатуру.

— Я учитель истории, в сельской школе работаю, — сказал Абдулла. — Мы приехали на конференцию. Так что, ребята, мне надо туда торопиться. Тема конференции: «Наш Президент как основатель новой истории».

— Ух ты! — открыл рот Ораз.

Однако на ефрейтора, как ни странно, слова Абдуллы не произвели особого впечатления. Абдулла-то думал, что он встанет чуть ли не по стойке «смирно». Ничего подобного. И это тоже черта подобных людей. Они хорошо знают, что за чрезмерное служебное рвение им никто слова порицания не скажет. Их девиз: лучше перебдеть, чем недобдеть. Смешно, конечно… пока не попадешь им в руки.

— По тому, как ты одет, больше похож на артиста, чем на учителя, — заключил ефрейтор. Достал из нагрудного кармана гимнастерки блокнот и карандаш. — Адрес свой назови!

— Зачем тебе адрес, командир? — вмешался Ораз. — Видно же, что хороший человек.

— Да, заткнись ты! А ты, — наставил он карандаш на Абдуллу, — предъяви документы.

— В гостинице остались мои документы.

— Устно сообщи.

Абдулла понял, что дразнить дурака нельзя ни в коем случае. Отведет в комендатуру — выбирайся потом оттуда. И черт их знает, зачем они сюда караул поставили, почему теперь здесь запретная зона. Если попадет в комендатуру, закрутится история. Вчера его президентская охрана схватила, сегодня задержали в запретной зоне. Одно к одному. Не успеешь оглянуться, как объявят террористом.

— Ты что, имя-фамилию забыл!

— Записывай, братишка, записывай. Из района Гарагыр, тридцатая школа. А фамилия моя, это... Гаибов. Записал? Так и надо писать — Гаибов.

— Ты что, свою фамилию плохо знаешь?

— Я-то знаю, а вот ты можешь не так записать, — слегка перешел в наступление Абдулла, понимая, что допустил промах. Про конференцию он правду сказал. И есть там учитель из Гарагырского района — Гаиб Шаларов, институтский товарищ Сельби, вчера он приходил к ним чай пить. Сельби — тоже участница конференции. И если начнут копать, то беднягу Гаиба легко вычислят. Д-да, заварил он кашу, на пустом месте себя и других впутал в историю... историк хренов... Ну это же какая-то напасть, цепь событий-нелепостей. Неужели они выстроились случайно?

Крик ефрейтора вернул его к действительности:

— Сколько тебя ждать?!

— Я же сказал...

— Фамилию назвал, а имя — нет. Гаибов... дальше как.

— Гаибов Абдулла...

— Точно! — воскликнул ефрейтор и засмеялся от радости. — Абдулла! Того артиста тоже зовут Абдулла, надо же! И зовут тебя Абдулла, и сам ты похож на него. Но у того фамилия не Гаибов...

Ефрейтор запихнул карандаш и блокнот в карман.

— Никак не могу вспомнить фамилию! Ораз, ты же смотрел то кино! Когда он шел убивать девушку, а его полицейские зацапали.

— Я играм-постановкам не верю, — веско сказал Ораз. — И тебе, командир, не советую. Все это брехня! Не зря же их спектакль называется игра.

— Конечно, брехня, — согласился, наконец, ефрейтор. — Игра. Но иногда играют так, что нельзя не поверить. Ну скажи, так ведь?!

— Все равно не верю, — ответил несгибаемый Ораз.

— Ладно, — повернулся ефрейтор. — Иди. Без документов на улицу выходить нельзя. И не хвастайся, что в важной конференции участвуешь. Никто не имеет права нарушать правила, установленные Президентом. Понятно?

— Спасибо, — сказал Абдулла и стал озираться по сторонам, боясь собаки.

— Ораз! — приказал ефрейтор. — Придержи Аждара!

Абдулла отошел шагов на сорок-пятьдесят, когда услышал сзади крик:

— Вспомнил! Нурыев его фамилия! Нурыев Абдулла!

Абдулла пошатнулся, будто его по ногам ударили.

11. Покушение

Абдулла, Сельби и Айдым смотрели новости Туркменского ТВ. Обычно они предпочитали Российское ТВ, которое ловили по спутниковой антенне. Но сегодня Сельби ждала, что покажут сюжет об их конференции, той самой: «Наш Президент как основатель новой истории». Внезапно передача прервалась на полуслове, и на экране появился титр: «Экстренное сообщение».

Затем возник суровый диктор и сообщил: «Сегодня Комитет национальной безопасности задержал банду преступников-террористов, выступивших против нашей государственной независимости и национальной свободы и суверенитета. Ими была предпринята попытка покушения на жизнь Президента — гаранта народного единства, мирной жизни и процветания страны. Преступные намерения международных террористов сорваны. Всемогущий Аллах сохранил под своей сенью нашего национального лидера, чья мудрость, справедливость и доброта снискали ему уважение во всем мире. Более подробную информацию мы передадим через два часа по радио и телевидению».

Абдулла опустил ложку не в тарелку с супом, а в пиалу с чаем. Дочь захихикала.

— Мама, хорошенький подарочек преподнесли вашей конференции, поздравляю!

— Замолчи! — Сельби вытащила супную ложку из чая. Абдулла сидел как парализованный, уставясь на пустой экран. — Айдым, куда ты, сиди на месте.

— Я во двор, Оля должна подойти, мы в сквере будем.

— Сиди дома, не выходи никуда, позвони и скажи Оле, чтобы она тоже никуда не выходила. Сейчас облавы по всему городу начнутся. Слышишь, что я тебе говорю!

Сельби встала вслед за дочерью, они продолжали спорить. Айдым говорила по-русски.

— Мама, тебе сейчас надо радоваться, пуститься в пляс! Всемогущий Аллах дал всем понять, что наш Великий Яшули вечен. Он сильнее даже Кащея и должен скоро стать героем новых сказок! Мы сейчас выйдем на улицу и будем всенародно радоваться!

— Абдулла! — позвала жена. — Может, ты укоротишь язык этой девчонке?

— Ты, по-моему, все уже ей сказала.

Айдым вышла на лестницу, Сельби — за ней. «Спорят... — подумал он. — Нашли о чем спорить... Они еще не знают, какая настоящая беда их ждет».

Немного времени — и солдаты доложат коменданту, комендант — в службу охраны Президента. И тогда через частый гребень пропустят всех участников конференции — найдут учителя Габиева, именем которого он назвался, через него — Сельби Нурыеву, и в конце цепочки схватят Абдуллу Нурыева. И посадят на цепь. Его, того самого человека, который с непонятными намерениями бродил по холмам и с конспиративными целями назвался именем честного учителя истории из сельского района. Скорее всего, покушение уже свершилось, когда солдаты задержали его на холмах. Никакой запретной зоны там нет — просто солдат послали прочесывать окрестности. На всякий случай. Чудо, что они его отпустили. Наверно, солдаты и сами не знали о попытке покушения. Просто им велели задерживать всех подозрительных. Знай они о теракте, не то что Абдуллу — собаку свою сдали бы в КНБ.

Все-таки есть шанс. Если солдаты, вернувшись с обхода, узнают о попытке покушения на Президента — будут молчать, что отпустили подозрительного. Ведь иначе им крепко не поздоровится. Хватит соображения затаиться, даже у ефрейтора. Если нет, Ораз подскажет. Он вроде бы чмо чмом, а парнишка себе на уме, с хитринкой.

Второе сообщение начали передавать в девять часов вечера.

«Сегодня утром, в 7 часов 19 минут, была предпринята попытка покушения на жизнь главы государства, Президента республики, нашего Великого Вождя, Отца Всех Туркмен, являющегося опорой национального единства и всеобщего благоденствия. Преступные намерения международных террористов сорваны. Всемогущий Аллах сохранил под своей сенью нашего национального лидера, чья мудрость, справедливость и доброта снискали ему уважение во всем мире. Комитет национальной безопасности задержал банду преступников-террористов, выступивших против государственной независимости и национального суверенитета. На дороге, по которой руководитель государства следовал в свою резиденцию, они заложили под водоотводным мостом взрывное устройство. (На экране появилась воронка глубиной полтора-два метра, заваленная обломками бетонной трубы.) По данным экспертов, его мощность равна пятидесяти килограммам в тротиловом эквиваленте. Бомбу привели в действие при помощи радиоуправляемого устройства с расстояния в сто метров, из двора водонапорной станции. По данным предварительного следствия, террористы приехали сюда на двух автомобилях за два часа до намеченного теракта, убили сторожа и заложили заряд в водоотводную трубу. Есть основания предполагать, что в тот миг, когда автомобиль Президента проезжал через мост, руки злоумышленников дрогнули, что даже в их черные души проникло сознание тяжкого греха, ибо, покушаясь на жизнь человека, обладающего мудростью пророка, они обрекают себя на вечное проклятие народа. Взрыв прогремел после того, как машина Отца Всех Туркмен миновала опасное место.

Дорогие соотечественники! Мы только что информировали вас о том, что всемогущий Аллах сохранил под своей сенью живым и невредимым главу нашего государства, увенчанного мудростью пророка. А теперь вы услышите, каким образом свершилось это чудо, из уст самого Президента. Сразу же после сорвавшегося покушения пророкоподобный Великий Вождь в главном дворце дал интервью трем журналистам государственного радио, телевидения и государственной информационной службы. Сейчас мы услышим его голос, проникнутый горячей любовью к нам, простым людям великой страны!»

Под торжественную музыку всплыл на экранах Дворец, пышные интерьеры и, наконец, сам Великий Яшули, восседающий в золотом кресле за длинным столом, утопающим в цветах. По его виду никак нельзя сказать, что человек только что пережил покушение. Вначале улыбался, а затем засмеялся:

— Меня не было в той машине! — начал он свой непринужденный рассказ. — А если б и находился, ничего со мной не могло случиться, вы же слышали. За что ни берутся эти недотепы, ничего у них не получается. Они работали на различных государственных должностях, и я их выгнал отовсюду за полную никчемность и воровство. Жалкая кучка неудачников, к тому же наркоманов! Расследование ведет специальная бригада во главе с генеральным прокурором. Многие преступники уже арестованы. Ни один из них не уйдет от возмездия. Как говорится, из-под семи слоев земли достанем, вытащим из нор.

Я хорошо знаю главного мерзавца, который организовал это позорище. И отца его хорошо знал, он работал председателем городского комитета КГБ. Когда меня избрали первым секретарем городского комитета партии, разбирался я в одном мутном деле. На младшего брата этого кагэбэшника поступила анонимка: мол, поддался религиозному дурману, сделал сыну обрезание. Оказалось, что анонимку написала жена председателя КГБ. И он знал об этом. Так и сказал мне: «Знаю. Надо провести проверку и наказать виновного. То есть родного брата!» Стоит ли удивляться, что в такой обстановке вырос отъявленный лицемер и негодяй?! Вначале в комсомоле работал, на побегушках. Потом поступил в высшую школу КГБ. Я его назначил куратором силовых структур. Так он тут же власть употребил во зло, издевался над невинными людьми, заводил уголовные дела, шантажировал. Мало того, из международных организаций мне передали информацию, что этот человек вовлечен в наркобизнес! Я тут же уволил его со всех постов, поручил проверить досконально все сигналы. Каюсь, проявил снисхождение, не приказал на время следствия упрятать в тюрьму. И вот чем он мне отплатил! Отец его был отъявленным мерзавцем, а сын и его превзошел. Да! Я ничего не скрывал и не буду скрывать от вас. Все узнаете в подробностях, в том числе и о помощи им из-за границы.

То, что Аллах хранит меня под своей сенью, мне было и раньше известно. Да! На этот раз он явил свое покровительство зримо. Утром я уже подходил к машине, когда меня что-то остановило. Теперь понимаю — знак свыше. А тогда я вдруг решил устроить проверку... Месяц назад дал приказ, чтоб посадили сосны на южных холмах. Мне доложили, что исполнено. Вы же знаете чиновников — их постоянно надо контролировать. Велел президентскому кортежу ехать без меня. А сам переоделся в куртку и джинсы, нацепил бороду, на глаза — темные очки, на голову — вот эту кепку... Кто догадается, что это я?!

(На экране возник человек с пышной бородой, в бейсболке, сидящий за рулем джипа. За экраном — раскатистый смех Великого Яшули.)

— Вспомните Гаруна аль Рашида, — заговорил он. — Великий правитель древности переодевался в платье простого горожанина и ходил по Багдаду, чтобы из первых рук знать, как и чем живут люди. А теперь поблагодарим Аллаха за то, что он не обходит милостями нашу страну, наш народ. Аминь!

Балаган, маскарад, — подумал Абдулла. — Как же покушение на главу государства сочетается с балаганом?

Диктор сообщил об окончании специального выпуска.

Лишь сейчас Абдулла почувствовал холод, охватывающий тело. Руки, оказывается, уже давно ледяные. До плеч. Стужа подбирается к груди, к сердцу.

Пустив теплую воду, подержал под ней руки и ничего не почувствовал. Включил горячую. То же самое.

Пришла с улицы Сельби.

Абдулла протянул к ней руки:

— Потрогай. Они холодные?

— Как же они могут быть холодными, раз ты мылся под горячей водой? — удивилась Сельби.

Рассказать бы ей, в чем дело. Но нельзя. Нельзя взваливать на нее страшный груз. Все равно под ним окажется. Так пусть хоть немного побудет в неведении.

— Сельби, оказывается, есть у нас люди, которые догадывались, что взорвется динамит.

— Не ляпни где-нибудь на улице. Ты, как и дочь, за языком не следишь. Не успеешь опомниться, как схватят и три шкуры спустят.

— Да я же вообще, не конкретно. Люди про обстановку общую говорили, — спохватился он.

— Никто не будет разбираться, общая — не общая. Не маленький, понимать должен. И не дай бог в огне, зажженном другими, сгорят ни в чем не повинные...

«Одним из них должен стать я. Но ведь и ты сгоришь, родная моя, — подумал с болью Абдулла. — Не успела успокоиться после беды с сыном — теперь обрушатся на твою голову беды непутевого мужа».

Сидеть дома и ждать, пока за ним придут, невозможно. Распирает. Надо выйти, хотя бы прогуляться.

— Дочь еле домой затащила, ты теперь куда-то собрался! — запричитала Сельби. — Люди дома сидят, высунуться боятся.

— Я ненадолго, вокруг дома пройдусь. Кто спросит, скажи, что пошел в театр.

— Какой театр, ты на часы глянь!

Абдулла вышел на дорогу, соединяющую три микрорайона. Все как прежде, тишина. Хоть и называется Ашхабад столицей, но столичного бурления вечерней и тем более ночной жизни в нем давно уже нет. После десяти часов на улицах только редкие прохожие. Кинотеатры давно закрыты, даже молодежь сидит у телевизоров. Раньше в парках гремела музыка на танцплощадках, по аллеям юноши и девушки гуляли, смех, флирт, знакомства, ожидание встреч — где теперь та особая атмосфера парков времен его молодости? Увы... При советском тоталитарном режиме летом возле кафе и магазинов ставились столы и стулья, кафе под открытым небом, как в Париже...— усмехнулся Абдулла. — Теперь запрещено. Даже на свадьбах после одиннадцати вечера приказано выключать музыку. Если соберутся на углу три-четыре человека, тут же появляется полицейский. Кстати, вот и он. С рацией в руках, с пистолетом на поясе.

— Где живешь?

— В Ашхабаде.

— Предъяви паспорт.

— Дома оставил.

— А где твой дом?

— Самый крайний в том ряду, вон тот подъезд, квартира номер... Вышел в магазин.

— Покупай, чего надо — и тут же двигай домой, не высовывайся.

— Спасибо, понял.

Абдулла пригляделся. Обычно возле поста «02», расположенного рядом с двумя мелкими магазинчиками и кафе, постоянно дежурили два человека. Сейчас — четверо. И вдоль всей улицы, насколько хватает глаз, патрулируют полицейские, выдерживая интервал в двадцать-тридцать шагов. И ни одного прохожего, кроме Абдуллы.

Он зашел в магазин, купил пачку жвачки. Вышел. Полицейский следил за ним. Абдулла направился к своему дому. Обогнул его и двинулся туда, куда вдруг решил непременно попасть.

12. На темной улице

Он шел к Джемал. Ему казалось, что рядом с ней станет легче, что хоть на краткий миг забудет про страх, избавится от гнетущего чувства тревоги. Через два микрорайона старых трехэтажек к ее дому вела широкая прямая улица. В стороне — темные узкие улочки, затененные густыми деревьями, запутанные в тупиках и лабиринтах. Абдулла будто в джунгли попал. Здесь и ясным днем потеряешься, собьешься с пути, а ночью черт ногу сломит или глаз выткнет. Окраинные жители Ашхабада с трудом приспосабливались к жизни в городских домах, без своих дворов, где и происходит их жизнь. Издавна обитатели квартир на первых этажах захватывали близлежащие кусочки земли под окнами, огораживали их немыслимыми стенами из проволоки, листов жести, спинок старых кроватей и прочего живописного хлама, высаживали колючие кустарники, а некоторые так держали там и злых собак. Гаражи для машин и мотоциклов ставились где попало и как попало, образуя дополнительные проулки и закоулки. Сейчас завоеванные дворики начали беспощадно сносить — Великий Яшули сказал, что Ашхабад должен стать беломраморной столицей, на зависть другим городам, с широкими и ясными проспектами.

А пока Абдулла продирался через проулки. Дважды упирался в тупик, два раза на него нападали собаки. Хорошо, никто с ружьем не выскочил и не огрел дубинкой, приняв за вора. В некоторых двориках, огороженных, словно крепости, горит свет, расставлены столы, стулья, посуда, но людей нет, никого не видно, будто провалились. Конец мая, жара, к вечеру поднимается удушливый смрад от разогревшегося за день асфальта. В такие вечера спасаются на улице, чай пьют в садиках, отдыхают на скамейках. Загнать в душные квартиры мог только телевизор — чрезвычайные сообщения о покушении на любимого руководителя.

Люди в тревоге, каждый думает, что с ним будет. Как не думать, если жизнь всех и каждого зависит от одного человека. Сумятица возникла в умах и в душах. Народ привык, что Великий Вождь подобен богу. Но на богов не покушаются, даже мысль такая никому не приходит. А раз посягнули, значит, не бог. Такой же смертный?

Благодаря его мудрому руководству в стране гражданский мир и согласие, нет кровавых конфликтов, грабежей. Случись что с ним, начнется неразбериха.

Она может начаться и сейчас. Людей поднять легко. Тысячи и тысячи получают к праздникам маленькие подарки-премии от имени Великого Яшули. Они привыкли к ним, ждут, строят планы и расчеты. Они хотят отблагодарить его, как могут. Как только стало известно, что отец Великого Яшули погиб на Великой Отечественной войне, тотчас комитеты ветеранов провели митинги и собрания с требованием присвоить ему звание Героя. За ними поднялись различные женсоветы и комитеты. Мать, родившая Великого Вождя, приведшего свой народ к счастливой и свободной жизни, должна быть объявлена Героиней и Священной Матерью — потребовали они.

Президент не мог противиться воле народа. Отец стал Героем, мать объявлена Святой Женщиной. В связи с чем женщины республики и ветераны войны получили денежные подарки. Быть может, в связи со счастливым избавлением от смертельной опасности нынче раздадут деньги уже всем без исключения? В любом случае можно ожидать волны народного гнева против злодеев-террористов. Или поднимут — или сама поднимется. Что она принесет — вот вопрос.

С другой стороны, эти люди недовольны Великим Яшули. Сносятся их сарайчики, закутки, дурацкие садики — Ашхабад должен стать беломраморной столицей с широкими светлыми улицами. Да, эти кварталы ужасны. Дома с уродливыми пристройками похожи на старую, изношенную одежду с заплатами. Но такую привычную, дорогую. До слез жаль с ней расставаться! Они привыкли к своей жизни, такой же убогой, как их жилища. Они просят их не трогать. Но Великий Яшули считает их людьми советской эпохи, ушедшей в прошлое. Как будто он сам не оттуда. Грусть, печаль и даже плач этих людей при расставании с прошлым не имеют значения для истории. Зато будет в истории белый город, созданный Великим Вождем.

И эти же люди будут благодарить и восхвалять Великого Яшули — вполне возможно, что искренне. Как артисты оперы и балета. Великий Яшули отменил оперу и балет в республике как искусство, не свойственное туркменам, чуждое их национальному духу и традициям. Бульдозерами снесли театр.

Люди, посвятившие себя сложнейшему из театральных дел, учившиеся, постигавшие его десятилетиями, остались без работы. Мало того — потеряли смысл жизни. Оказывается, занимались тем, чего нет и не должно быть. В Туркмении, по крайней мере.

Так вот, мастера оперы и балета стали писать и печатать в прессе открытые коллективные письма, восхваляющие мудрую политику Президента в области искусства.

Абдулла их не осуждает, не упрекает. Просто отмечает: факт есть факт.

Оттого, что ты выразишь свое недовольство, ничего не изменится.

Он вышел на улицу, разделяющую два микрорайона. Остановился под тутовником. В густой тени заметил силуэт женщины.

— Не меня ли ищешь, красавчик?

Абдулла опешил. Потом, на редкость быстро, сообразил, что он попал не куда-нибудь, а на известную в городе улицу проституток. Туркменские женщины, конечно, «исконно самые высоконравственные в мире», как утверждает наше телевидение, но проституция расцветает, невзирая на возрождение мусульманских обычаев и национальную духовность. Сам Великий Яшули говорил об этом: мол, специально выезжают за границу, торгуют телом. Только не упоминал ни разу, что в советские времена туркменские женщины никогда не выходили на панель.

— Ты не знаешь, что стряслось? Мужиков как будто земля проглотила. Ни одного клиента! И менты бегают, как злые собаки, всех девушек загребают. Какой-то зэк сбежал, что ли?

«Да ты что, телевизор не смотрела?» — хотел спросить Абдулла, но удержался. Значит, не смотрела. Она ведь «на работе».

Из глубокой тени на свет вышла молодая женщина высокого роста, не ниже Абдуллы. Волосы собраны на затылке, открывая длинную шею. С сильным, гибким телом, каждое движение которого подчеркивало профессиональную доступность.

— Ты говоришь так, будто знаешь меня, — удивлялся Абдулла.

— Упаси боже от знакомых! Норовят получить товар подешевле, да еще пристают с «душевными» разговорами, бля! Пошли бы они к черту!

— Как тебя зовут?

— Я же не спрашиваю твоего имени.

— Тогда назови цену.

— Сначала глянь на товар...

Она подошла вплотную, грудью прикоснулась к нему.

Абдулла знал, что ему этот товар не нужен, он никогда им не пользовался... Во-первых, удерживал страх подхватить что-нибудь, во-вторых, его многие знают, так что завтра на всех углах будут рассказывать, с кем он был, что делал и каковы его особенности во время этого самого... Тем не менее его охватило невольное волнение и возбуждение. Он даже стал прикидывать, сколько денег в кармане. Двадцать тысяч манатов. Как раз на баклажку кока-колы.

А уж на эту женщину требуется... много. Не из дешевых, духи, как у жен чиновниц. Абдулла вдруг засмеялся.

— Чему это ты радуешься?

— Один бедный актер в магазине увидел, как продавец отрезает покупателю увесистый кусок голландского сыра, и говорит: «Братишка, отрежь и мне.... тридцать граммов». А продавец ему в ответ: «Яшули, может, вам проще облизать то, что осталось на ноже?..»

— Понятно, считай, что и ты облизал нож.

— Увы, Аллах дал соловью красивый голос и пустое гнездо.

Женщина посмотрела на Абдуллу:

— Складно говоришь! Тебе бы на свадьбах тамадой работать. Хорошие деньги, между прочим, зарабатывают. На сыр точно хватит.

Джемал бросилась на шею Абдуллы, как только он переступил порог.

— Откуда идешь?

— Из дома.

— Смотрел телевизор? Великий Яшули выступал...

— Все видел, ничего не упустил.

— Что же это творится, а?

— В таких случаях говорят: не печалься, лучше съешь чего-нибудь вкусного, а меня чаем угости.

— А ну-ка, посмотри сюда, что-то не верится, что ты из дома идешь, — Джемал принюхалась. — Духами от тебя воняет... Точно! Шанель номер пять!

— Пешком шел, — засмеялся Абдулла. — По улице проституток, вот и пропах их духами.

— И ни одной не соблазнился?

— Сказал одной, что Аллах дал соловью красивый голос, но пустое гнездо. А она посоветовала тамадой работать, говорит, большие деньги стану зашибать.

— Да уж, у них глаз наметанный, сразу подобрала тебе роль.

— А знаешь! — вскричал Абдулла, пораженный мыслью.

— Ну, говори, что придумал.

— Проститутка нашла лучшее определение не только для меня, а для всех артистов. Ведь мы — вечные и постоянные тамады. Кто такой тамада? Посмотреть со стороны — вроде бы главный человек на свадьбе. Он постоянно говорит речи, громче всех смеется, на него все смотрят, девушки хихикают, он их обнимает, то одну, то другую... И все — вроде. И все — как бы. На самом-то деле главный — человек, который оплачивает свадьбу...

— Ну, ты циник, — протянула Джемал. — Свадьбу оплатили родители. Они и без того главные. А самые главные, чтоб ты знал, жених и невеста!

— Ну, это само собой разумеется.

— В принципе, конечно, ты здорово сказал: мы — вроде бы главные. Всегда на виду — и всегда вроде бы... Обслуга.

В комнате работал телевизор. Почтенный пожилой туркмен в огромной папахе, с густой бородой, грозил с экрана: «Ты сукин сын, подлец! Ишак поганый, посмевший лягнуть своего хозяина! Кто ты такой, чтоб поднимать руку на нашего Великого Сердара, которым гордится весь народ?! Тьфу тебе в лицо! Тебя надо застрелить, как бешеную собаку, а труп твой отдать шакалам на растерзание!»

Началось то, о чем и думал по дороге Абдулла, — поднимают волну народного гнева.

Джемал выключила телевизор.

— Были уверены, что живем в мирной стране. Теперь и до нас докатилось. Не дай бог придут исламисты. Под чадрой заставят ходить!

— Туркмены никогда не были фанатиками. Кто тебе сказал, что придут исламисты?

— Нутром чую. Таган только что звонил, я ему сказала, а он, как и ты, удивился. Мол, никогда у нас такого не будет. Мол, исламисты там, где псевдодемократия. А у нас мулл учит, наставляет и назначает сам Великий Яшули, и они не посмеют подняться против него. Поэтому надо молить Аллаха, чтобы он дольше сохранял под своей сенью нашего Великого Яшули. А что, разве не так?

— Таган всегда правильные вещи говорит.

— Абдулла, сейчас не время для иронии.

— Правильно!

— И не улыбайся так. То, что хочет поставить Таган, прежде всего с нами связано. Во-первых, главные роли — наши. Во-вторых, спектакль про Великого Вождя как раз вовремя — для всех...

— Это тоже Таган сказал?

— Нет, я сама так думаю.

Абдулла не мог удержаться от улыбки. Умиляла расчетливость Джемал в сочетании с патетикой. Совершенно искренней.

— Да ладно, хватит. Расскажи лучше, как дочка.

— Ох, требует компьютер купить!.

— Молодец, девочка.

— Ну ладно, соловей ты наш, — поднялась Джемал. — Не буду я тебя баснями кормить!

И направилась на кухню. Абдулла, положив под голову две маленькие подушечки, устроился на диване. Джемал, вернувшаяся с чайникам в руках, подняла крик.

— Не вздумай спать! Хватит с меня, поднимайся!

Видя, что он и не собирается, выдернула из-под головы подушки. Абдулла встал.

— Вот заснуть бы сейчас надолго. Пусть года пройдут, а ты спишь! Пусть весь мир перевернется, пусть земля треснет, а ты спишь. И просыпаешься лет через двадцать, а то и через пятьдесят, а?

— На здоровье! И засыпай, и просыпайся, но только у себя дома.

— Помнишь, как мы были на гастролях в Кизил-Арвате? Только из Мары вернулись, очень уставшими были, а нам сказали, что еще на неделю в Кизил-Арват надо ехать?

— Помню, конечно, тогда мы чуть не изжарились. В Мары хоть арыки есть, река есть, а в Кизил-Арвате ни воды, ни тени... из пустыни суховей — жуть!

— Помнишь, мы однажды видели мираж? Ты тогда сказала: «Если б знала, что тот серый туман на горизонте, не мираж, а вода, то доползла бы до нее по горячим пескам».

— Может, и говорила...

— А еще сказала: «Теперь по-настоящему верю, что можно погибнуть, погнавшись за миражом». А помнишь, что я ответил?

— Ой, да хватит голову морочить! — засмеялась Джемал. Видно было, что сладко вспомнить.

— Я тогда сказал: «Если есть хотя бы одно живое существо, которого не обманывает мираж, то это наверняка верблюд». И объяснил: верблюд смотрит сверху. При взгляде сверху миражей не бывает. Но есть, оказывается, одна вещь, которая не дошла тогда до моего ума.

— У тебя других тем, кроме верблюда, уже не осталось?

— Да послушай же ты! Не хочется верить, что на горизонте нет воды. А вера означает, что ты согласен на смерть, согласен обманываться миражом, надеясь на что-то. Верблюд — мудрец нашего народа. Когда спросили у верблюда, почему у него шея кривая, он ответил: «А разве у меня есть что-то прямое?» Вот и мысль одна пришла мне в голову. Надо слово «мираж» заменить словом «иллюзия». И совсем другой смысл получится. Иллюзия нужна для тех, кто не знает, что у них шея кривая. Иллюзия — это когда страус зарывает голову в песок при малейшей опасности и думает, что спрятался. Туркмены про это говорят: «Пусть волк мне задницу съест, лишь бы глаза мои этого не видели».

— Однажды человека попросили сказать о чем-нибудь большом, значительном, и он сказал: «Верблюд!» — засмеялась Джемал.

— И ты до сих пор была для меня иллюзией, — сказал он, приобнимая ее.

— Перестань, пожалуйста, — Джемал вырвалась. — И не надо нам таких разговоров, договорились?

12. Нашествие клещей

Комитетчики пришли за ним утром.

Ему опять снился сон. Он сидит на пестром камне, а на него наползает полчище клещей с плоскими красноватыми спинками. Всю землю покрыли — трава шевелилась, как от легкого ветра. Они затопили его, как вода, полезли вверх по ногам.

Абдулла панически стряхивал их с себя, чувствуя, как тело охватывает жар, словно от ядовитых укусов. Он проснулся в ужасе, не веря, что это был лишь сон. Простыня мокрая, а руки — словно раскаленные железные прутья.

В доме было тихо. Дочь и жена в школе. Абдулла достал лед из холодильника, сжал в ладонях. Руки охватило стужей, но жар не спадал. Это не то, что говорят: «Бросает то в жар, то в холод». Он испытывал леденящий холод и жар одновременно.

Бросил взгляд на часы. Уже девять. В десять ему надо быть в театре. Абдулла поспешно стал собираться.

Раздался звонок в дверь. Посмотрел в глазок: на площадке спокойно стояли трое в штатском. Похожие друг на друга, как солдаты. На улице жара, а они в пиджаках. Абдулла открыл дверь.

Тот, который был впереди, спросил:

— Вы Нурыев Абдулла?

Голос, как у того ефрейтора с холмов.

— Да, он самый...

Человек вытащил удостоверение в синей обложке, раскрыл его:

— Майор комитета национальной безопасности.... — фамилия до сознания Абдуллы не дошла. — Вам надо проехать с нами.

— Вещи брать?

— Нет, только паспорт.

Абдуллу посадили в белую «Ладу».

Машина притормозила у здания бывшей медицинской академии. Великий Яшули ее создал — он же ее и закрыл. Точно так же создал сельскохозяйственную академию — и точно так же ликвидировал. И еще две академии упразднил. Остались академия полиции и военная академия, носящие его имя. Помнится, академики медицины благодарили Великого Яшули за заботу о национальной науке и обещали направить все силы на то, чтобы изготавливать лекарства только из растений, произрастающих в стране. И еще просили заменить иностранное слово «медицина» словом «лукманство». Но вывеску «Академия лукманства» повесить не успели — академию упразднили вместе с академиками. В народе шепчутся: после того, как Великого Яшули дважды оперировали за границей. Здание передали генеральной прокуратуре.

В огромном вестибюле бывшей академии дежурили три солдата. Мундиры сидят как влитые, белые ремни, зеленые береты, высокие ботинки, на рукавах шевроны «Служба охраны Президента». При виде майора вытянулись по стойке «смирно».

Абдуллу провели через вестибюль по коридору, открыли высокие двустворчатые деревянные двери. В просторной приемной никого не оказалось. Майор завел его в кабинет и ушел, ни слова не сказав, не доложив.

— Проходите, садитесь, — негромко сказал человек за письменным столом у окна, показывая на стул перед ним. И углубился в бумаги.

Абдулла сел. Человек не поднимал головы, не обращал на него внимания. Психологический прием такой, догадался Абдулла, в книгах читал.

Он вначале решил, что это тот самый, прилизанный, который молча сидел на допросе при задержании у банка, а потом приказал взять с них объяснительные и отпустить. Правда, у этого на носу очки в золотой оправе, а тот был точно без очков. Нет, конечно, другой, все люди из органов похожи друг на друга. Или страх перед ними, сидящий в Абдулле, делает их лица неразличимыми? Но этого человека Абдулла видел. И не раз. Часто замечал на собраниях, совещаниях, которые показывали по телевизору. Когда Великий Яшули произносил речи, чиновники старательно записывали его указания в свои блокноты. А этот человек ничего не записывал. Что было странно, обращало внимание. Потому и запомнился Абдулле.

Человек вытащил из папки с твердым переплетом два листа бумаги, папку отодвинул в сторону, а листки положил перед собой:

— Я главный следователь Генеральной прокуратуры Айдогдыев. Ты — Нурыев Абдулла.

Он не спрашивал, утверждал. Но Абдулла ответил:

— Да.

— Артист государственного драматического театра.

— Заслуженный артист.

— Паспорт с собой?

— При себе.

Открыв паспорт Абдуллы, смотрел долго, как пограничник. Разве что не обнюхивал, как собака-ищейка. Абдулла заметил, что веки у него красноватые.

Положив паспорт на папку, предупредил:

— На мои вопросы нужно дать краткие ответы.

— Ясно.

— Знаком ли с Гулназаром Гараевым?

Абдулла опешил. Всего ожидал, но не этого. На всякий случай переспросил:

— Гулназар Гараев?

— Бывший сотрудник комитета национальной безопасности, бывший полковник Гулназар Гараев.

«Бывший»! Когда Гулназар стал «бывшим»?

— Да, знаю. Двоюродный брат моей жены, у них матери — родные сестры.

— Двадцать шестого числа с сотового телефона Гараева был сделан звонок на ваш домашний телефон. Ты разговаривал?

— Нет, не я...

— А кто?

— Наверно, Сельби... Жена, он ей брат.

— О чем говорили?

— Она мне не сказала. Не сказала даже, что был звонок. Родственникам всегда есть о чем поговорить.

— А вот это... — Айдогдыев взял в руки верхний лист бумаги. — Ты написал в объяснительной от двадцать девятого числа, что ты возвращался от сына, который находился в госпитале.

— Да, правильно.

— Но не указал, когда и в каком состоянии твой сын попал в госпиталь.

— Не потребовали объяснений по поводу сына, а то б написал, конечно.

— О чем с сыном говорили?

— Никакого разговора и не было. Сын передал через дежурную, что выйти не может.

— Почему?

— Не знаю.

— К сыну ты потом ходил?

— Нет, мать его чуть ли не каждый день навещает. Если правду сказать, то я немного в обиде на сына...

— Какие у вас отношения с Гулназаром Гараевым?

— Можно сказать, неопределенные. Бывал у них на семейных праздниках. Если встретимся случайно на улице, говорим «привет» и расходимся. Общих интересов у нас нет. Он не ходит в театр, а я... не интересуюсь его работой.

— Кто устраивал сына в госпиталь?

— Сельби меня попросила, чтобы я не вмешивался в это дело.

— Вы говорили, что имеете обиду на сына...

— Обидой назвать трудно, похоже больше на ослиный каприз. Или у нас еще говорят: обидевшись на блоху, сжег одеяло.

— Давай лучше поговорим о блохе, которая заставила сжечь одеяло.

Слово за слово, Абдулла рассказал обо всем, что произошло возле усадьбы Реджепа Шалы.

— Сын твой в течение месяца, который он провел в госпитале...

— Сын и сейчас в госпитале, оставили его, чтобы оформительскими работами занимался, он художественное училище окончил...

— Сын твой в течение месяца, который он провел в госпитале, — повторил

следователь, повысив голос, — не перестал употреблять наркотики, перешел на героин. Ты знал об этом?

— Не может быть! — крикнул Абдулла. — Жена говорила, что он идет на поправку!

Айдогдыев отодвинул в сторону бумаги и направил взор на бюст Великого Яшули.

— Был ли у тебя в жизни момент, когда ты бы засомневался в этом человеке?

— Нет! — поспешно ответил Абудлла.

— Чем глубже вера в величие нашего Сердара, тем глубже мы осознаем, насколько гнусно преступление, преступный замысел выродков, покушавшихся на его жизнь.

— Правильно!

— Прежде чем кричать «правильно!», нужно задать себе вопрос: если я верю, что величие нашего Сердара неколебимо, то что я могу сделать, чтобы защитить и укрепить эту веру? Кричать «Да здравствует Великий Яшули!» легко. А как убедить людей, что ты кричишь от души? Чтобы тебе поверили?

Айдогдыев слегка откинулся на стуле. Помолчал.

— С детства помню: когда выходил из дома старейшина нашего рода, все женщины и девушки тут же скрывались. Они делали это не из страха, а из чувства глубочайшего уважения. Они этим выражали уважение — не словами. У них в крови знание и убеждение: авторитет рода в округе зависит от того, насколько уважаем своими же людьми глава рода. Выяснить, как готовилось покушение на Великого Яшули, выявить и арестовать заговорщиков — наша задача, и мы с ней справимся. Что требуется от вас? Для того чтобы любовь и уважение, питаемое вами к Великому Яшули, не дали трещину, вы должны понимать, насколько необходима наша работа. И нам приятно будет осознавать, что мы действуем, что мы беспощадно караем врагов вашим именем, именем народа, исходя из чаяний народа. Правильно?

— Правильно.

Айдогдыев придвинул бумаги к себе, горько улыбнулся.

— Слово «правильно» ко многому обязывает, ты понимаешь это?

— Там, где следует понимать, придется понимать, товарищ Айдогдыев.

— Ты поверишь, если тебе скажут, что Гулназар Гараев приносил твоему сыну наркотики в госпиталь?

— Да вы что? — рассмеялся Абдулла.

Айдогдыев смотрел на него не мигая.

— Да что вы? — повторил Абдулла. — Вы это серьезно?

Следователь молчал.

Абдулла разволновался.

— Да это же в голове не укладывается! Хыдыр же его племянник! Не может быть!

— В нашей практике все бывает, — сказал, наконец, Айдогдыев. И снова замолчал.

— Нет, вы подумайте, — заторопился Абдулла. — Какой ему интерес? Я понимаю, таким людям, как Реджеп Шалла, это выгодно. У них это система — сажать мальчишек на иглу и делать их них рабов. А Гулназар тут при чем? Где логика? У актеров есть выражение — понять логику характера. Чтобы правдиво передать образ героя, надо понять логику его характера. Иначе — ерунда получится, никто не поверит. Сила образа в том и заключается, что он должен соответствовать логике. Но тут, извините, ничего не сходится.

— А преступление само по себе вообще не соответствует логике жизни.

— Логике жизни — может быть. А логика отдельного человека — совсем другое.

— Пока ты сжигал одеяло, разозлившись на блоху, Гулназар Гараев прибрал к рукам твоего сына. И сын твой не отрицает... — При этих словах следователь поднял второй лист бумаги и положил его обратно в папку. — Как ты думаешь, с какой целью?

— И в голову не приходит!

— Мы дадим тебе время, чтобы подумал.

— А сына я могу увидеть?

— Если будет необходимость — увидишь.

Айдогдыев оттолкнул от себя папку.

Открылась дверь. Абдулла подумал, что сына привели, оглянулся в тревоге и ожидании. У дверей стоял солдат.

— Уведите, — приказал Айдогдыев.

13. Направление в ад

Солдаты с автоматами повели Абдуллу по новой, только что построенной галерее, соединяющей бывшую медицинскую академию с соседним зданием. Во дворе он огляделся. Ашхабадцы уже привыкли, что прокуратура, МВД и КГБ захватывают близлежащие дома, создавая комплексы, превращая их в цитадель. Сейчас Абдулла с удивлением заметил, что Генеральная прокуратура, оказывается, соединена со зданием Демократической партии, возглавляемой самим Великим Яшули. Не то подразумевается, что прокуратура стоит на защите демократии, не то опирается в своей деятельности на демократию. Если бы в этот момент кто-нибудь выглянул из окон Демократической партии, он мог бы видеть, как выводят Абдуллу. А может быть, даже и узнал его. Абдуллу недавно приглашали туда, беседовали, говорили, что если такие известные народу артисты вступят в ряды, то это станет ярким подтверждением торжества демократии в Туркменистане.

Абдулла горько улыбнулся: теперь великое торжество останется без его персоны.

Через незаметную дверь они попали на асфальтированную площадку, огороженную черными жестяными листами. Здесь стоял джип. Солдаты впихнули в него Абдуллу, сами сели с двух сторон. Шофер даже головы не повернул. Машина не трогалась с места. Шофер и солдаты молчали. Абдулла ощутил, как холодеют ладони, и начал злиться на себя. Говорят, от страха вянут цветы, но он же не цветок. Он просто трус. Причем с детства. Мама рассказывала, что совсем маленьким, испугавшись чего-нибудь, он замирал, словно бездыханный синий камень, пугая отца и мать до смерти. До трех лет продолжалось, а потом прекратилось.

На площадке появился офицер в зеленом берете, сел на переднее сиденье, положил коричневую папку на колени и задвинул штору на боковом окне. То же самое сделали шофер и солдаты по бокам от Абдуллы. Машина тронулась.

Абдулле казалось, что молчаливые солдаты, молчаливый шофер и молчаливый офицер разыгрывают сцену из жизни Латинской Америки давних лет. Из фильмов про Латинскую Америку. Эскадроны смерти, солдаты в джипах с открытым верхом носятся по улицам, хватают, расстреливают на месте, увозят, пытают и снова расстреливают. В советские времена часто показывали. Кино можно придумать, но в репортажах по телевизору то же самое было.

Никто не снимает репортаж, как везут Абдуллу. Куда? В народе шепчутся, что в туркменских тюрьмах, в подвалах комитета нацбезопасности пытают так, что эскадронам смерти и не снилось. Сейчас он узнает на себе, правда это или слухи. Но вот что странно — страх куда-то исчез. Наверно, от мыслей о спектакле. Происходящее казалось нереальным.

Боковые окна занавешены, но сквозь лобовое стекло Абдулла видел, что машина промчалась через центр города, миновала туннель под железной дорогой, сделала несколько поворотов на коротеньких улицах и остановилась перед железными воротами. Вышел сержант с автоматом, отдал честь сидевшему в машине офицеру. Тот показал ему бумаги, опять же ни слова не произнеся. Ворота отъехали в сторону, как вагон по рельсам. Джип остановился у приземистого бетонного здания. На этот раз офицер вышел. Послышался грохот железных дверей, потом наступила тишина. Абдуллу охватило чувство безразличия. И даже возникло любопытство. Интересно, что же будет?

В лобовом стекле показался сопровождающий его офицер. Один из солдат тотчас выскочил из машины и направил автомат на Абдуллу:

— Выхо-ди!

Пока Абдулла вылезал, успел подойти второй солдат, и они вдвоем, крепко схватив за плечи, втолкнули его в черную железную дверь в бетонной стене без окон. Абдуллу тотчас обступили другие солдаты. Не только с автоматами, но и с дубинками, висящими на поясе. Его подвели к деревянному барьеру, за которым, уткнувшись в бумаги, сидел мощный человек с четырьмя маленькими звездочками на погонах. Капитан, комендант, или дежурный офицер по тюрьме. Капитан поднял голову, и Абдулла его узнал. По абсолютному безразличию в его взгляде понял, что он тоже узнан. Абдулла сразу понял, что капитан делает вид, будто впервые видит его, но не из чувства враждебности, а из чувства невысказанного тайного сочувствия. «Я понял тебя, капитан», — мысленно сказал ему Абдулла и невольно улыбнулся.

— Смотрите-ка, он улыбается! — изумился капитан. — Он не понимает, куда попал? Сделайте так, чтобы быстро понял!

Две дубинки с двух сторон обрушились на плечи Абдуллы. Он даже вскрикнуть не смог — задохнулся от неожиданности и боли, согнувшись пополам.

— В третью камеру, — приказал капитан.

Абдуллу подвели к железной двери в дальней стене дежурной части. Она была словно крепостные ворота — поперечный железный засов, два ключа, торчащие в скважинах. Откинули засов, провернули ключи — и в нос ударило зловоние. Взгляду открылся коридор с железными дверями по обе стороны. Двери были не покрашены, со свежими следами электросварки.

Абдуллу втолкнули в крайнюю камеру, захлопнув за ним дверь. Когда глаза привыкли, он увидел, что под потолком тускло желтеет лампочка, и еще свет с улицы проникает в камеру сквозь маленькое квадратное окно у самого потолка. Вонь такая, что можно в обморок упасть.

— Сынок, проходи сюда, и тебе найдется место.

Абдулла повернулся на голос: у стены шевельнулась белая шляпа. Абдулла прошел по узкому проходу между лежащими телами.

— Салам алейкум.

— Салам. Садись сюда, — указал человек в соломенной шляпе на свободное место рядом. На вид ему было лет шестьдесят-семьдесят. Абдулла сел на шероховатый бетон. — Первым делом, сынок, тебе надо отдышаться, прийти в себя.

И умолк, даже слегка отвернулся, давая новичку возможность оглядеться.

В голой камере, без коек или нар, сидели, а в основном лежали человек тридцать, чуть меньше. Бетонные стены, бетонный пол — бетонная коробка. Абдулла снял джинсовую куртку, подстелил под себя.

— Вот, уже устроился, — со смешком сказал человек в соломенной шляпе.

Абдулла обратил внимание на двух мужчин в углу напротив. Голые плечи, мускулистые руки. Сидят, чуть не уткнувшись лоб в лоб, челюсти двигаются. Видимо, что-то едят. И не обращают никакого внимания на лежащего неподалеку седого мужчину. Тот пытается повернуться то на левый бок, то на правый, но не может, стонет и остается лежать на спине.

— Говорит, что шофер, дальнобойщик из Турции, — объяснил человек в шляпе. — Ночью его забрали, только что, перед тобой, привели и бросили сюда. Сердечник, оказывается. Я тоже сердечник, валидол в кармане ношу. Ему дал.

Как понял Абдулла, всех, кто в камере, взяли неожиданно, без вещей. Привезли, кто в чем был. То там, то здесь валялись комки не то ветоши, не то пакли. Как в гаражах.

— Возьми, это тебе пригодится, — сказал человек в шляпе и протянул ему пустую пластмассовую емкость. Абдулла взял, хотя и удивился. На этикетке изображение дворца Великого Яшули, крупными буквами написано название напитка — «Золотой век», а чуть ниже, более мелкими буквами: «XXI век — Золотой век туркмен». —

По малой нужде здесь не выводят. Приспичит — мочись сюда. А пока можешь под голову подложить.

Мужчина в джинсах, с голым торсом и прической ежиком, приподнял голову:

— Удивляюсь я тебе! — сказал он человеку в шляпе и перевернулся на другой бок. Сосед и покровитель Абдуллы ничего ему не ответил, лишь снял соломенную шляпу и стал обмахиваться.

Заскрежетали ключи. Дверь открылась, ослепив ярким светом из коридора. Два солдата внесли два ведра воды, поставили у порога и, быстро повернувшись, ушли. Наверно, бежали поскорей от жуткой вони. Только и у них в коридоре немногим лучше. Но все же лучше.

Люди в камере зашевелились, двинулись к ведрам. В одном из них плавала алюминиевая кружка. Три-четыре руки одновременно протянулись к ней. Кто-то, не вытерпев, припал к краю ведра, наклонив и выплеснув.

— Не разливай, другим не достанется!

— Каждому по одной кружке, имейте совесть!

— Опомнитесь, среди нас яшули, вначале окажем ему уважение!

Головы повернулись к соседу Абдуллы.

— Спасибо, но мне много не надо, — сказал человек в шляпе. — Глоток на дне ведра — и хватит. А вот о турке надо позаботиться — человек в чужой стране. Если уедет — пусть вспомнит, что ему помогали, чтоб не осталась обида на нас...

Абдулла, взяв кружку, подошел к турку. Лицо бледное, еле дышит, глаза закрыты.

— Попейте немного, легче будет.

Приподнял, придержал ему голову, и турок припал к кружке. Пил медленно, но не отрываясь. Потом стал громко шептать:

— Дайте мне воздуха... воздуха...

Абдулла подложил ему под голову лежащую рядом тряпку и стал обмахивать его лицо. Турок посмотрел на Абдуллу, медленно подняв веки:

— Пусть Аллах сохранит тебя под сенью своей!

И закрыл глаза. Похоже было, боится тратить силы. Забормотал, не открывая глаз:

— Брат, пусть Аллах спасет каждого от зла, называемого клеветой... Меня избили... а с вашими, с туркменами, еще хуже... Их пытают... Я не понимаю, брат, почему туркмен так мучает туркмена?

— Лежите, придите в себя, — стал успокаивать его Абдулла.

Мускулистые мужчины, сидевшие напротив, были похожи друг на друга, наверно, братья. Один из них повернулся к турку и проворчал:

— У них самый лютый враг — русские. Вряд ли вам, туркам, удастся заменить русских.

— Хватит! — прервал его брат и приложил палец к губам: молчи, не болтай лишнего.

Турок не то впал в забытье, не то уснул. Абдулла хотел попросить братьев присмотреть за ним, но передумал. Вспомнил, как равнодушно сидели они и что-то, кажется, ели, в то время как турок перед ними ворочался и стонал. Скажут: «Раз ты такой заботливый, сам за ним и присматривай».

Абдулла вернулся к человеку в шляпе. Тот придвинул к нему кружку с водой, стоявшую между ними. Только тут Абдуллу одолела жажда, и он выпил ее залпом, даже капельки со дна подобрал.

Опять загремели замки и засовы. Принесли хлеб в полиэтиленовых сумках.

Охранник захватил с собой ведра и кружку. Прежде чем закрыть дверь, предупредил:

— Каждому по полбуханки. Кому не достанется, я не виноват.

И ухмыльнулся, думая, наверно, что сейчас начнется давка.

Но никто не набросился на хлеб.

— Сынок, возьми на себя труд, раздай каждому его долю, — попросил Абдуллу человек в шляпе.

Абдулла, удивляясь выпавшей ему роли, с сумкой в руках обошел камеру.

Затем сам начал есть. Хоть говорят, что с голода и отруби сладкие, он еще, видно, не дошел... Кусок в горло не лез. Бывая на гастролях, он знал, какой хлеб пекут в отдаленных районах. Говорили, что пшеница сильно засорена, что местные начальники, опасаясь нагоняя, поспешно убирают ее, не дождавшись созревания. Но тот хлеб, по сравнению с тюремным, вполне был съедобен. Здесь даже не отруби, а опилки пополам с глиной, к тому же с горьким привкусом.

Его сосед снял серый пиджак, подстелил его под себя. Снял и шляпу. Гладко выбритая голова и очень белое для туркмена лицо светилось в полумраке камеры. И рубашка у него была белая, хотя потемневшая от пота.

— Поясница болит, — сказал он. — Дома всегда в теплом поясе ходил, а тут, как назло, снял перед арестом. Мне уже семьдесят, не думал и не гадал, что в мои годы кутузку придется испытать.

Абдулла сочувственно покивал.

— Так и узнаем на опыте: и в тюрьме живут, — усмехнулся сосед. — Важно оставаться человеком, делать для людей что-то полезное... Сказал бы — богоугодное, но я — атеист.

Абдулла вскинул голову и широко раскрыл глаза в удивлении. Сейчас все — верующие, вчерашние коммунисты — в первую очередь. А тут — открыто говорит, что в Аллаха не верит, да еще старый человек — необычно, смело, даже вызов...

— Да-да, атеист. Поэтому и говорю о делах для блага людей. Когда говорят о делах, угодных богу, рассчитывают на признательность свыше? Не понимаю. Бог не отчитывается перед людьми. Кто в ад попал, кто — в рай, тоже никто не знает, с того света не поступает информация. Вот и получается, что люди на этом свете должны определять...

— Ну, прекрати же, папа! — повернулся к ним мужчина в джинсах, с голым торсом и стрижкой ежиком. Тот самый, что давеча говорил: «Удивляюсь я тебе!». Он сидел рядом с мирно спящим парнем с таким же белым, как у соседа Абдуллы, лицом.

— Эти мои сыновья, — сказал сосед. — Нас вчера привезли. Ты, наверное, как и мы — родственник тех, кого объявили террористами, нет смысла даже спрашивать тебя об этом. Кто же мог совершить это? Думал, думал, семь раз отмерил, один раз отрезал и, наконец, нашел ответ. Все доводы для доказательства готовы. Никто, кроме мулл, сейчас не может совершить это гнусное дело.

— Пап, будь добр, помолчи, пожалуйста, хотя бы нас пожалей! — взмолился младший сын, проснувшись.

А потом вдруг подбежал к двери камеры и закричал во все горло:

— Почему на прогулку не выводят?!

Открылось окошко.

— Заткнитесь там! Сидите тихо! — раздался голос надзирателя.

— Задыхаемся, выведите хотя бы на пять минут! — закричал парень и с размаху стал бить кулаком по железной двери, а потом замер, прижавшись к ней лбом. Видимо, немного успокоился и медленным шагом прошел на прежнее место.

Открытая дверная амбразура и маленькая вентиляционная решетка под потолком — вполне достаточно для сквозняка. Дышать бы в камере стало гораздо легче. Но окошко закрывают наглухо. Чтоб помучились, чтоб жизнь медом не казалась. Абдулла слышал рассказы об этом на воле — сейчас испытывает на своей шкуре. Правда, некоторые возмущались, говорили, что это выдумки, поклеп, что туркмен никогда не станет так измываться над туркменом. Другие утверждали, что в следственных изоляторах, где в ожидании суда сидят очень долго, за каждый час сквозняка надзиратели требуют деньги.

В камере воцарилась тяжелая тишина.

Абдулла наконец-то остался наедине со своими мыслями. А то как-то очень бурно прошли первые его часы и минуты в тюрьме.

Перед глазами возник дородный капитан в дежурке, который оформлял его заключение, приказал поместить в этой камере, а перед этим велел избить дубинками: «Смотрите-ка, он улыбается! Он не понимает, куда попал? Сделайте так, чтобы быстро понял!»

Абдулла его сразу узнал. Фамилия Пащик. Или Пащиков. Он его встретил лет пятнадцать назад, еще при Советском Союзе. В клубе работников министерства внутренних дел самодеятельные артисты-милиционеры ставили спектакль, кажется, комедию. Почему-то считалось, что комедия легче и лучше будет восприниматься зрителями. Абдуллу попросили с неделю походить к ним на репетиции, помочь советом мэтра. Надо сказать, ему было приятно. Милиционеры смотрели на него, как на полубога — человека с артистических высот, недоступных простым смертным. Тогда и запомнился ему молодой милиционер по фамилии Пащик или Пащиков. Он был не такой мощный, конечно, как сейчас, и на худощавом лице выделялся большой нос. Ехидные сказали бы, что вначале был сотворен нос, а потом уже остальные части тела, более или менее соответствующие. Человеку с таким носом почти обеспечен некоторый успех в актерской жизни — почему-то считается, что в любой комедии непременно должен быть персонаж с большим носом.

А Пащик или Пащиков хотел быть артистом. С трогательной наивностью признавался Абдулле: «Если не смогу артистом стать, ну тогда пусть, тогда останусь милиционером». А еще он писал стихи. Детские. Читал их Абдулле. Про козу, барана, лошадь, ишака, про собаку, что осталась в его родном ауле. И так же трогательно наивно объяснял, что детские стихи пишет для начала, а когда научится, перейдет к стихам взрослым.

Артистом он не стал — остался милиционером. И сделал карьеру. В тюрьму президентской службы охраны не всякого назначат.

14. Смерть атеиста

— Кто-нибудь из твоих ходит в школу?

— Дочь учится в русской школе.

— У русскоязычных в нашей стране нет будущего. Туркмены в двадцатом веке арабский алфавит сменили сначала на латинский, потом на русский. Теперь колесо крутится в обратную сторону. Кто будет властвовать, тот и внедрит подходящий для себя алфавит. Долго ли продержится латиница? Страну прибирают к рукам муллы. А они будут внедрять арабский алфавит.

— Ну что вы! Латинский алфавит ввел Великий Яшули! Неужто муллы пойдут против него? Они же называют его подобным пророку.

— Сегодня называют... А что будет завтра? Впрочем, и завтра могут называть, вещать от имени Аллаха и от имени Великого Яшули, а политику поведут другую. Слова ничего не значат. А жизнь алфавита дольше человеческой жизни. Что значит сменить алфавит? Это значит — лишить народ, будущие поколения прошлого. Отрезать его начисто! Когда заговорили о смене кириллицы на латиницу, я отправил письмо на имя Президента. Написал: прежде чем переходить на латиницу, надо издать все книги прошлого на латинице, чтобы не прервалась связь культур. Все книги! Это гигантская работа. Но ее надо сделать. Иначе — страна полных неучей, страна без научного, культурного фундамента.

Старик сел, торопливо обшарил карманы брюк, достал таблетку, кинул в рот, судорожно проглотил и затих в ожидании. Его неровное дыхание успокоилось, и он прилег.

— Я сорок лет преподавал в университете, — тихо заговорил он. — Меня выгнали. Я объяснял студентам, что муллы поднимают зеленое знамя ислама не ради

ценностей веры, а чтобы завладеть властью. По их воле слово «студент» заменили словом «талиб». Это грубейшее нарушение Конституции. Талибами называют только учащихся медресе. А наши институты — не духовные заведения. Мои слова в тот же день дошли до мулл. И меня отправили на пенсию.

— Да, против мулл идти опасно, — согласился Абдулла.

— Если сейчас провести выборы абсолютно открыто, гласно, то выберут тех, на кого укажут муллы, — вот в чем дело. Чиновники понимают это и лебезят перед ними. А Великий Яшули ничего не замечает. Надо сказать ему: твои враги не мы, твои враги — муллы. Людская масса ушла из рук государственной, гражданской, цивилизованной власти и перешла к муллам. Колхозы развалены, прежние заводы-фабрики не работают, клубы, библиотеки, кинотеатры закрылись. Где теперь можно увидеть людское собрание? На свадьбах, праздниках, похоронах, поминках. А кто там главное лицо? Мулла! Он и газета, и радио, и телевизор, он и оратор, и организатор, и специалист, и академик. Сказать что-то против них — все равно что выступить против Аллаха. Время работает на них. Время и... сама власть. Знаете, сколько людей погибло после того, как отменили бесплатную медицину? Кто ее отменил? Зачем? Кто подтолкнул власть на это? Результат известен — у бедняков нет денег на лечение, они идут к муллам — жалуются на жизнь, отводят душу. А муллы, обрати внимание, не торопятся, постепенно готовят захват власти. Могут в подходящий момент направить недовольство народа против правительства. Как говорится, лепи чурек, пока раскален тамдыр. А могут и не направлять ничего — власть сама собой перейдет к ним в руки. Проснется завтра Великий Яшули — и вдруг увидит с удивлением, что каждый его президентский указ негласно утверждается у имама или муфтия. Иначе он — бумажка... Если не довести ситуацию до Президента, то послезавтра мы окажемся в исламской республике. Туркменский аятолла станет решать и вещать, а президент при нем — как марионетка.

Один из братьев-здоровяков распустил пояс, повернулся к стене — послышалось журчание струи, льющейся в пластмассовую емкость.

— Ну, вы загнули, яшули, — сказал он, застегиваясь. — Послушать вас — ничего не остается, как вытянуть ноги и помереть. У вас получается как в поговорке — «Рассердившись на жизнь, проклял и бога». А каждый из нас надеется благополучно отсюда выйти, увидеть своих детишек. Лично я считаю: похороны без заупокойной молитвы — все равно что зарывание в землю падали. А вот когда муллы прочитают *джаназу*, родственники и сыновья с плачем понесут гроб, мой дух будет удовлетворен и скажет: «Молодцы». Пусть достойная смерть станет и вашим, яшули, уделом, и моим, и всех мусульман.

Он стоял, почесывая голову, ожидая ответного слова от человека в шляпе. Тот молчал. Раздался стон турка, потом сдавленный вскрик, будто его душили, схватив за горло.

— Дайте воздуха... умираю... ой, умираю... — зашептал он. Все смотрели на Абдуллу, ожидая, что он придет на помощь. Абдулла начал обмахивать лицо турка. Внезапно турок задрожал всем телом, глаза закатились.

— Позовите доктора! Стучите в дверь, он умирает!

Абдулла бросился к двери, забарабанил по ней кулаками, и пока стучал, не спускал глаз с умирающего. В двери открылось окошко.

— Что стряслось?

— У турка сердце схватило, умирает!

— Ты о себе позаботься.

Окошко захлопнулось. Абдулла с упорством отчаяния снова начал обмахивать несчастного турка.

— Глоток воды есть у кого? Дайте воды!

Кто-то протянул пластиковую баклагу с мутной жидкостью на дне. Абдулла приподнял голову дрожащего турка. Когда вода попала ему в рот, турок вздрогнул, ощутив влагу на губах, затем с жадностью сделал два глотка. Новый приступ удушья скрючил его тело, и он обхватил Абдуллу.

Подошел человек в шляпе:

— Ты обмахивай лицо, я подержу голову.

Похоже, волна удушья начала понемногу спадать. Турок отпустил Абдуллу, расслабился, вытянулся на полу. Зашептал хрипло, не открывая глаз:

— На мне нет вины... Клянусь детьми, брат.

— Бредит... Держите голову, чтоб не ударился, если припадок начнется.

— Вроде немного успокоился.

Задранная рубашка открыла живот, покрытый багровыми кровоподтеками. Абдулла и человек в шляпе понимающе переглянулись. Абдулла двумя руками подтянул подол рубашки, прикрыл живот. Поймал себя на мысли, что делает так, словно накрывает тело усопшего.

— Задержали, брат... Я не знаю... И сейчас не знаю, клянусь... Ты брат мне, туркмен...— снова начал бредить турок. Тело его напряглось.

— Дадим еще глоток воды.

С грохотом открылись двери. Стремительно вошли три надзирателя с носилками. Грубо перевалили на них тело турка и так же стремительно удалились. Уже в закрывающуюся дверь кто-то закричал:

— Выводите нас! Здесь, что ли, срать?! Невтерпеж уже!

Через некоторое время опять открылась дверь, и камера встрепенулась, думая, что сейчас выведут...

— Нурыев Абдулла!

— Я... Здесь.

— На выход!

Его провели по коридору в дежурку. За барьером сидел тот же капитан. Пащик или Пащиков. Несостоявшийся актер из милицейского драмкружка.

— Артист, ты дурак или притворяешься? — спросил он.

Абдулла смотрел на него, чувствуя какой-то подвох.

— Если не понял, то объясняю: здесь не театр! И не надо здесь играть роль положительного героя, ясно? Положительные герои за воротами тюрьмы, дома сидят, а в тюрьме — преступники. И мы делаем так, чтобы люди за воротами смеялись, а здесь — плакали. Врежьте ему, чтоб запомнилось!

Стоявший сзади надзиратель с хэканьем вытянул Абдуллу дубинкой вдоль спины. Абдулла согнулся от боли, упал лицом на барьер.

— Хватит! Артисты с одного раза запоминают, так?

Капитан открыл барьерную дверцу:

— Заходи, артист!

Абдулла, с трудом разогнувшись, прошел за барьер. Капитан кулаком в спину толкнул его дальше, к служебной комнате. Затем еще сильнее, так, что Абдулла влетел в нее и наткнулся на диван.

Капитан вошел вслед за ним и с порога начал орать:

— У тебя здесь роль одна — молчать!

И изо всех сил ударил дубинкой по диванному валику.

— И не высовываться!

Ударил еще раз. Развернулся, закрыл дверь и сказал уже спокойно:

— Ну что, не получился из меня артист?

И криво улыбнулся, без смеха в глазах.

— Садись.

Абдулла сел на диван. Кроме дивана в комнатке помещался канцелярский стол с чайником и пиалами на нем, три стула, старый, чуть ли не ржавый холодильник, и на стене — портрет Президента в форме главнокомандующего Вооруженными силами республики.

— Ты как сюда попал?

— Привезли.

Капитан открыл дверь, выглянул в дежурку, затем запер дверь изнутри на ключ.

— Что ты натворил? Твое дело ведет главный следователь Айдогдыев.

— Да, он...

— Понятно, — кивнул Пащиков или Пащик.

Он задернул белые занавески на открытом окне, но створки не закрыл. Оттуда шел горячий, но свежий воздух. Абдулла поднял к окну измученное лицо, вдыхая всей грудью.

Пащик открыл холодильник, достал несколько кружков нарезанной колбасы, наломал кусками хлеб и налил в коричневый от заварки стакан холодного чая.

— Ешь, только не подавись. На меня не обращай внимания, действуй.

Абдулла припал к чаю. Залпом выпил стакан, налил еще и стал есть.

Встав возле двери, капитан заговорил в полный голос:

— У кого-то болит сердце, у кого-то понос или запор — а тебе какое дело? Ты что, в каждой бочке затычка? Кому плохо — сам скажет, у всех язык есть, понял?

Он еще раз ударил дубинкой по твердому валику дивана.

Абдулла не заметил, как проглотил весь хлеб и всю колбасу.

Пащик налил ему чаю.

— Жена ничего не знает... Меня без нее взяли, — сказал Абдулла. — Сможешь позвонить?

— Ни в коем случае. Ты в такой список попал, что там сплошная прослушка. Меня сразу возьмут и такое со мной сделают, что имя забуду...

— Понял, понял...

— А без меня тебе здесь еще хуже будет. В свою смену, если смогу, буду стараться помочь. Остальное не в моих руках. Вам только бог поможет.

— Да и так спасибо, что ты...

— Что бы ни говорил Айдогдыев — со всем соглашайся. Это самый страшный человек в системе. Говорят, его генеральный прокурор боится.

— Понял.

— Раньше здесь держали наркодилеров, гонцов... Срочно перевели в другое место. Шесть камер, все шесть заполнены, до сих пор везут...

В дверь постучали. Пащик приоткрыл.

— На прогулку их выводить, товарищ капитан?

— Выводите, — кивнул Пащик. — Двадцать минут! А этого я сам доставлю!

Сел за стол, ткнул пальцем вверх.

— Пока Он сидит, тебе дорога в театр закрыта. Скажи спасибо, если жив останешься. Теперь ты понял, куда попал? Одну ночь пробудешь — еще лучше поймешь. Здесь выживет тот, кто в стороне. Не говори ни одному человеку ни одного слова. С кем бы что бы ни произошло — не вмешивайся. Турку ли, русскому от твоей помощи проку не будет. Турок не рассказывал, почему он арестован?

— Говорил, что оклеветали.

— Брешет! Он специально прибывший террорист! В его машине обнаружено оружие.

Капитан опять поднял палец вверх:

— Он! Он турков называет братьями. Мы их принимаем как братьев, все для них делаем. А что они? Сначала едят из нашей миски, а потом в эту же миску гадят — разве не так получается? Сейчас ты выйдешь на прогулку. Потом — в камеру. Скоро приведут одного русского — не вздумай к нему близко подходить. Пусть с него хоть кожу сдирают, тебе до этого не должно быть никакого дела. От старика в шляпе держись подальше. Один из организаторов покушения — его младший брат. Переберись в другой угол, ночью ложись лицом к стене. Пусть мир рушится, земля рядом с тобой проваливается — не обращай внимания.

— Понял.

Абдуллу вывели в узкий внутренний двор, огражденный бетонными заборами. Как бетонный пенал. Сверху — два ряда колючей проволоки. По краям — сторожевые будки. Солдаты с автоматами глаз не спускают с заключенных, вышагивающих вдоль забора парами, рядами. Абдулла встал в последнем ряду, ему пары не было.

Как утопающий хватается за соломинку, так и Абдулла сейчас надеялся на

капитана Пащика. Почему Пащика? Может, он Пащиков? Абдулла не спросил, испугавшись, что тот обидится, расценит его вопрос как высокомерную, пренебрежительную забывчивость. Да, надо вести себя только так, как говорит Пащик. Пусть мир вокруг рушится — он его не спасет, даже если сильно захочет. Надо самому спасаться. Если артист сыграл роль Назара Чагатаева — это не значит, что он и в жизни должен быть таким. У Абдуллы нет той силы духа, несокрушимой веры и отваги, какими обладал Назар Чагатаев. А раз нет, так и нужно сказать — нет! Назар Чагатаев никогда не послушал бы советов капитана, а если бы и захотел, ...ему б не позволил писатель Андрей Платонов. Назар Чагатаев — зависимый от воли писателя выдуманный герой. Абдулла — живой человек. Его преимущество в том, что он чувствует и понимает реальную опасность. Абдулла знал, что он слаб, не боец. Да и что значит — быть бойцом? С кем и с чем воевать?

Когда их завели в камеру, Абдулла, опережая других, занял дальний угол, лег, повернувшись лицом к стене, сжался, опасаясь, что кто-нибудь заявит свои права: мол, его место... Но никто и слова не сказал. На воле солнце зашло за забор, в камере быстро темнело. Абдулла расслабился, ощущая приятную усталость. Чаю напился, колбасы с хлебом наелся, даже к жуткому смраду камеры стал привыкать. И скоро уснет. Глаза уже слипаются. И это лучше всего, сон нужен сейчас.

В камере тишина. Ни разговоров, ни шевеления. Каждый остался наедине со своими печалями, со своими мыслями.

Сельби сейчас, наверно, мечется, ищет его. Звонит всем знакомым, в театр, наверняка зайдет к Джемал. Тагану как руководителю театра сообщили об аресте Абдуллы или нет?

С грохотом открылась дверь. Послышалась возня. Абудлла повернулся. Человек стоял, прижимаясь спиной к стене. Затем начал сползать и сел, вытянув ноги. Голова упала на грудь, рыжие волосы рассыпались, закрывая лицо. Если б какой-нибудь артист сыграл так на сцене, Абдулла заболел бы профессиональной завистью. Пащик сказал: «Приведут одного русского — не вздумай к нему близко подходить». Похоже, он и есть, видно, что пытали. Никто не подозвал его к себе, человек в шляпе тоже не издал ни звука.

— Сволочи! — прохрипел русский. — Дилетанты! Старых работников выгнали, набрали молокососов, дураков. Кто их набирал — такой же дурак. Я работал с Шамурадом Мухаммедовым. Но когда работал?! Скоро два года, как уволился из КНБ, уехал в Россию...

В камере стало так тихо, как никогда не было.

Шамурад Мухаммедов — некогда младший соратник Великого Яшули, прямой начальник КНБ, МВД и министерства обороны, был уволен со всех постов и недавно объявлен организатором покушения на Президента. Так вот он кто, этот русский!

— У меня в России дом, работа, я гражданин Российской Федерации, — говорил между тем русский, подняв голову, обращаясь ко всем. Абдулле стало не по себе, даже неловко. Ну не делается так — сразу ко всем обращаться, не на трибуне же — в камере. Зачем?

— Я приехал забрать с собой маму, мы продали квартиру, взяли билеты на завтра... Мне подбросили мой пистолет, который я сдал два года назад... Я ваш бывший соотечественник, я уважаю эту землю, это и моя родная земля... Я говорю, чтобы все это осталось в вашей памяти. Они хотят заключить со мной сделку. Я должен наклеветать на Шамурада Мухаммедова. Должен сказать, что прилетел в Ашхабад по его приказу, как член его группы, как участник покушения на Президента. Мне говорят: «Не волнуйся, ты в тюрьме долго не пробудешь, мы передадим тебя российской прокуратуре как гражданина России». Я рассказываю не для того, чтобы вы были свидетелями. Вы ими не будете, вам не дадут никогда. Я рассказываю, чтобы вы знали и запомнили правду...

Он замолчал, отполз от двери и вытянулся на полу во весь рост. В камере ни один человек не проронил ни звука, не было слышно ни малейшего движения. Абдул-

ла почти был уверен — каждый думает про себя: «Если начнут допрашивать, скажу, что спал, ничего не слышал...»

Каждый мечтает заснуть. Забыться, выключиться из этого страшного мира хотя бы до утра. Если удастся — значит, бог к тебе милостив.

«Вот... — обратился он к капитану Пащику. — Все делаю, как ты велел. Отвернулся, никого не слышу, никому не верю, ничего не помню. Даже если увижу собственными глазами — не поверю, спрошу Айдогдыева, что говорить. Правильно я себя веду, капитан Пащик?»

Абдулла почувствовал, как похолодели ладони. Приложил их к бетонной стене. Она была еще теплой от дневного зноя, от нестерпимой духоты в камере. Но ему уже не было жарко — приятный холодок охватил грудь, спустился по животу в ноги, до пяток. Прохладно, как в жаркий день, когда веет свежестью в саду от легкого ветра, и так сладко спится в тени тутовника...

Абдулла увидел себя в юрте с наглухо закрытым верхом и дверью. В руках — палка. Он гоняется за котом, ворующим мясо из *карына.* Но этот кот не давешний желтый, а черный, как жуть. Только глаза горят. Черный кот начал кружить по своду юрты. Абдулла сразу, как будто читал его мысли, понял, что кружит он не из страха, а из точного расчета. Все быстрее и быстрее. Вот уже и юрта закружилась — но в обратную сторону. Абдулла закрыл глаза, пытаясь спастись, удержаться, но не помогло. В голове зазвенело от нестерпимого кружения, сердце зашлось, подступила тошнота, ноги обмякли — и он рухнул на пол. Кот спрыгнул, ухватил тяжелый *карын* с набитым в него мясом, легко взлетел под свод юрты, сверкнул оттуда горящими глазами — и обрушил *карын* на голову Абдуллы. От удара голова перестала кружиться, он открыл глаза и увидел стаю котов, которые с урчанием пожирали разлетевшееся по юрте мясо. Услышал человеческие голоса, но не успел понять, кто пришел, как получил еще один удар по голове. Стало темно. Абдулла поднял голову, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, и тут же получил удар по плечу. Вдруг глаза ослепила вспышка света — и он понял, что сон закончился. По камере ходили надзиратели с фонариками. Почему-то свет не включали. По стенам и потолку бегали зловещие тени — от людей, от поднятых дубинок. В какой-то миг луч света ушел в сторону и высветил людей в черных масках. Абдулла в ужасе закрыл глаза. Он ничего этого не должен знать и видеть! Не дай бог заметят, что наблюдает за ними. Абдулла еще плотнее сжал веки и услышал над собой голос: «Это не он».

Шаги удалились. Абдулла скорчился и обхватил голову руками. Когда поднимался сильный ветер и расшатывал остов юрты, он, мальчик, сжимался в комок и шептал заклинание: «Уйди, беда! Сверни в сторону, беда!». И сейчас, взрослый человек, отец семейства, повторял те же слова...

В отдалении, возле двери, началась возня, послышались удары, тычки, пинки, хрипение. Видно, набросились на беднягу русского. А он сопротивляется. Знает же, что никто не придет на помощь, что будет только хуже — все равно сопротивляется.

— Сволочи! Сволочи вы! — раздался голос русского. Затем — шлепок от удара дубинкой, характерный звук пинка в обмякшее человеческое тело — и все смолкло.

Шаги переместились в угол, который занимал человек в шляпе и его сыновья.

— Вы что делаете? Он же старик, у него больное сердце!

Абдулла узнал голос белолицего парня. Затем раздался хрип, удар и началась свалка. Видать, сыновья бросились на защиту отца. Несколько человек бежали из того угла, боясь быть затоптанными. Один из них наступил на Абдуллу и попытался втиснуться между ним и стенкой. Абдулла схватил его за плечо и опрокинул на спину. Тот скорчился на том месте, где упал, и замер. Как бы этот несчастный не обмочился от страха, и без него вони в камере хватает.

Сыновей яшули, очевидно, усмирили, повалили на пол. Слышались только удары дубинок по телу.

Открылась дверь. Кого-то волоком тащили, с кряхтеньем. Наверно, русского. Дверь захлопнулась — в камере наступила тишина как после урагана. В голове

шумело, плечо болело. От удара дубинок, конечно. «Меня тоже били», — сказал он в пространство, словно оправдываясь. Но никто не услышал.

Сыновья яшули колотили кулаками в дверь.

— Помогите! Позовите доктора!

Пришли трое с носилками, те самые, которые выносили турка. Зажгли свет. Один из пришедших, по-видимому, доктор, медленно, осторожно присел на корточки возле лежащего на спине яшули, проверил пульс. Потом сделал движение, будто прикладывает ухо к груди. У него в руках ничего нет, даже трубочки, чтобы слушать сердце. Даже медицинского халата нет — обыкновенная желтая рубашка и серые брюки. Не врач, а неизвестно кто. И посылают его, похоже, не для оказания помощи, а для выяснения ситуации.

— Дай же лекарство, сделай укол, не видишь, как он лежит! — закричал ему белолицый парень.

— Ему уже не нужно никаких лекарств, — спокойно ответил врач. — Кладите его на носилки.

Сыновья упали на колени, затряслись в рыданиях над телом. Потом, как по команде, замолчали. Положили отца на носилки, привели его одежду в порядок, погладили по лицу, взялись за ручки носилок и понесли к выходу. Путь им преградил охранник с автоматом:

— Куда? Вам запрещено выходить! Заберите у них носилки!

Один из сыновей, со стрижкой ежиком, взмолился:

— Это же наш отец! Если нас не будет на похоронах, что скажут люди?!

— Положите носилки! — приказал автоматчик. — В тюрьме сынов-отцов, матерей-дочек не бывает! Это тюрьма, понятно?!

Белолицый парень заскрипел зубами:

— Вы убили отца, вам придется отвечать!

— Все видели, все свидетели! Если нам нельзя выходить, то и труп отсюда не вынесут! Не отдадим, пока не проведут экспертизу! — заявил его брат.

Автоматчик повернулся к медицинской команде:

— Чего рот раззявили? Забирайте у них носилки.

Те двинулись было, но остановились. Братья стояли стеной. Надзиратель с автоматом крикнул что-то в коридор. Оттуда в камеру ворвались трое в черных масках, с дубинками. На братьев обрушились удары наотмашь. Они даже руками закрыться не могли — держали носилки. Как по команде бережно опустили носилки, чтоб не потревожить отца, и только после этого сели на пол, свернувшись в клубок и закрыв головы руками.

Тело вынесли. Братьев перестали бить, и они, поддерживая друг друга, перебрались на место отца под окном. Сидели, сгорбившись, трясясь в беззвучном плаче.

Камера молчала.

«Мы такие», — сказал себе Абдулла. И сам же себе задал вопрос. «Какие — такие?» Приезжий человек, шофер-дальнобойщик из Турции, удивлялся: «Я не понимаю, брат, почему туркмен мучает туркмена?». Белли Назар ответил бы сразу: в советское время в нас вбили такой страх, что с тех пор мы в полной покорности любой власти. А Великий Яшули превратил нас в рабов. Белли Назар еще бы добавил: раб на то и раб, что существо низкое. Дай ему крошечную власть — и он с садистской радостью начнет угнетать своего же брата-раба.

Абдулла не удивился, что рассуждает как бы от имени Белли Назара. Во-первых, так получалось солидней, убедительней. А во-вторых, — безопасней. Это ж не его мысли, и его нельзя заподозрить или обвинить ни в чем.

В камеру привели еще четверых. Они вошли, держась друг за друга, сели группой. Похоже, еще одна семья. Берут семьями.

Принесли еще два ведра воды, две сумки с черным хлебом. Кто-то посмотрел на Абдуллу, чуть ли не как на старшего. Мол, ты вчера распределял хлеб, давай и сегодня. Абдулла не двинулся с места.

С лязгом открылась дверь и надзиратель с порога закричал:

— Нурыев! Абдулла! На выход!

Его отвели в дежурную комнату. Пащик выглядел сильно уставшим. Окинул Абдуллу равнодушным взглядом. Он сидел на диване, причем, не развалившись, как хозяин, а чуть ли не на краешке, как в гостях. Хозяином себя чувствовал человек в штатском. «Очередной прилизанный», — отметил про себя Абдулла. Прилизанный сидел за письменным столом, на котором уже не было ни чайника, ни пиал. Только папка и бумаги.

— Садись, — ткнул он пальцем в стул. Подвинул лист бумаги с напечатанным текстом. — Распишись вот здесь.

Абдулла расписался.

— Это подписка о невыезде, — объяснил прилизанный.

«Отпускают! — обмер Абдулла. — Не может быть!»

— Теперь здесь распишись, — сказал прилизанный, придвигая другой лист бумаги.

Абдулла посмотрел на него мутными глазами. Казалось, не видел он на свете человека добрей и красивей. Прилизанный про себя усмехнулся: он знал, что чувствуют в этот момент люди — они видят в нем доброго полубога.

— Это подписка о неразглашении. Нарушишь ее — сгниешь здесь. Никто, кроме тебя, не должен знать, где ты был, что видел, что слышал. И ты сам забудь, понял?! — прикрикнул он. — Забудь — и останешься целым.

— Понял, понял, — твердил Абдулла.

Прилизанный чуть улыбнулся:

— Ты, кажется, артист?

— Да, да, артист, заслуженный артист...

— Капитан тоже когда-то был артистом! — засмеялся прилизанный. — Но вовремя понял, что милиция важней театра, так?

Пащик устало улыбнулся.

— Уводите, — приказал ему прилизанный.

Когда Абдулла и капитан вышли на улицу, Пащик сказал на прощанье:

— Я не меньше тебя радуюсь, что ты сорвался с крючка. При нынешних делах это просто чудо. И запомни, что я говорил: если еще будут вызывать — делай, как велит Айдогдыев. Любое его слово — для тебя закон, понял?

— Спасибо... Век не забуду...

— Да ладно, — сглотнул капитан Пащик. — Пережить бы эту передрягу с покушением... Завтра-послезавтра майора должен получить. Если дотяну до подполковника, уйду на пенсию. Пока... И не лезь руку пожимать... с ума сошел от радости?

Абдулла дернулся, как от тока. И правда чокнулся, чуть человека под монастырь не подвел.

— И еще, — добавил Пащик. — Неизвестно, как жизнь повернется. Если времена переменятся, не забудь, что я тебе помогал.

15. Проклятый

Когда Абдулла вышел на проспект, носящий имя Великого Яшули, с ближнего минарета раздался призыв на послеполуденную молитву. Значит, третий час. Дня.

Вчера, когда его арестовали, он не надел часы. Когда с часами на руках идешь по улицам города, чуть ли не каждый встречный спрашивает: «Сколько времени?» Даже полицейские на посту спрашивают.

В тюрьме часы не нужны. В тюрьме время останавливается. Каждый час — как вечность.

Только сейчас он осознал, что пока он проживал долгую жизнь, полную кошмаров, здесь, на воле, прошло чуть больше суток. Да, забрали его вчера утром, а сейчас — время послеполуденной молитвы следующего дня.

Абдулла смотрел на родной город, как путешественник, попавший в диковинные края. Двое дорожных полицейских на перекрестке поигрывают полосатыми жезлами. Женщины пропалывают цветы, высаженные на клумбах вдоль проспекта. Солнце палит, женщины закутаны белыми платками, лишь прорези для глаз остались. Их движения замедленны, они ждут окончания рабочего дня, захода солнца. Проспект давно не узнать. Все деревья вырублены — их заменили декоративными постриженными кустарниками и яркими клумбами. Для кого-то, наверно, красиво... Только красота эта никчемная, как и люди, создающие ее — бесплотные тени на ярком солнце. Деревья создавали уют, деревья давали спасительную тень.

Жаркое марево, поднимающееся от раскаленного асфальта, не действовало на Абдуллу. Как-то его знакомый, совершивший хадж в Мекку, говорил, что после зноя Саудовской Аравии туркменская жара для него — все равно что приятный подмосковный дождик. Так и для Абдуллы, только что задыхавшегося в смраде тюремной камеры, палящее солнце — как дуновение ветра. А ведь ад, из которого он вышел, в пяти шагах отсюда!

Муэдзин замолчал. Заключительные нотки, словно вздох муллы, с удовлетворением отмечающего, что в стране еще одним атеистом стало меньше. Атеиста профессора сегодня похоронят. Сыновья, которые должны бросить по горсти земли на его могилу, сидят в камере. Конечно, над телом атеиста обязательно прочитают *джаназу* — поминальную молитву. Кто придет на похороны? Наверно, только родственники. Друзья, знакомые будут спрашивать разрешение у местных начальников-хакимов. Ведь старый профессор — враг Великого Яшули. Пойдешь отдать ему последний долг без разрешения — вмиг вылетишь с работы. Как бы там ни было, его сегодня зароют в землю — смерть избавила яшули от мук и унижений.

Абдулла, дойдя до перекрестка, до поворота в свой микрорайон, увидел огромный щит с цитатой из священной книги Великого Яшули: «Мой любимый народ, возможно, есть в стране один-два человека, недовольных мной. Но ни у кого нет права быть недовольным Родиной. Человек, недовольный Родиной, — духовно ущербный человек».

А ниже, такими же буквами: «Произносить имя Великого Яшули — значит произносить имя Родины».

Дальше, к центру города, главная площадь, на которой высится, сверкает под солнцем позолоченный памятник Великому Яшули высотой 63 метра. В течение дня он поворачивается вслед за солнцем. Или солнце поворачивается вслед за ним? Не дай бог приснится...

Почему постоянно сны снятся? Страшные, необъяснимые. Наверно, потому, что на душе тревожно. И никому ведь не расскажешь... Только сейчас Абдулла вспомнил о сыне. Знает ли Сельби о нем? И где сейчас сама Сельби?

Она оказалась дома. Открыла дверь, как сомнамбула. Абдулла прочитал по глазам: ее поразило не внезапное появление мужа, а то, что он вообще объявился.

— Хыдыра не видел? — спросила она сразу.

— Ты знаешь, где я был?

Сельби кивнула. Из глаз побежали слезы.

— Что с Хыдыром? Почему спрашиваешь?

— Думала, его с тобой забрали... — заплакала Сельби. — Пришла в госпиталь, там говорят: в воинскую часть отправили. Я и решила, что с тобой...

— Слава богу, — выдохнул Абдулла. — Слава богу...

И почувствовал, что ноги подкашиваются...

Сельби втащила его в дом.

— Не могу... — забормотал Абдулла. — В чистый дом... Весь в грязи, в дерьме, провонял...

— Снимай с себя все здесь, залезай в ванну, колонка горит.

Когда Абдулла вышел, не помня себя от ощущения чистоты, на плите шипела яичница с помидорами, закипал чайник...

— Из театра никто не искал?

— Нет. Все знакомые словно сквозь землю провалились.

Значит, в театре знают. Ну и пусть.

— Как тебя уводили, армянин из соседнего дома видел, тот, что держит голубей. Мне вчера вечером сказала его жена. Меня забрали прямо из школы. Айдым рядом не было, повезло...

— А сейчас она где?

— У Жени. Решила — пусть день-два побудет с Олей. Они ведь прощаются... О наших делах Айдым ничего не знает, и не надо ей говорить...

— Тебя кто допрашивал? Фамилию назвал?

— Если и говорил, не запомнила. Я ничего не понимала, ничего не слышала! Сижу плачу, что уже никогда не вернусь домой, никогда Айдым не увижу, тебя...

— Где тебя допрашивали, знаешь?

— Знаю. В Генеральной прокуратуре.

— Айдогдыев?

— Не помню. Повыше тебя. Неприятный взгляд, глаза мутные, очки золотые. Говорит вроде вежливо, но страшно.

— Запомни: это Айдогдыев. Он главный следователь прокуратуры.

— Пусть проклято будет его имя!

— А что с Гулназаром?

— Всех забрали. Обоих сыновей Гулназара, обеих его невесток. В тот же день двух дочерей из института отчислили. Дом, имущество, машину — все конфисковали.

Как понял Абдулла из рассказа жены, следователь спрашивал ее о звонках Гулназара, просил вспомнить дословно, о чем говорили. Сельби все подробно ему изложила. На вопрос, почему у отца и сына сложные отношения, ответила, что дело родственное, не стоит удивляться обидам больного, попавшего в тяжелое положение ребенка. Ее показания ни в чем не разошлись с показаниями Абдуллы, а только подтверждали их полную невиновность ни в чем.

Однако Абдуллу насторожило, что следователь ничего ей не сказал о Хыдыре. О том, что Гулназар будто бы посадил его на героин. Наверно, понимал, что Сельби ни за что и никогда в такое не поверит. Велел написать объяснительную, взял подписку о невыезде, предупредил, чтобы о состоявшемся разговоре нигде никому ни слова, оставил у себя ее паспорт.

— Меня выгнали с работы, — сообщила Сельби. — Директор велел написать заявление по собственному желанию. И тебе не дадут работать. Что мы дочери скажем?

— То и скажем. Поймет, не маленькая.

— За что? — спросила Сельби. — Что мы кому сделали? Откуда такая клевета на наши головы?

— В этой стране не одни мы стали жертвами клеветы, — обмолвился Абдулла и прикусил язык. Чуть было не стал рассказывать про тюрьму.

Он взял пульт, но не успел нажать на кнопку, как Сельби, вскочив из-за стола, выдернула шнур из розетки.

— Не включай его! Пока я здесь, не включай.

16. «Быть иль не быть?»

Проснувшись, Абдулла растерянно огляделся. Спальня, привычная постель, сам он в нижнем белье. Он помнил, как вчера после полудня пришел домой, пообедал, потом прилег на диван, смотрел телевизор, но когда и как перебрался в спальню? За окном яркое утро, сияют под солнцем кроны деревьев. Сколько же он проспал? Беспробудно, и, к счастью, без снов. Устал он от них, скоро крыша поедет. И так, несмотря на долгий и крепкий сон, голова тяжелая, мутная, тело словно свинцом налилось. Абдулла с трудом поднялся, оделся.

С кухни донеслось звяканье посуды. Значит, Сельби дома. Абдулла вспомнил, что ее уволили. Теперь будет сидеть дома. Как она сможет без работы? Сельби пропадала в школе с утра до вечера, дома только о школе и говорила.

Наверно, его тоже выгонят. Абдулла при мысли об этом не испытал даже беспокойства. Ну что ж, не он первый, не он последний, кругом полно таких уволенных. Когда не один ты обездолен, унижение переносится легче. Но только не для Сельби, с ее-то характером...

— Проснулся? — стремительно вошла в спальню Сельби. — Нет, это что-то ненормальное! Не бывает так у человека со здоровым сном. Зову тебя по имени, ты отзываешься, приподнимаешься, сидишь, а глаза закрыты. Прошу встать — ты встаешь. Веду тебя в спальню, укладываю — а у тебя глаза закрыты! Спишь! Это что такое?

— Если б еще день и ночь провел в камере — двое суток бы спал, — попробовал пошутить Абдулла.

— Все равно — ненормально это.

— Холодный был?

— Что значит — «холодный»? Думай, что говоришь...

— Кх-м-м! — закашлялся Абдулла. — Я имею в виду — жара не было?

— Нет, температура вроде нормальная.

— Ну, хорошо, давай чай пить — да я на работу пойду.

— Я с тобой, — решительно сказала Сельби. — Одного не отпущу!

— Еще чего! — Абдулла сделал вид, что рассердился. — Может, на помочах водить будешь?

После долгого препирательства Сельби все же сдалась.

Театр начал подготовку к спектаклю о детских годах Великого Яшули. Обычно, когда приступали к новой постановке, на доске объявлений вывешивали приказ директора, там же — список участвующих актеров. На этот раз ничего нет. В театре и людей-то не видно. Утренние и вечерние спектакли отменили. Тех, кто не занят в новом спектакле, с сегодняшнего дня отправляют в отпуска. У лестницы, что ведет в репетиционный зал, появилась табличка: «Без разрешения вход запрещен».

Абдулла открыл тяжелую дверь в кабинет Тагана. Тот стоял возле высоченного окна, смотрел на улицу. Точно в такой же позе любил стоять Наставник, один из основоположников туркменского театра, бессменно руководивший им вплоть до смерти, народный артист СССР. Сейчас его имя не упоминается нигде. Наверно, сегодня Таган будет подражать тому Наставнику. Точно, Таган заговорил, придавая каждому слову особую значимость.

— Человек не знает, что его ждет впереди. И потому порой делает то, чего бы в другое время не сделал. Человеку можно посочувствовать, но проявлять снисхождение... Гражданский долг превыше сочувствия и снисхождения. Понимаешь, что я имею в виду?

— Таган, скажи своими словами.

— Что ж, скажу: каждый сам себе спаситель.

— Скажи яснее.

— Вечером коллектив театра проведет собрание-митинг против террора. К твоему выступлению отнесутся с особым вниманием. Причину сам знаешь.

— Хочешь сказать, чтобы я перед коллективом театра проклял родственника, брата жены?

— Я тебе ничего не говорю, ты сам должен решать! — закричал вдруг Таган, раздувая ноздри.

— Это же нечестно и некрасиво, Таган.

— А твой родственник поступил честно и красиво? Теперь вы повязаны с ним одной веревочкой. Ты должен спасать себя, сына, дочь, жену! Сельби тебя поймет.

— Таган, тебя главный следователь Айдогдыев вызывал?

— Я не обязан давать тебе отчет! Жизнь — поле боя. Твоя задача — спасти

голову! Моя задача, наша общая задача — спасти театр. Чтобы снова могли поставить «Джан», а ты бы снова сыграл роль Назара Чагатаева.

Абдулла, глядя на Тагана, мучился, что не может высказать ему все, что думает. Если бы нечто подобное говорил Белли Назар, — одно дело. А Тагану — ни на грош веры. Еще неизвестно: может, он провоцирует Абдуллу, чтобы он раскрылся, а Таган потом доложит, куда надо.

— Я уже не смогу сыграть Назара Чагатаева, — ответил Абдулла. — Я слабак, скажу больше — из трусливых, законченных слабаков. На моих глазах топтали больного старика, но я не смог сказать: «Что вы делаете?!» Когда человек сталкивается с насилием, он, оказывается, познает себя. У меня нет сил помочь моей дочери, с каким же лицом я выйду на сцену играть Назара Чагатаева? То, что ты ставил «Джан», а я играл Чагатаева — все это... театр. Иллюзия. Один мудрец объяснил смысл иллюзии на примере верблюда. Когда верблюд ест верблюжью колючку, она впивается ему в язык, выступает кровь. Кровь смешивается с пережеванной колючкой, придавая ей особый вкус. Верблюд же считает, что это и есть вкус колючки...

— У меня нет времени умничать, — прервал его Таган. — Ты должен быть на митинге. Повторяю: каждый сам себе спаситель.

— Иллюзии кончились, Таган.

Собрание-митинг проводили в зрительном зале. Помимо огромной люстры зажгли все лампы. Наверное, чтобы четко видеть лицо каждого, чтоб никто не спрятался в тени, — подумал Абдулла. Он пришел раньше всех и занял место с краю. На сцене стол, покрытый зеленым сукном. Раньше накрывали красным сукном. Многие из тех, что восседали за ним, ведя партийные, комсомольские, профсоюзные собрания, упокоились на старом кладбище, в могилах с мраморными надгробиями, бронзовыми бюстами. После того как Великий Яшули закрыл старое кладбище, наркоманы вывернули бюсты, сбили бронзовые надписи и продали в лавках, где скупают цветные металлы.

Сейчас места за столом заняли Таган, его заместитель и закутанная в белый платок народная артистка — известная в Туркмении женщина-паломница, совершившая благодаря покровительству Великого Яшули хадж в Мекку. Ее так и звали — женщина-паломница, Хаджибиби.

Да, когда-то люди, сидящие за этим столом, клеймили тех, кто крестил детей по мусульманскому обряду, кто совершал жертвоприношения в память умерших. Религия, говорили они, — опиум для народа... Абдулла помнит, как на одном из собраний в семидесятые годы *прорабатывали* пожилого артиста, совершившего обряд обрезания сыну, и парторг чуть ли не кричал, что обряд обрезания глубоко чужд туркменам, что это не туркменский обычай, что он навязан нам исламом, что это проявление религиозного терроризма. Теперь в президиуме — Хаджибиби.

В зале собрался весь театр. Джемал вошла с гордо поднятой головой, с видом человека, осознающего свое высокое положение. Она села неподалеку от стола, торопливо обвела взглядом зал. Увидев Абдуллу, поспешно отвела глаза.

Таган открыл собрание, как траурный митинг, — с печалью на лице и скорбью в голосе. Но быстро разошелся, впал в ораторский раж. Объявил, что терроризм — зло, вышедшее из хаоса демократии. Туркменскому народу он глубоко чужд, источник нравственного и политического здоровья туркмен в наших исторических традициях, в уважении к старшим. Великий Яшули восстановил в правах народные обычаи, широко открыл нам дверь в Золотой век. Что такое для туркмен настоящая демократия? Это равное для всех нас право почитать и любить нашего Великого Яшули. Гнусные террористы сами себя лишили этого права. Терроризм — заразная болезнь, пришедшая к нам со стороны. Каждый из нас должен дать оценку гнусному преступлению, чтобы смотреть в свое будущее с уверенностью. Человек, не видящий будущего, живет без вдохновения, без мечты. Он как птица без крыльев, для него чуждо настоящее искусство. А творчеству необходим полет, энергия полета, присущая птицам. У нас есть неиссякаемый источник такой энергии — это великое прошлое нашего

народа и бессмертное учение нашего Великого Яшули. На этой могучей основе мы создаем новую историю.

С Таганом все было ясно. Абдулла ждал выступления Джемал. Поднявшись с места, она как будто готовилась с высокого берега прыгнуть в воду, глубоко вдохнула и... промолчала, замешкалась. Возможно, проделала это намеренно: артист всегда артист. Затем, глядя на сверкающие подвески люстры, начала тихо, медленно говорить.

— Когда Таган вызвал меня и сказал, что я должна создать образ матери, давшей жизнь нашему Великому Яшули, как будто тяжесть горы Копетдаг придавила мои плечи. Такой груз не по силам простому человеку, простому артисту. Что делать? Я снова стала читать священную книгу Великого Яшули. В ней написано, что туркмены пять тысяч лет назад изобрели колесо и тем самым избавились от необходимости таскать тяжести на спине. Я тогда сказала себе: Джемал, если ты не найдешь ключ, равный тому колесу, то тяжелый груз тебя раздавит. Надо найти, если я дочь такого умелого народа!

Абдулла удивился. Джемал никогда так не говорила, не вела себя. Не ее слова, не ее жесты. В каждом движении, в интонации — вычурность, манерность, как у... Как у поэтессы, пользующейся особой благосклонностью Великого Яшули! Как будто она писала слова для Джемал.

Похоже, догадались и сидящие в зале. Абдулла, полуобернувшись, видел, как они обменивались многозначительными улыбками.

— Проще простого создать образ обычной женщины, — продолжала Джемал. — Тысяч баб рожают тысячи детей. Но какой же из тебя артист, если ты не сумеешь найти отличие от них той женщины, которая родила великого человека! Она — единственная! Допустим, она не осознавала своего величия, но я-то знаю! Я знаю это как женщина, как артистка, как свободный гражданин независимой страны Великого Яшули! Зная это, я не вправе создавать образ обычной бабы! Мне нужно было найти необыкновенный ключ, которым я смогла бы открыть душу необыкновенной женщины. Нашла! Тот волшебный ключ отныне в моих руках, он в моем сердце! Гнусное преступление готовилось против великого сына великой женщины. И я должна поставить себя на место великой матери, должна ее глазами смотреть на трагедию. Вот найденный мною драгоценный ключ! Есть ли у меня право сказать, что Бог поручил мне родить сына, достойного стать Сердаром? Есть! Последние события сорвали завесу с глаз матери. Покушаясь на жизнь моего великого сына, негодяи и выродки рода человеческого хотели убить бессмертную материнскую душу нашего народа. Не смогли и не смогут! Аллах отворотил моего сына от дороги смерти. Но ни у кого нет права на беспечность. В момент истины я обращаюсь к вам от имени великой матери: если бы террористам удалось достичь своих целей, на страну обрушились бы неисчислимые беды. Вот почему нам надо вырвать корни терроризма, как крестьянин вырывает сорняки!

Джемал сошла с трибуны. Абдулле показалось, что на ее взволнованном лице проступает некое недоумение: вероятно, она ожидала аплодисментов, но зал почему-то молчал. Небось, прикидывал: говорила Джемал своими словами или произнесла монолог, написанный поэтессой.

— Слово просит Нурыев Абдулла! — объявил Таган.

Знать бы точно, чего ожидают от него люди. Наверно, чтоб проклял Гулназара, отрекся от родства. Сельби просто уволили из школы, не требовали отречься от брата. Потому что Сельби — рядовая учительница. А он — заслуженный артист, его проклятия и публичное отречение от родства прозвучат куда громче. Абдулла физически чувствовал жадный интерес десятков и десятков людей, своих коллег, товарищей. И винить их нельзя: они не жаждут крови, не хотят его страданий. Просто давно уже привыкли смотреть на чужую беду как на занимательное зрелище.

Абдулла не пошел к столу, тем более к трибуне. Поднялся и заговорил с места.

— Как и все добрые люди, я ненавижу террористов. Как с ними бороться? На это есть спецслужбы. Но и у нас есть свои способы. В народе говорят: «Насри в колодец —

и сразу прославишься». Презрение и насмешка — вот как люди клеймят выродков. Терроризм — это всегда нападение сзади, удар исподтишка. Так всегда действуют трусы. Пусть знают, что мы считаем их мелкими трусами!

Абдулла сел. В зале повисло удивленное молчание. Ожидали другого. И потому все смотрели на Тагана.

— Это все что ты хотел сказать? — спросил Таган с непонятной полуулыбкой.

Абдулла снова поднялся с места:

— Во всем присоединяюсь к предыдущим ораторам.

И сел.

— Что ж, и на том спасибо, — проговорил Таган, отвернувшись от него. Получилось, будто он обращается к Хаджибиби. — Недавно один актер, зайдя ко мне в кабинет, предложил поставить «Гамлета»...

— Можешь сказать, что тем актером был я! — выкрикнул Абдулла с места.

— Я спросил: что за необходимость в «Гамлете» именно сегодня?.. Абдулла ответил: «Хочу во всеуслышание поставить вопрос «Быть иль не быть?»

— Верно, — подтвердил Абдулла.

— Перед кем он намерен ставить гамлетовский вопрос? — повернулся Таган к залу. — Когда актера или режиссера охватывает творческое вдохновение, ему не до раздумий, ему хочется подняться в небо, хочется летать. Но мы-то люди трезвые, мы спрашиваем — перед кем и зачем? Ответь, Абдулла.

— Считай, что птичка сожгла крылья и разбилась о землю.

Слова Абдуллы вызвали оживление, раздались смешки.

— Сейчас не время для смеха, — мгновенно отреагировал Таган. — Последние события вынуждают нас уделить внимание разговору о Гамлете. «Быть иль не быть?» звучит красиво, театральный мир давно словно заворожен. Но если посмотреть трезво, это глубоко личный вопрос, имеющий отношение только к самому Гамлету, его личная трагедия. Король убил отца Гамлета, мать затащил в постель. Гамлет — человек, дорожащий честью. Он решил: или отомщу за отца, или умру. Но мы-то в честь чего должны задавать во всеуслышание гамлетовский вопрос? Слава богу, отцов наших не убивают, матерей не умыкают, притеснений нет, страна мирная. Во имя чего, во имя каких таких целей с нашей сцены на всю страну должен прозвучать гамлетовский вопрос? Если может кто объяснить, скажите!

Таган смотрел на Абдуллу, умело выдерживая театральную паузу. Нет, он все же неплохой актер, умеет, когда надо. Абдулла сам удивлялся своему спокойствию, посторонним мыслям. Он уже чувствовал, как знакомый холод струится по рукам и ногам, откинулся на спинку кресла, вытянул ноги — впал в ожидание покоя. Совсем как в детстве. Тогда в ауле повсюду валялись мешки с удобрениями для хлопка. В самую сильную жару мальчишки высыпали мешок азота в канаву с водой — и сидели, опустив туда ноги. Вода мгновенно охлаждалась, живительная прохлада охватывала голые ноги, поднималась вверх. Блаженство детства. Голос Тагана отдалялся, слова еще долетали до слуха, но до сознания не доходили. Энергия страха включает удивительный механизм, который не зависит от воли, подумал Абдулла. Человек не властен над своим телом, слабость оберегает его от окружающих. Но и человек как бы лелеет свою слабость, дающую что-то вроде наслаждения.

Звучный женский голос вернул его к действительности. Он прислушался, открыл глаза — на трибуне Хаджибиби.

— В основе каждого указа Великого Яшули, ради которого я готова принести себя в жертву, лежит глубокая философия, — вещала актриса. — Возьмем для примера его указы о проведении различных праздников. Праздник Навруз, праздник скакуна, праздник воды, праздник добрососедства, праздник цветов, праздник собаки, праздник овцы, праздник дыни... Каждый из них берет свое начало в национальных обычаях и в национальном гордом характере туркмен. Навруз — вечная жизнь пшеничного зерна, взрастающего в земле. Конь — гордость, вода — чистота, добрососедство — согласие, цветы — непорочность души, собака — преданность, дыня — сладость, овца — терпение...

Ум и образование Хаджибиби ни у кого не вызывают сомнений в их не то чтобы полном отсутствии, но в очень малом присутствии... — усмехнулся про себя Абдулла. Любой человек в этом зале даст голову на отсечение, что Хаджибиби читает текст, кем-то написанный для нее. Значит, собрание готовилось серьезно...

— Подлые и коварные людишки хотели лишить наш народ этих замечательных праздников! — перешла на крик Хаджибиби. — Возблагодарим же Всевышнего за то, что он своим покровительством сохранил нашего Великого Яшули, и принесем Господу нашу ритуальную народную жертву!

Она развязала уголок на конце большого платка, достала кусочек лепешки, откусила сама, передала Тагану и начала читать суру из Корана.

Таким образом она завершила собрание-митинг. И люди потянулись к выходу, сохраняя притом некоторую степенность. Спешно покидать зал после молитвы было бы неприлично.

Только Джемал вышла стремительно. Возможно, не желая столкнуться с Абдуллой. Напрасно тревожилась. Он и не думал. Если встанешь с кресла, разобьется тонкий ледок, охлаждающий тело, дающий свежесть в душной атмосфере. Пусть все уходят — он один останется в тишине и покое. Но так не бывает, обязательно помешает кто-нибудь. Будто догадываясь, как хорошо сейчас Абдулле, и желая ему досадить.

Остался зачем-то Таган. Да, у него есть уважительная причина — выяснять отношения. Только и он не в силах разрушить покой Абдуллы.

— Ты вляпался в дерьмо! — закричал Таган. — Я дал тебе возможность очиститься. Ты не послушал — пеняй теперь на себя. Спасешься — живи тысячу лет! А нет — винить некого! Понял?

И удалился торжественным шагом благородного даже в гневе человека. Таган, твой единственный зритель я — Абдулла!

Он понял, что хохочет, когда смех отозвался эхом в пустом зале.

17. Мама, я же не мерзну?

— Мы превратились в заложников, — сказала Сельби и заплакала. — Оказывается, и без веревки можно связать человека по рукам и ногам.

Она, не предупредив Абдуллу, поехала навестить Хыдыра, на прежнее место службы. Договорилась с проводником, но он, узнав в последний момент, что у нее нет паспорта, поднял крик на весь перрон: «Ты что, хочешь, чтоб я из-за тебя в тюрьму сел?»

Сельби в панике бежала с вокзала и направилась на автостанцию. Пробралась в автобус, села подальше. Перед отправкой у пассажиров проверили паспорта и ее высадили. Тогда Сельби поймала частника, но их на выезде из города остановили на контрольно-пропускном пункте.

«Кто такая? Почему без документов? Куда едешь? Назови имя-фамилию, занесем в список».

Оказывается, им приказано составлять списки людей без документов!

«Позвонили из Теджена, сказали, брат при смерти, у меня перед глазами все поплыло, не до паспорта было, — нашла что сказать Сельби. — Отпустите, ребятки, мне ведь еще до дома добираться надо, за паспортом...»

«Ну ладно, тетка, иди», — сказал старший наряда.

— Это что такое? — плакала Сельби. — Я же не за границу собралась бежать, я в своей стране к сыну поехала!

Абдулла разозлился, даже хотел отругать Сельби: разве можно в их положении, без паспортов, куда-то ехать? Сидеть надо тише воды и ниже травы! Не привлекать внимания!

Но нельзя ругать мать, рвущуюся узнать о сыне. Ведь им только сказали, что Хыдыра вернули в часть. А где он на самом деле?

Но кому сейчас дело до женщины Сельби и до солдатика Хыдыра? Песчинки. По стране идет розыск. На улицах фотографии людей, объявленных террористами. Проверяют машины, после захода солнца не выпускают из города и не впускают в город автобусы. Такой же режим введен в областных и районных центрах. Запрещен ввоз зарубежных газет, журналов, книг. Ходят слухи, что снимут спутниковые антенны. Российские телеканалы позволяют себе что-то говорить о нарушениях прав человека в Туркмении. А некоторые западные радиостанции утверждают: покушения на Великого Яшули на самом-то деле и не было, оно инсценировано, чтобы дать ему повод для расправы с неугодными.

Страна закрыта на замок. Введены визы на въезд и выезд в Россию. Первой пострадала Женя. Они уже продали квартиру, купили билеты, через десять дней должны были вылететь в Москву. А тут — оформляйте визы, ждите месяц.

Женя пришла к ним, чуть не плачет.

— Мой папа скажет Великому Яшули, и вас тут же выпустят, — вступила в разговор взрослых Айдым. — Папа будет играть роль отца нашего Сердара. А сын ведь не может ослушаться отца. Отец надерет ему уши, поставит в угол, как даст ему по шее! Ваш Великий Яшули сразу взмолится: «Ой, папочка, не бей, сделаю все, что ты скажешь!» Мой папа закричит на него: «Вместе с семьей тети Жени я отправляю в Москву и свою дочку!» А Великий Яшули прикажет своим солдатам: «Сию же минуту принесите билет для Айдым!»

— Айдым, прекрати! — сказала Сельби.

— Вашему Великому Яшули можно писать сказки, а мне нельзя? В своей дурацкой книге он врет, что туркмены созданы из света, а вы повторяете, как попугаи. Повторять слова дурака — двойная дурость.

— Айдым, хватит!

— Я не буду жить среди дураков, что хотите делайте — не буду!

— Замолчи!

— Не буду, не буду! Повешусь, отравлюсь, не буду!

Женя и Сельби, обняв Айдым, заплакали в полный голос.

На следующий день, когда Абдулла был в театре, пришли участковый полицейский и человек в штатском. Он показал Сельби удостоверение Комитета национальной безопасности. Сельби сразу же подумала, что ее сфотографировали на выезде из города, на контрольно-пропускном пункте и теперь пришли выяснять. Подозвала к себе Айдым, надеясь, что не посмеют арестовать мать на глазах у дочери. Решила, что откажется идти, пока не сообщит мужу. Но участковый и кээнбэшник всего лишь попросили показать документы на квартиру, переписали данные в блокнот. Бумаги, слава богу, вернули. Спросили, от какой организации получена квартира, затем прошлись по комнатам, осмотрели кухню.

Рассказывая Абдулле, Сельби не могла унять дрожи.

— Заберут квартиру, выбросят на улицу. У Гулназара отобрали новый дом, все имущество, машину, даже детскую одежду не оставили. У старшего сына тоже дом отобрали, у обоих сыновей конфисковали машины. Правда, невесток после трех дней тюрьмы выпустили. От мужей никаких известий, словно в колодец провалились.

— Пока из театра не выгонят — из квартиры не выселят, — сказал Абдулла.

— А если выгонят?

— Там видно будет.

— Вообще-то твое нынешнее положение не лучше, чем если б выгнали.

Это верно. После собрания Абдулла словно перестал существовать для театра. Есть он, нет его — никто не замечает. Даже солдаты у служебного входа не обращают на него внимания.

Как выяснилось, не всех актеров, не занятых в спектакле о детстве Великого Яшули, отправили в отпуска. Только половину. Вторую половину отрядили на благоус-

тройство улиц. К ним хотел присоединиться и Абдулла. Пошел к заместителю директора, начал полушутливо:

— Ну что я тут брожу, как пес, потерявший хозяина! Толку от меня нет, лучше пойду помогать народу на улице, а?

Но зам его тона не принял.

— Не я решаю твои вопросы! — замахал руками чуть ли не испуганно. — Не я решаю!

А в спину сказал:

— Не помогающий себе — не поможет и другим. Даже тем, кто на улице...

Абдулла вспомнил Нурмухаммеда из спектакля «Джан». Этого человека послала местная власть, чтобы он оказал помощь народу джан. Однако он заранее вынес приговор. И открыто объявил его. От бедствий и нужды сердце народа омертвело. Народ лишился разума, дошел до состояния юродивого, готов продать все. В нем уже нет стремления к счастью, к нормальной жизни. Этих людей следует завести куда-нибудь в пески или горы и там бросить, пусть блуждают, не находя дороги, пока не вымрут и их трупы не смешаются с землей. Никто о них и не вспомнит.

Посланец Москвы Назар Чагатаев вступает с ним в бой и спасает народ джан.

Овез, прощаясь с Абдуллой у железной дороги, у невидимой границы поселка, говорил: «Советской власти больше нет. И кто теперь спасет этот народ?»

В один из дней, когда Абдулла, бесцельно прослонявшись по театру, после обеда направился домой, рядом с ним остановилась машина. Из нее вышел молодой человек неприметной наружности и вежливо обратился:

— Извините, яшули, вы — Абдулла Нурыев?

Конечно, не столько спрашивал, сколько утверждал. Если на улице останавливают, то можно не спрашивать. Абдулла уже знал эту манеру, нисколько не удивился и не испугался. Отметил: вежливо говорит, как положено со старшим по возрасту, даже приятно.

Через полчаса Абдуллу ввели в кабинет главного следователя Айдогдыева. Тот был в форме. Белый китель, большая зеленая звезда на золотых погонах, на отворотах кителя — золотые листья. На груди как орден — золотой знак с профилем Великого Яшули. Такие носят только высшие чиновники. У военных золотые листья на петлицах носят генералы, но есть ли в прокуратуре генеральские звания, Абдулла не знал.

Айдогдыев поднял голову и посмотрел на него мутными глазами. Абдулла с интересом отметил, что страха нет, а есть лишь спокойствие.

Айдогдыев протянул два листка:

— Прочитай это. Внимательно читай.

И углубился в свои бумаги.

По-прежнему удивляясь своему спокойствию, Абдулла чуть откинулся на стуле, начал читать текст, отпечатанный на компьютере.

«Я, Нурыев Абдулла, работаю в Туркменском государственном театре драмы. Жена — Нурыева Сельби, учительница с высшим образованием, сын — Нурыев Хыдыр, на военной службе, дочь — Нурыева Айдым, учащаяся школы.

Считаю своим гражданским долгом перед Родиной сказать в качестве свидетеля нижеследующее. На протяжении длительного времени я близко знал Гулназара Гараева, бывшего сотрудника Комитета национальной безопасности, одного из главных членов группы террористов, участвовавших в покушении на бесценную жизнь нашего Великого Яшули, являющегося спасителем и гордостью туркменского народа. Этот коварный террорист — двоюродный брат моей жены, их матери — сестры. Гараев Гулназар человек высокомерный, чванливый, грубый, с низкой культурой, готовый ради корысти на любое преступление. Он умеет искусно сеять раздор между людьми, я могу показать это на собственном примере. Моего сына взяли на военную службу, отправили в Марыйскую область. Там солдат, в том числе моего сына, использовали в качестве батраков в личном хозяйстве алчного, нечистого подлеца по

имени Реджеп Шаллы. За малейшее проявление недовольства их избивали, издевались. Хуже того, их приучили глотать и курить терьяк. Потом я узнал, что люди полковника Гулназара Гараева действовали по указанию своего начальника Шамурада Мухаммедова — никто, кроме него, не мог бы позволить им распоряжаться в войсковых частях. Их цель была — превратить солдат в безвольных, зависимых от них людей. Они добились своего. На примере сына могу сказать — его воля оказалась в руках Гараева, мой сын даже разговаривать со мной не захотел. Гараев добился его перевода в центральный военный госпиталь и здесь уже приучил к самому страшному наркотику — героину. Ранним утром в день, определенный для осуществления террористического акта, он явился в госпиталь за Хыдыром. Теперь с полным основанием можно утверждать, что он хотел использовать моего сына в преступных замыслах покушения на нашего Великого Яшули. Но Хыдыра не оказалось на месте — он не пожелал присоединяться к преступникам и спрятался.

О том, что подлые враги нации давно готовили преступление против народа, говорит такой факт. Ранней весной, по дороге домой из театра, я встретил Гулназара Гараева, рассказал, что коллектив театра планирует спектакль о детских годах Великого Яшули. А Гараев сказал: «Ты лучше уклонись от участия в этом спектакле, а то потом опозорят». Я удивился, но промолчал. Теперь смысл его слов стал ясен.

Свидетельствуя достоверность моих показаний, хочу, чтобы Гулназар Гараев и его сообщники-террористы были подвергнуты самому суровому наказанию.

Нурыев Абдулла, актер Туркменского государственного театра драмы, заслуженный артист Туркменистана».

Абдулле казалось, что он набрал полные руки дерьма. И готовится бросить в лицо чистого человека. Оказывается, клеветать на кого-то страшнее и более мерзко, чем самому быть оклеветанным. Прочитай он такое о себе — не так бы поразился.

Абдулла спокойно положил бумагу на край стола.

— Прочитал.

Айдогдыеву понравилось выражение покоя на лице Абдуллы.

— Пусть останется у тебя, — довольно улыбнулся он. — Дома перепиши текст от руки, но ничего не добавляй и не убавляй. Жена, разумеется, не должна ни видеть, ни знать. Принесешь, когда скажем. А если хочешь, переписывай прямо сейчас, здесь.

Кончики пальцев пробрал холод, начал подниматься вверх. Абдулла взял бумагу.

— В ней много чего написано, но большая часть из этого мне неизвестна.

— Нам известно, этого достаточно,— сказал Айдогдыев, не поднимая головы.

— Я же не говорил, что Гулназар знает Реджепа Шаллу.

— Мы говорим — значит, так оно и есть. Как в поговорке: «Рыбак рыбака видит издалека», да?

— Гулназар не интересуется театром, о театре вообще разговора не заводит.

— Ты же в показаниях не говоришь, что он интересовался театром. Он говорил о будущем, о том, что... в общем, ясно. И не бойся, тебя с этими показаниями на суд не вызовут. Твои показания — мелочь по сравнению с размахом дела. Мы должны выявить детали, показывающие моральный облик негодяев. Твои показания нужны для истории. Но и для сегодняшнего дня от них есть польза. Например, облегчишь участь сына.

— Мы ждем известий от Хыдыра, а их нет.

— Будут. Пусть твоя жена не мечется в поисках. Сын в надежном месте, жив и здоров, несет службу.

Айдогдыев приподнялся, давая понять, что разговор окончен.

Через час Абдулла вернулся домой.

— Сказали, чтоб написал заявление? — спросила Сельби.

Абдулла вздрогнул: откуда она знает?

— Так и знала — «по собственному желанию», сволочи!

— А, вот ты о чем говоришь! — с облегчением рассмеялся Абдулла. — Нет, заявление на отпуск велели написать. Чтоб лежал дома и отдыхал.

Сельби не поверила.

У изголовья сидит женщина. Лица не видно — на голове черная накидка с белой каймой по краям. Абдулла вначале испугался, а потом понял — мама! Мама положила ему на лоб ладонь. Ладонь горячая, а лоб ледяной, и кажется, что поднимается пар.

— Ты весь холодный, сынок, — говорит мать, но в голосе ее совсем нет тревоги. — Это осложнение от кори. Многие дети, твои друзья, умерли от кори, а ты выжил. Холод тебя спас.

Мать взяла из миски кусок льда и положила на лоб Абдулле.

По телу растекся покой, словно от тепла.

— Мама, я же не мерзну?

Увидев, что мать исчезла, Абдулла вздрогнул и проснулся. Холод из тела не ушел, лоб — ледяной. Но ощущение тепла и покоя осталось — нет ни страха, ни опасений. Мама ведь сказала, что холод однажды спас его от смерти. Лишь не успела объяснить, как это было. А почему сейчас холодеет, он сам знает. О том, что существует энергия страха, говорил Белли Назар. Наверное, где-то вычитал, а сам не испытал, иначе бы обязательно рассказал, как она охватывает тело, словно лед. А вот Абдулла испытал и теперь знает. Когда страх пронизывает человека, ничто не может ему противостоять. Однако Абдулла открыл закон — если не сопротивляться, страх сам покидает тело и душу. Как будто там ему больше делать нечего. Ведь муравьи-термиты не задерживаются в том месте, где уже все выели, сожрали. Так и тело Абдуллы — пустое. Подобно брошенному дому. Есть крыша, стены, окна, нормальные двери, только людей нет. Разве что сова еще не поселилась в нем и не кричит ночами. Так и Абдулла — живет, дышит, ест, спит, двигается.

А может, он как верблюд? Каким образом верблюд не просто переносит палящий зной пустыни, но и обходится без воды? Абдулла был поражен, когда узнал из книг, что организм верблюда превращает в воду жир, накопленный в горбу. Один килограмм жира равен одному литру воды. Верблюд меняет температуру тела в зависимости от температуры воздуха, не потеет — и таким образом сохраняет воду в организме.

С чем еще можно сравнить холод, охватывающий его? Он остужает кровь, избавляет от необдуманных поступков, спровоцированных вспышками гнева. Это энергия страха.

А энергия, от которой исходит тепло, есть не что иное, как чувство, порождающее решительные действия, желание отомстить, сохранить достоинство. При этом человек не пытается анализировать реальное положение, отрицает разум. Но, видимо, до тех пор, пока не столкнется с настоящей, реальной опасностью. Стоило Абдулле столкнуться с ней, как энергия страха взяла верх.

Сумеет ли он объяснить Сельби эту истину? И надо ли объяснять?

18. Спектакль во дворце

Дворец Великого Яшули под семью куполами, зал на три тысячи мест.

Абдулла спокоен, смотрит на экран телевизора с любопытством, даже улыбается.

А Сельби дрожит, трясется. Она почему-то вообразила, что их судьба решается сейчас, в зале, на чрезвычайном заседании Народного Собрания.

По Ашхабаду прошел слух, что на большом экране покажут террористов, прямое включение будет. Сельби с утра сама не в себе — увидит Гулназара, убедится, что он жив! Еще она вбила в голову, что, увидев и услышав ее брата, Великий Яшули тут же убедится в его невиновности и прикажет освободить. Это — страх. Страх заставляет человека верить в несусветное, делает человека наивным, слабым. С какой стати Великий Яшули озаботится судьбой Гулназара? Разумеется, надеяться на лучшее приятней, чем искать ответ на этот вопрос.

На сцене — три стола. Два — обычные. А тот, что между ними, посередине, — украшен цветами. Позади него — золоченое шахское кресло Великого Яшули. Три тысячи человек ждут в зале. В первых рядах — старейшины в тюбетейках. Впрочем, тюбетейки на всех — на женщинах, на мужчинах, на молодых, на старых. Правда, женщины с накинутыми на плечи платками портят стройные солдатские ряды тюбетеечников. Никто не догадался отсадить их отдельно. И чтобы платки были одинаковыми. А если рассадить их через один с мужчинами, получится как туркменская национальная вышивка — гайма.

В каждом ряду — три-четыре человека с государственными флагами. Они знают, когда поднимать флаги, размахивать ими.

Среди привычных лозунгов взгляд Абдуллы тотчас выхватил новый, незнакомый. На зеленой материи белыми буквами: «Мы требуем, чтобы Великий Яшули стал пожизненным главой государства!»

Телевизионная камера то и дело останавливается на нем.

Затем переходит на другие: «Террористам — смерть!» «Разрушителям страны — смерть!»

— Какой ужас! — запричитала Сельби. — Это они сами написали? Не велел же написать это Великий Яшули?

Когда Президент вышел на сцену — в зале словно бомба взорвалась. Три тысячи человек вскочили с мест и закричали. Над головами взметнулись сотни флагов и транспарантов. Казалось, каждый кричал, что хотел и мог — слов не разобрать, лишь общий гул голосов вздымался к высоким сводам. Постепенно, как по команде невидимых дирижеров, выделился четкий ритм, и вскоре в едином порыве зал начал скандировать: «Террористам — смерть!», «Разрушителям страны — смерть!» Раз десять прокричали так три тысячи человек, затем что-то сбилось, смешалось на краткий миг, но тут же выправилось, и раздавалось только: «Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!»

— Боже мой! Боже мой! — схватилась за голову Сельби и выбежала на кухню.

Началось чрезвычайное заседание Народного Собрания.

Сельби вернулась в комнату. Села тихо-тихо, словно боялась нарушить тишину, установившуюся во дворце.

На сцене появился муфтий в белой чалме. Его с двух сторон сопровождали почтенный яшули в огромной папахе, в халате, и женщина, закутанная в белый платок.

— Наша паломница вышла! — обрадовался Абдулла. — Хаджибиби! Сейчас будет читать монолог, который в театре читала. Она и муфтию не даст ходу, вместо него молитву заведет... Вот тебе актеры нового театра!

Абдулла засмеялся, захлопал в ладоши.

Но Хаджибиби слова не дали. Она и аксакал в папахе встали по бокам и чуть позади муфтия, видимо, символизируя единство народа и веры. А муфтий заговорил... Великий Яшули — праведник земли туркменской, на него пал взор Всевышнего... Возблагодарим же Господа и родителей нашего вождя, давших миру и туркменскому народу такого человека — средоточие мудрости и святости...

Из первых рядов зала вышли почтенные старцы-яшули и окружили кресло Президента.

— Тяжелая артиллерия пошла! — предупредил Абдулла. — Сельби, затыкай уши, а то оглохнешь от грохота пушек. Они далеко стреляют, как бы до нас не достали.

— Тебе что, смешно?! — разозлилась Сельби.

— Каждый делает, что умеет, страх можно уничтожить смехом.

Один из старцев начал зычным голосом: «Ты наш глава государства, глава народа. Мы, аксакалы, посовещавшись, пришли к единому мнению: ты должен стать пожизненным Довлетбаши — главой государства! Люди! — обратился он к залу. — Мы не хотим произносить чуждое для нас слово «президент», мы говорим — Довлетбаши!»

Зал в едином порыве встал с мест и разразился бурными, продолжительными аплодисментами. Когда они утихли, Великий Яшули сказал простым яшули, аксакалам: «Я не могу и не буду нарушать Конституцию, которую создал для народа!»

«Не нарушай! Храни Бог от нарушений! — возразили старейшины. — Мы не говорим тебе: «Нарушай!» Мы говорим: «Исправь!» Исправь для народа. Этого хочет и требует от тебя народ».

— Вот это да! — захлопал в ладоши Абдулла. — Хороший сценарий, хорошая режиссура, хорошая игра!

На сцене разгорелся спор.

«Назначив тебя вечным Довлетбаши, народ дает ответ всем врагам!» — говорили старейшины.

«Я уважаю и преклоняюсь перед обычаями и голосом моего народа, — отвечал им Президент. — Но для изменения Конституции надо провести всенародный референдум, иначе не бывает...»

«Мы таких слов не понимаем и понимать не хотим! — возразили яшули. — Разве голос народа хуже какого-то там референдума? Разве не так?» — крикнул в зал старейшина с зычным голосом.

Три тысячи человек откликнулись: «Так! Так! Так!»

— Посмотри на торжество туркменской демократии, Сельби! Президента загнали в угол!

Великий Яшули, засмеявшись, сказал: «Раз народ говорит, тут уже никуда не денешься...»

Народное Собрание тут же провозгласило его вечным и пожизненным Довлетбаши.

— Закончился первый акт спектакля, — сказал Абдулла. — Но антракта вроде не предвидится... Начинается второй акт!

— Я не понимаю, чему ты смеешься? Вообще — где подцепил эту дурацкую заразу: смеяться надо всем?

— В этой стране не надо быть человеком — лучше быть верблюдом. Разве ты видела, чтобы верблюд чего-то боялся? Жует колючку и больше ничего не требует. В пустыне колючки много! Только люди не понимают, что верблюд смеется над ними. Людям известно девяносто девять имен Бога, на самом деле их должно быть сто. Сотое имя знал лишь двоюродный брат пророка Мухаммеда — великий халиф Али, но не сказал людям, прошептал его на ухо своему верблюду. А от верблюда мы его не услышим. Потому что он умнее людей, он знает: поделись этим именем с нами — мы тут же его испохабим, как предыдущие девяносто девять. Пусть хотя бы одно имя Бога не попадет на язык бесчестных, — думает верблюд. Ты только посмотри на этот зал, у каждого ведь на языке Бог. Ну как же не смеяться?!

Для предоставления Народному Собранию предварительных сведений о попытке покушения на жизнь Довлетбаши на трибуну поднялся главный следователь Генеральной прокуратуры Айдогдыев.

— Это он! — сказала Сельби. — Страшный человек, чтоб иссохло его лицо!

— А ты не смотри — только слушай.

Айдогдыев сообщил, что на пути следования Президента был установлен заряд мощностью десять килограммов тротила.

— Ну да, — усмехнулся Абдулла. — А раньше говорили — пятьдесят. Но Би-би-си им объяснило, что от пятидесяти килограммов тротила во всей округе ни одной живой души не останется.

Айдогдыев также сказал, что в заговоре принимали участие и изобличены граждане трех иностранных государств.

— А раньше говорили, что семи. Наверно, в Туркмении не нашлось семи иностранцев, все разбежались...

Тут их показали на большом экране, иностранных террористов — и Абдулла прикусил язык. Он сразу же узнал своих сокамерников — турка-дальнобойщика и русского-кээнбэшника.

Все они сидели.

— Почему они сидят? — вдруг спросила Сельби.

Абдулла уже открыл рот, чтобы объяснить: «Избиты так, что ноги не держат» — и снова прикусил язык.

На экране появились лица одиннадцати туркменских организаторов и исполнителей покушения. Похожие друг на друга как близнецы, высохшие, как скрученная веревка, они смотрели в одну точку, будто каждого оглушили ударом по голове и затем насильно открыли глаза.

— Гулназар! — вскрикнула в ужасе Сельби, увидев брата среди заморенных, сгорбившихся людей. — Почему он такой? Что они с ним сделали?

Абдулла мог бы сказать... да не может... Не из страха, что дал подписку. Зачем причинять ей лишние страдания?

Крупным планом возникло лицо главного заговорщика — Шамурада Мухаммедова. Тяжело дышащий, с остановившимся тусклым взглядом, обросший бородой человек лишь отдаленно и пугающе напоминал того красивого, импозантного вице-премьера, по которому вздыхали у телевизоров многие зрелые женщины...

Голос Айдогдыева за кадром перечислял его преступления — кража государственных средств, превышение служебных полномочий, участие в международном наркосиндикате, создание штурмовых групп в комитете национальной безопасности и в армии с целью свержения государственной власти... Он предал Великого Яшули, который пытался сделать из него достойного сына и слугу великого туркменского народа.

И тут Шамурад Мухаммедов заговорил.

С экрана.

«Земляки, — сказал он. — Я недостоин называться туркменом и мусульманином. Я — ишак, взбесившийся с жиру, решившийся лягнуть своего хозяина. Если б мои подлые намерения даже увенчались успехом, народ отомстил бы мне, оставив меня на перекрестке семи дорог, забил бы меня камнями до смерти. Я — человек, потерявший разум и все человеческие чувства из-за долгого употребления наркотиков. Мои подельники-подонки — такие же наркоманы».

В зале воцарилась тяжелая тишина. То ли задумались люди о судьбе, которая возносит человека до титула официального преемника Великого Яшули, а затем бросает в тюремную камеру, то ли возникли сомнения в добровольности признания и раскаяния...

Участники высокого собрания один за другим выходили к трибуне и требовали от президента Указа о введении смертной казни. Некоторые заявили, что не сойдут со сцены, пока он не подпишет Указ прямо сейчас, немедленно.

— Смотри Сельби, какой интересный спектакль начинается...

— Прекрати! Люди с ума сошли, смерти требуют, а ты называешь это спектаклем...

— В том-то и дело. Выступление стариков, как ты понимаешь, предусмотрено сценарием. А тут, похоже, явная самодеятельность.

«Дорогие мои, — обратился к залу Великий Яшули. — Вопрос о наказании будет решать суд».

«Суд-пуд, нечего время тянуть! — кричали «дорогие». — Нам достаточно и твоей справедливости!»

«Но я ведь только в прошлом году ввел мораторий на смертную казнь», — возражал Довлетбаши.

«Смерть! Только смерть!» — дали ему отпор из зала.

«Душой наделил человека Аллах, и забрать ее может только Аллах. Не упрашивайте меня...» — возражал Великий Яшули.

«Не бойся, за твои прегрешения перед Аллахом мы ответим, всем народом!» — кричали ему из зала.

— Точно, вышли из сценария! — заключил Абдулла, поворачиваясь к жене.

Сельби не отрывалась от экрана. А там и вправду разворачивалось действо, не

предусмотренное планом. Во всяком случае, Великий Яшули пребывал в замешательстве и обратился к муфтию. Тот, по лицу видно, искал выход из положения, ответ, удовлетворяющий обе стороны. Посмотрел в зал, посмотрел на Президента, пожевал губами и, наконец, изрек: «Полномочия, которыми наделил нашего справедливого падишаха великий Аллах, безграничны».

Зал, словно получив новый заряд, стал скандировать: «Смерть! Смерть!»

К краю сцены подскочила Хаджибиби и, простирая руки в зал, закричала: «Забросать камнями! Выдернуть с корнями злое семя! Выкорчевать весь род!»

Зал отозвался ревом: «Смерть! Смерть! Смерть!»

Сельби выключила телевизор и рухнула на диван:

— Как же ты можешь смотреть это?!

В ней еще сильна энергия сопротивления, думал Абдулла, глядя в ее бледное лицо с черными кругами под глазами. И пока противостояние не закончится, пока энергия страха не победит, Сельби вряд ли успокоится.

Он достал два листка с компьютерным текстом и протянул ей.

— Читай.

И ушел на кухню, не в силах смотреть на ее закаменевшее лицо. Каким бы трусом ни был Абдулла, но подписать бумагу тайком от жены — это слишком. Айдогдыев не может требовать от него такого!

Когда вернулся в комнату, встретил твердый взгляд Сельби.

— Сам писал?

— Да что ты говоришь? Думаешь, я способен?!

— Ты же не сказал, где был, — спокойно сказала Сельби. — Не сказал, что с тобой там делали. Может, тебе вкололи какую-нибудь дрянь, которая лишает воли и рассудка. Ты же видел и слышал, что говорил сейчас Шамурад Мухаммедов. Думаешь, по своей воле?

— Дали, чтобы я своей рукой переписал. Айдогдыев ждет...

— Ты ему сказал, что это клевета?

— Сказал. Но мое слово не в счет, им безразлично, что я говорю.

Сельби замолчала. Вновь просмотрела текст.

— Если подпишешь, это поможет Хыдыру?

— Не знаю. А ты как думаешь? Думаешь, поможет?

— Почему ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю!? Для судьбы Гулназара эта бумага ничего не значит. Там все решено. Нам надо спасать Хыдыра...

— Выходит, ты согласна, чтобы я подписал?

— Почему ты хочешь, чтобы я все решала?

И Сельби, не выдержав своего спокойствия, зарыдала.

Пока Сельби сама не почувствует, как человека охватывает холод страха и дает покой, на словах объяснять бесполезно. Как ей объяснить, что он, Абдулла, становится верблюдом? Сельби еще сопротивляется. Но со временем, наверно, перестанет и поймет, как приятно чувство равнодушия. На нее обрушилось много горя — арестовали брата, неизвестна судьба сына. Со временем поймет, что не она одна такая, и тогда осознает вековую мудрость или покорность туркмен: «Если такова доля всех, то принимай ее как общий праздник».

19. Новая история

— Вас в списках нет, — сказал капитан в зеленом берете. Площадь перед театром пустынна. Ни души. По периметру расхаживают полицейские и люди в штатском. У входа — солдаты в зеленых беретах. В руках капитана из президентской службы охраны бумажные листки, сколотые скрепкой — список лиц, допускаемых на просмотр.

Абдулла подошел, представился.

Капитан пролистал бумаги:

— Вас в списке нет.

Абдулла ожидал нечто подобное. Первый спектакль — только для Великого Яшули со свитой — руководством республики в полном составе.

Вообще-то слово «спектакль» в эти месяцы никто не употреблял. В туркменском языке оно означает также «игра», включая актерскую игру, а еще хуже — «развлечение», «забава».

Какая может быть игра, тем более развлечение с забавой, когда речь идет о появлении на свет Великого Вождя?

Поэтому слово «спектакль» в театральном обиходе и на будущих афишах заменили словами «новая история».

Абдулла пошел домой.

Повернись его жизнь иначе на каком-то неизвестном перекрестке, он сейчас бы выступал на сцене перед самим Великим Яшули в роли... его отца.

Кто написал «новую историю» — неведомо: правильно сказала Джемал — тут не может быть автора, как нет его у государственного гимна. Что в монологе отца Великого Яшули, никто не знает, кроме актеров, занятых в... спектакле. Ни слова не просочилось, военная тайна, тем более от Абдуллы — человека, которого почти нет.

На другой день с утра в театре царило лихорадочное оживление. Спектакль понравился Великому Яшули! Он два раза прослезился!

Утром десять человек пригласили во дворец на встречу с Президентом. Они первыми получат награды. А следом золотой дождь прольется и на весь театр, на весь коллектив!

И вдруг — сразу после обеда — смех и разговоры смолкли.

Абдуллу отвела в закуток народная артистка Туркмении по прозвищу Телефон. Разумеется, так называли ее за глаза. Она все на свете знала и слышала. А потом честно распространяла по миру, никого не оставляя в неведении. Даже Абдуллу, хотя понимала, что общаться с ним не рекомендуется. Тем более — наедине.

Дородная, со следами былой красоты на лице, она лучилась еле скрываемой радостью.

— Задница! — сказала она. — В наши дни все решает задница! И плохое, и хорошее!

— Что ты несешь? — удивился Абдулла.

— Как ты думаешь, в чем явилась на прием к Президенту твоя желанная? — наслаждалась Телефон. — Ну, угадай с трех раз?

— Откуда мне знать! Ты будешь говорить или нет?

— В джинсах она явилась! Решила задницей повертеть перед Великим Яшули, представляешь?

— Д-да... — только и пробормотал Абдулла.

— Ладно бы просто официальный прием и такой позор. Но тут же совсем другое! Нет, ты подумай: только что Великий Яшули видел на сцене свою мать — обычную туркменскую женщину довоенных лет. Ну, не в парандже, понятно, но все-таки... И тут заявляется к нему во дворец сучка с жопой в джинсах — вот, мол, вам ваша мать! Выгнал! Всех выгнал! И телевидение выгнал. Они снимать должны были, для истории, на всю страну потом показывать. А вслед Великий Яшули сказал: «Видать, образы, которые вы создаете на сцене, на вас самих не оказывают влияния». Всем сказал, обращаясь к Тагану, сказал! Теперь он будет знать, кому давать роли!

— И что теперь?

— Шиш теперь. Всему театру твоя баба свинью подложила.

Утром следующего дня еще в фойе театра его встретила Телефон. Не скрывала, что ждет именно Абдуллу. В руках держала главную газету страны.

— Читай, твоя обожаемая опять отличилась!

На первой странице напечатано: «Открытое письмо нашему высокочтимому Великому Яшули, пожизненному главе нашего государства».

Абдулле сделалось нехорошо. Открытые письма у него, по старой памяти советских перестроечных лет, перекликались с бунтом, обличением, яростной правдой в глаза. Не в Туркменистане, конечно, здесь и тогда была тишь и благодать. Но московские газеты и журналы читали и обсуждали все...

— Плюнь мне в глаза, если это не Таган подсуетился!— тараторила Телефон. — Понял, что кресло под ним зашаталось!

Абдулла опомнился. Имя Тагана сразу же вернуло к реальности. Таган пишет открытое письмо! Очень смешно.

Устроившись здесь же, в кресле, Абдулла приступил к чтению.

«Это письмо — выражение благодарности, которая переполняет мое сердце. Мне выпала честь создать на сцене образ Вашей дорогой матери. Когда я узнала об этом, над моей головой воспарила птица счастья. О такой роли ни одна артистка в мире не может мечтать ни во сне, ни наяву! А потом навалился груз ответственности: предстать перед народом в образе Святой Матери! В силах ли артист, обычный человек, подняться на такую высоту? Я поняла, что не выдержу, если не найду глубоко идейного решения творческой задачи. И оно пришло. Я поняла, что в этом образе мне надо слить воедино священную любовь Великой Матери к своему ребенку с безграничной любовью к Вам туркменского народа. Разумеется, нам всем, творческому коллективу Туркменского драматического театра, можно лишь мечтать о создании образа, который соответствовал бы нравственной чистоте и жизненным принципам Великой Матери. Сказывается разлагающее влияние советской эпохи, отрицавшей национальные традиции народа. За наши оплошности мы просим у Вас и народа прощения и понимания.

Наше театральное искусство вступило сейчас на светлый путь, предначертанный в Вашем учении о национальной культуре. Сегодня мы очищаемся от наследия прошлого, мешающего достижению национального своеобразия. Даю слово, что не буду жалеть своих сил и способностей, чтобы быть достойной оказанной мне высокой чести.

Джемал Ишанова,

заслуженная артистка Государственного драматического театра».

— Ну как? — спросила Телефон.

Абдулла пожал плечами. Что тут можно сказать? Когда нет идеала и веры, никто ничего не стесняется. Есть общий обман, называемый идеей. А где обман — там интересы. Каждый живет своими интересами. В конце концов, Джемал тут ни при чем. Таган спасает себя. И в то же время спасает спектакль, театр.

20. Грустный монолог

Абдулла остановился перед дверью Джемал в нерешительности — а вдруг у нее кто-то есть? Раз уж дело дошло до покаяний и просьб о прощении на страницах главной газеты, наверняка ведутся какие-нибудь разговоры-переговоры. Абдулла прислушался. Вроде бы тихо.

Дверь открыла Джемал. Вид домашний — сиреневый шелковый халат, волосы распущены по плечам.

— Это ты?

Удивилась. Лицо добродушное, ни страха, ни тревоги.

— Не ожидала?

— Тебя точно не ожидала. Проходи.

— Одна, что ли, была?

— Да одна, я все время одна, ты разве не знаешь про это?! А сегодня Гуллеру к

сестре отправила, сказала: «Забери эту девушку, хоть на какое-то время избавь меня от ее ворчания!»

Низенький столик у дивана заставлен бутылками с вином и шампанским, фужерами, рюмками. В воздухе чувствуется сигаретный дым, хотя кондиционер работает исправно — Абдуллу овеяло прохладой.

— Хороший человек приходит к накрытому столу! — засмеялась Джемал и опустилась на диван. — Садись в кресло, на диване тебе нельзя, а то опять уснешь!

Теперь Абдулла разглядел, что щеки ее порозовели — наверно, от шампанского. Да и в голосе не только добродушие, но и некоторая взвинченность. В ее положении у любого нервы на взводе. Не позавидуешь.

На краю столика лежала газета. Та самая, сегодняшняя.

— Читал, наверно? — спросила Джемал, заметив его взгляд.

— Читал.

— И как? Наверно, решил: «Ну и шустрая эта Джемал, кто б мог подумать?»

— Да ничего я не решил, с чего ты взяла...

— Только что с этого кресла встал Таган. И это вино он принес. Сказал, что обмываем мое письмо в газете. Давай и мы с тобой обмоем. Бери чистый фужер! И наливай побольше, ты не юный джигит, который на смотрины пришел, а я — не девушка, которая собирается за тебя замуж. Пей, пока сюда муллы не пришли — тогда будем сидеть над молитвенником, трезвехонькие. В паранджах, а не в джинсах.

Абдулла пытался что-то вставить, но Джемал перебила:

— Послушай, сегодня я буду говорить, ладно? Хорошо, что ты пришел, больше-то мне и сказать некому. Думаешь, если бы мы поженились — жили бы счастливо? Да, если бы ты был чиновником, а я как баба сидела дома. Я верю, что так нам бы жилось хорошо. Предполагать и верить легко — никакой ответственности. Но браки между двумя артистами?! Для меня это все равно что браки между однополыми — меня тошнит, когда об этом по телевизору говорят, из какой-нибудь заграницы... Артисты! Два человека, которые всю жизнь заучивают и говорят со сцены чужие слова! Нет, это ужас! Ты хороший человек, пусть и судьба твоя будет такой же хорошей, как ты сам, — других слов у меня нет, Абдулла-джан!

Джемал стукнула фужером по фужеру Абдуллы, залпом выпила, откинулась на спинку дивана и уставилась в потолок. Глаза заблестели слезами.

— Заплакать хочется. Мы, бедные артисты, стараемся изо всех сил, выжимая слезы на сцене. И слезы наши такие же дешевые, как мы сами. Могла бы сейчас поплакать, на душе стало бы легче. Разве не должна выходить грязь из души вместе со слезами? «Эй, мир распутный, провались, разрушься!» Три века назад Махтумкули говорил так, не прося свободы слова. А нам сначала кто-то должен дать ее, а мы потом будем смелыми, да? Этот народ недостоин Махтумкули. Вместо того чтобы честно признаться, что мы трусы, мы говорим, что у нас нет свободы слова. Представь, что нам разрешают — и что будет? Так я тебе скажу — мы друг друга начнем обливать грязью днем и ночью! Упаси нас бог от свободы трусливых!

Абдулла аж вздрогнул. Свобода трусливых! Как будто Белли Назар отчеканил.

— Помнишь, как мы смотрели спектакли и фильмы из Москвы, ждали оттуда газет и журналов? Страдали, что у нас гласность не такая, как в Москве. Туркмены и тогда были ущербными, а сейчас они кто — инвалиды?

Таган приходил обмыть победу! Хорошо хоть прощения просил, что от моего имени статейку тиснул и меня даже не предупредил. Говорит, ни секунды времени не было, говорит, он спас меня! Говорит, вот-вот появится Указ Великого Яшули о присвоении мне звания народной артистки...

Волосы закрывали лицо Джемал. Как русалка. Абдулле казалось, что Джемал сидит на берегу стремительной реки, а его уносит течение, кружит в водоворотах, и берег Джемал тоже кружится и отдаляется.

— Указ! — истерически засмеялась Джемал. — После того как Он опозорил меня на весь свет! Сейчас каждая шалава в Ашхабаде перемывает мне косточки! Радуются, кричат друг дружке: «Ты слышала, эту сучку Джемал выкинули из дворца,

как последнюю шлюху!» И потом читают мое письмо в газете и хохочут! А потом еще и Указ будет!

Абдулла жалел ее, понимал, в какие невыносимые тиски страха и уязвленного самолюбия она попала. И выхода — никакого. Но жалость была не горячей, а холодноватой, отстраненной.

— А я ведь придумала реплику в спектакле, от которой Он заплакал. Ее уже в текст включили!

— Да? — заинтересовался Абдулла.

— В сцену, где я рожаю. Таган хорошо придумал, поставил длинную радиозапись с криками, с плачем ребенка. А потом вдруг возникла пауза. И я закричала первое, что пришло в голову: «Народ, слушай! Этот ребенок родился на ваше счастье!» Тут зал поднялся и повернулся к Великому Яшули. А он тоже встал и заплакал, искренно заплакал. Я подумала тогда: эти слезы смягчат его сердце. Он не знал матери, не знал материнской ласки, и поймет, что рожден матерью, и в сердце его проснется доброта. Проснулась! После этого обошелся со мной, как с прислугой-подстилкой! Из-за каких-то поганых джинсов! Ты понимаешь, не мог потом передать, чтобы мне и Тагану сделали замечание. Нет, на глазах у всех унизил и растоптал! И кого? Актрисочку беззащитную! Бабу жалкую... И это — Великий Вождь?! Великий воин и предводитель исконно воинственных храбрых туркменов?! Тьфу! Ты знаешь ведь, у меня хахаль есть, на таможне работает. Он однажды, по пьянке, рассказывал, как там над бабами-челночницами издеваются, деньги у них вымогают. Одну женщину заподозрили, что она в желудке пакетики с героином провозит. Заставили воду пить литрами, чтобы рвоту вызвать. Героина не оказалось, а бедняжка там же, на таможне, умерла от разрыва сердца. Я ему кричу: «Вы бы ловили тех, кто героин тоннами провозит!», а он сидит, улыбается. И знаешь, как зовут его? Мердан! Храбрый! А его заместитель — Арслан! Лев! Вот какие у нас туркменские мужчины — баб унижать львы! Наливай!

Абдулла налил себе вина. Джемал — шампанского.

— Теперь представь: после того как он унизил и растоптал меня на глазах у всех, опозорил на всю республику, я должна выходить на сцену и рожать его, и обращаться к залу с той самой репликой: «Народ, слушай! Этот ребенок родился на ваше счастье!» Ее уже включили в текст пьесы. Попробуй теперь не произнести! Не зря говорят, что сердце сироты превращается в камень. Землю можно поливать, а камень — бесполезно...

— Дело не в его сиротстве, — не удержался Абдулла.

— Правильно! — засмеялась Джемал. — Дело в туркменах. Ты б послушал моего хахаля-таможенника... Ты его не видел?

— Нет.

— И хорошо, что не видел, радуйся. Пусть его морду видит тот, кто обмывает покойников...

— Так что ж ты с ним связалась? — снова не удержался Абдулла.

— А! — махнула рукой Джемал. — Так вот, послушал бы ты, как этот гордый туркмен мечтает получить звание «Заслуженный таможенник Туркменистана»! И это называется мужики! У народа, который свою жалкость и униженность прикрывает легендами из прошлого, нет будущего. Ладно, свари мне кофе, а я в душ схожу. А то сгорю, лопну от злости.

Абдулла, манипулируя на кухне кофемолкой и двумя джезвами, меланхолически думал о том, что артистка Джемал, произносящая на собрании-митинге написанную речь, и Джемал, обливающая презрением народ и Главного Мужчину-Туркмена, — один и тот же человек. Он этому не удивляется, и она не удивляется, и никто этому не удивляется. И раньше так было. Конечно, не до такой степени личного идиотизма-лизоблюдства и не до такой степени откровенности, но было.

Джемал вышла из ванной. Волосы собрала и обмотала полотенцем.

Расположились пить кофе.

— Дурой я была, могла десять лет назад, даже пять лет назад перебраться в

Москву, за хорошего человека замуж выйти. Он несколько лет ждал, каждую неделю звонил, а недавно позвонил из Парижа... Женился на француженке. Где мы и где Париж, да?.. Теперь слушай меня серьезно, Абдулла. Сам видишь, нас заперли, как в каменном мешке. В Россию по визам ездить... Если мы сейчас поставим «Три сестры», и я буду рыдать: «В Москву! В Москву! В Москву!», нас посадят как диссидентов. Короче, связали арканом — и с каждым днем он будет затягиваться все туже. За это надо спасибо сказать подонкам-террористам. Они ведь оттуда же, из советских партийных чиновников. Сидели бы тихо по домам, наворованного им хватило бы на три жизни! Так нет — поднялись. Зачем? Разве не они, подонки, вознесли Великого Яшули! И я уверена: победи они сейчас, еще больше стали бы грабить народ, еще кого-нибудь из своих объявили бы богом... Так слушай, Абдулла, все знают, что тебя пытают из-за Гулназара. Я говорю, что у меня на сердце, в другой раз, может, не скажу. Ни Гулназар, ни те, кто выше, не стоят того, чтобы ты из-за них подвергал себя опасности. Скажи все, что тебе велят, спасай свою голову и свою семью. Не думай, что народ завтра оценит твой поступок. У этого народа память такая же короткая, насколько узок его лоб. Понял?

Абдулла пил кофе, удобно устроившись в кресле.

— У тебя много положительной энергии.

— Что это значит? Что хочешь сказать?

— Положительная — значит, положительная, как положительный герой. Человек, имеющий честь. Нет, лучше сказать — гордость. Честь не у всех людей бывает, у рабов нет чести, а гордость есть даже у них.

— Ну что ты умничаешь, Абдулла, говори яснее.

— Наверно, каждый из нас немножко террорист. В том смысле, что почти каждому хочется совершить поступок. В каждом из нас, хоть и в ничтожном количестве, имеется положительная энергия. Она требует выхода, борьбы, поступка. Поэтому в нашей стране таким людям жить трудно. Конечно, намерение иметь — одно, а совершить поступок — другое.... Голодный человек мечтает о роскошном пире, о вкусной еде. Он знает, что не получит, но душа просит. И таким образом еще больше усиливает чувство голода. Унижение подобно голоду. Голоду души. Человек знает, что не сможет отомстить тому, кто его унизил, но мечтает. Представляет, как он это сделает, перебирает варианты, и в то же время осознает их несбыточность — и от этого страдает еще сильнее.

Джемал усмехнулась:

— Еще немного — и ты сделаешь меня террористкой.

— Нет, мы не способны... Мы со временем окончательно лишимся гордости — нет у нас другого выхода. Твоя положительная энергия будет слабеть, и вместе с ней будет уходить тепло из тела. И заменяться холодом. Появится непонятное спокойствие, оно чем-то похоже на покой человека, очнувшегося от обморока. Ни усталости не будет, ни страха. Страх — это отрицательная энергия, она уничтожит положительную энергию — и наступит равновесие, спокойствие. Твое тело превратится в живой труп.

— Абдулла, ты бредишь?

— Надо призывать на помощь Аллаха. Пока мы это осознаем — мы еще живы. Если помнишь, в народе «джан» не осталось никого, кто помнил о боге. Они потеряли веру в помощь свыше. В помощь со стороны. Быть может, началось с того, что не понимали боли ближнего своего. Когда барану перерезают горло и горячая кровь льется в яму — рядом спокойно жует другой баран. Которому сейчас тоже перережут горло. Однако он даже не пытается бежать, потому что животное. Мы пока еще осознаем опасность, вспоминаем бога. Но если не будет конца безысходности, люди устанут обращаться к богу. Уйдет надежда на бога — уйдет и страх перед богом. Мы и раньше-то не имели привычки бояться бога. Вот страх, внушаемый государством, — реальность. Даже удивительно, что сегодня мы еще пытаемся следовать путем Аллаха. Читаем намаз, соблюдаем пост, ходим в мечеть. Человек так устроен, что из каждого поступка стремится извлечь, получить выгоду. А с богом торговля невозможна и бесполезна. Если нет выгоды, то стоит ли нагружать себя лишними заботами?

Таким образом мы придем к тому, что забудем и бога. Мы уже безучастны к боли и участи ближнего. Теперь на очереди бог...

— Ты и вправду бредишь, — Джемал положила ладонь на лоб Абдуллы. — Вроде бы температуры нет. Почему ты говоришь, закрыв глаза?

— Тело охватывает холод.

— Может, плед на тебя накинуть? Или выключить кондиционер?

— Нет, я не мерзну. Холод — это совсем другое.

— Ох, не пугай меня снова, Абдулла! Сможешь сам подняться?

— Силы вроде еще остались, — пошутил Абдулла.

— И на том спасибо. Встань, пожалуйста, а то опять заснешь — и что я тогда делать буду?

Джемал даже попыталась помочь. Абдулла поспешно поднялся. Джемал улыбнулась.

— Не поняла, это игра была или на самом деле. Ну ладно, посидели, поговорили. Не обижайся, Абдулла-джан, возвращайся домой.

— Пойду, конечно, ухожу...

Когда Абдулла дошел до порога, Джемал остановила его. Глаза ее были полны слез.

— Обними меня, что ли.

Абдулла обнял ее, ничего не испытывая. Джемал, почувствовав это, отодвинулась и, как и в прошлый раз, поцеловала его в лоб.

21. Последнее свидание

Сельби с утра исчезает из дома и появляется лишь вечером. Абдулла догадывался — ищет Хыдыра, ходит по знакомым, спрашивает, стучится во все двери: в военкомат, в милицию, звонит в Мары. Там, наверно, ей отвечают, что сын благополучно служит, но сейчас в командировке и приехать к нему нельзя. Абдулла не раз порывался сказать, что бесполезно, не надо стараться и терзаться. Да разве можно говорить такое матери! И потом, она же вцепится в него: «Почему ты уверен, что бесполезно? Что ты знаешь? Откуда знаешь? Почему не говоришь?» Его же и сделает виноватым. У кого болит душа — проклянет и самого Аллаха. Абдулла ведь тоже ничего не знает — просто предполагает, пришел к выводу, что Хыдыр где-то в тюрьме, держат как заложника. Лишь обмолвись — и Сельби помчится в прокуратуру, будет пробиваться к Айдогдыеву. Что она ему скажет? Ничем не поможет Хыдыру — только хуже сделает.

Абдулла понимал, что он тоже заложник. Айдогдыев ждет, когда Абдулла принесет подписанный донос. Да он все что угодно подпишет — лишь бы помогло сыну. Так, небось, и думает Айдогдыев. Так думают и Сельби, и Джемал. Подпиши — и все, Гулназару ничем не поможешь, надо спасать Хыдыра. Однако, по некоторым признакам, Айдогдыев ведет более сложную игру. Абдулла был уверен, что от Хыдыра требуют показаний против его дяди Гулназара. А Хыдыр молчит. Потому и необходим донос за подписью Абдуллы — тогда у следователя появится козырь против Хыдыра: вот видишь, твой отец во всем признался! И Хыдыр окончательно возненавидит трусливого отца.

Абдулла гордился сыном и радовался, что может ему помочь — не подпишет никаких бумаг. Пусть Айдогдыев лопнет от злости!

Вечером Абдулла беседовал с соседом на скамейке у подъезда, когда подбежал один из мальчишек, игравших на пустыре в футбол:

— Дядя Абдулла, вас дядя военный зовет! Их машина вон там, за детским садиком!

Абдулла сразу понял, что это не люди Айдогдыева. Если «военный» — значит, плохие вести о Хыдыре.

С тех пор как сына забрали в армию, он жил в постоянном подсознательном страхе. Как и все родители. Просил прощения у Аллаха: «Это всего лишь тревога,

порожденная смутными временами. Не осуждай, что думаю о плохом, мы рабы твои, Аллах!» А недавно вычитал в книге средневекового иранского мыслителя, что дурные предчувствия на самом деле — неосознанная мудрость души. Они постоянно готовят человека к внезапной беде, играют роль амортизатора, ослабляющего силу удара судьбы. Абдулла снова почувствовал, что руки начинают холодеть.

На асфальтовой площадке перед детским садом стояла машина «Скорой помощи». Шагах в десяти-пятнадцати перед ней нервно прохаживался военный, куря сигарету. Абдулла почувствовал, как привычный холод поднимается от ног.

Военный, выбросив сигарету, двинулся навстречу Абдулле. Фуражка с огромным полем, на погонах одна звезда — майор.

— Салам алейкум, Абдулла-ага, — почтительно протянул обе руки. — Вы ведь отец Хыдыра Нурыева?

— Да, я отец Хыдыра.

Майор опустил голову. Ему лет тридцать. Следовательно, дослужился до чинов уже в новой армии, офицер Великого Яшули.

— Абдулла-ага, мне трудно говорить, поверьте...

— Я вижу, не с хорошими вестями пришел, говори.

— Да... Я — заместитель командира полка по воспитательной работе. Произошел несчастный случай...

— Хыдыра ранили?

— Раненого можно вылечить, отвезли бы в госпиталь, надеялись бы, что выживет. Но, Абдулла-ага, случилось хуже... Ночью в казарме началась драка, кого-то порезали, а с Хыдыром хуже...

Майор замолчал, пряча лицо под большой фуражкой.

— Он в машине?

— Да, Абдулла-ага, в машине.

Майор повернулся и что-то крикнул. Раскрылись задние двери, вышли сидящие там солдаты. Абдулла поднялся в машину и сел на скамью. Перед ним на носилках, покрытых белой тканью, лежало тело сына. «Что с Сельби будет?» — подумал он, удивляясь своему спокойствию.

Лицо Хыдыра сейчас похоже на череп. Щеки провалились, подбородок и нос заострились. На нем новенькая солдатская гимнастерка, еще со складками. Пуговицы застегнуты до самого подбородка. Пальцы тонкие, ногти отросшие, под ногтями грязь. «Разве солдат не проверяют? Не заставляют следить за собой?»

От тела Хыдыра веяло ощутимым холодом. Из морга привезли.

— Когда это произошло?

Вопрос застал майора врасплох. А что, он думал — не спросят?

— Вчера ночью, Абдулла-ага, сутки назад. Я не ухожу домой до отбоя. Все спокойно было. Драка началась после отбоя, ночью. Такого в нашем полку никогда не было, словно взбесились. Но виноват, конечно, я. Значит, там раньше что-то случилось, возникло противостояние двух группировок. А я не уследил, не предупредил... Меня накажут, вы не беспокойтесь, следователь сейчас разбирается...

Услышав слово «следователь», Абдулла представил Айдогдыева. Он, должно быть, знает, что привезли труп Хыдыра, может, он и приказал. На глаза попался новенький значок, приколотый к новой гимнастерке — профиль Великого Яшули. Как на мундире Айдогдыева. Абдулла снял его, отдал майору.

— Мертвым это не надо.

Майор молча положил значок в карман.

От дома мчалась Сельби — как черная буря горя и безумия. Она уже знала. Набросилась на майора, вцепилась в погоны, рвала их с силой страшной, оторвала один погон и начала хлестать им майора по лицу:

— Убили!!! Кровь выпили! Убийцы!!! Где вы его держали, где убили?!

Абдулла пытался остановить ее.

Сельби налетела на него:

— Ты жалкий трус! Нет теперь Хыдыра! Все заботы унес с собой — вместе с жизнью! Ребенок мой!..

И медленно опустилась у его ног, потеряв сознание. В «скорой помощи» был и

врач. Он выскочил, будто готов был, с сумкой в руках и еще с чем-то, что оказалось резиновой подушкой. Приподнял голову Сельби, уложил на резиновую подушку, достал вату и флакон — острый запах нашатырного спирта заполнил горячий воздух. Из глаз Абдуллы выкатились единственная слеза. Если он сейчас зарыдает, Сельби не поверит, скажет, что пытается хоть слезами оправдать себя. Даже верблюд, потерявший своего верблюжонка, рыдает, а он — не мог.

Хыдыра похоронили на следующий день к вечеру. Пришли соседи, ученики Сельби, друзья Хыдыра. Почтенные яшули из мечети встали на джаназу — поминальную молитву. Из войсковой части никто не прибыл. Не было и учителей из школы Сельби, людей из театра. Когда подняли на плечи гроб и двинулись к кладбищу, Абдулла увидел в стороне плачущую Джемал.

На третий день, на поминки, с утра перед домом, в тени деревьев, расстелили кошмы, расставили блюда с угощением. До обеда мулла читал молитвы. Народу было много — те же соседи из окрестных домов, родственники, приехавшие из ближних аулов. Внимание Абдуллы привлек незнакомый мужчина средних лет. На поминки стекаются разные люди, часто посторонние, с улицы — посочувствовать горю. Просят муллу прочитать молитву и уходят. Незнакомец сидел долго, ни с кем не вступал в беседы. Когда к нему обращались, коротко отвечал что-то и замолкал, изредка бросая взгляды на Абдуллу. Когда Абдулла встал, чтобы размять ноги, мужчина последовал за ним. Еще раз поздоровался и прошел за угол, кивнув.

— Еще раз примите мои соболезнования, пусть душа несчастного покоится с миром — сказал он. — Я вас знаю, но вы не знаете меня, и знать не обязательно. Я в курсе событий и решил, что не успокоюсь, если не расскажу вам... Ваш сын умер не в воинской части, его туда доставили из тюрьмы, уже мертвым... Простите, я уйду, не надо, чтобы меня с вами видели...

Возможно, он не хотел расспросов: кто он, откуда ему известно, кто его послал? Только Абдулла не удивился его словам — уже знал, почти знал. Люди, обмывавшие тело Хыдыра, говорили, что на нем живого места нет. Но они считали, что это следы солдатской драки. Абдулла был уверен — следы пыток. Требовали подписать бумагу на Гулназара.

Два дня прошли в молчании. Айдым сразу же ушла к Оле и Жене. Сельби лежала на диване, безучастная ко всему. Младший брат Абдуллы, приехавший из аула и оставшийся с ними, ходил по дому тихой тенью.

И звонок телефона был тихий.

— Товарищ Нурыев?

— Да.

— Это из Генеральной прокуратуры. Мы посылаем за вами машину, выходите на перекресток с той стороны дома.

— Хорошо, — ответил Абдулла и положил трубку.

Он тщательно оделся, выбрав старую, удобную куртку, старые брюки, старую рубашку.

Вошел брат.

— Ты куда-то собрался?

— Да, по делам надо. С одним человеком увидеться, о Хыдыре поговорить.

— Понятно.

— Сельби, если спросит, так и скажи точно: с одним человеком, — с нажимом повторил он.

Если он не вернется, Сельби догадается, кто этот «один человек».

Его завели в прокуратуру со служебного входа. В этот раз охранники в зеленых беретах обыскивали с особой тщательностью: вывернули карманы, общупали, разве что в трусы не залезли. Отобрали металлическую расческу. Затем повели по знакомому коридору, но не к Айдогдыеву, а в кабинет напротив. Там сидел тот самый Прилизанный, который выпускал его из тюрьмы, отбирал подписку о неразглашении:

«Нарушишь — сгниешь здесь. Никто, кроме тебя, не должен знать, где ты был, что видел, что слышал. И ты сам забудь, понял?! Забудь — и останешься целым».

Прилизанный отодвинул бумаги и, словно зритель, с нетерпением ожидавший зрелища, посмотрел на Абдуллу и улыбнулся. Улыбки ему показалось мало — он засмеялся.

— А, артист явился?

Тоже примета нынешних времен. Раньше в Туркмении слово «артист» всегда произносили с уважением — оно было символом иной жизни, красивой, неизвестной, недоступной. Наконец, символом новой культуры, которую туркмены начали постигать.

Как только утвердилась власть Великого Яшули, его чиновники стали выговаривать слово «артист» с невыразимым презрением превосходства. Как будто мстили за свое вчерашнее почитание, когда их, чуть грамотных, заставляли уважать культуру.

— Привели, — коротко ответил Абдулла.

— Пришлось привести, раз сам не явился...

Он снова засмеялся. По прикидкам Абдуллы, Прилизанный лет на десять младше его и должен обращаться к нему почтительно, называя яшули. Однако этот мерзавчик из новой породы, что называет яшули не старших по возрасту, а старших по должности и званию.

— Сделал, что велели? — спросил он.

— Не сделал.

— Как это не сделал? Сколько тебе дней надо, чтоб одну бумагу подписать!

— Надо кое-что добавить в нее.

— Говори, что хочешь добавить.

— Это я скажу Айдогдыеву.

— Сказать мне — все равно что сказать Айдогдыеву.

— Извини, не могу... — развел руками Абдулла.

— У Айдогдыева есть заботы поважнее, его Великий Яшули спрашивает о делах.

— Знаю.

— Как это — знаешь? Откуда знаешь?

— Ты же сам сказал.

Прилизанный разозлился, побагровел, даже галстук рванул, словно тугой узел его душил.

— Думаешь, что-то важное скажешь? Что ты можешь сказать важного?

— Думаю, — ответил Абдулла. — Могу. Но только ответственному начальнику Айдогдыеву.

— Говори мне. В прокуратуре не бывает не ответственных.

— Не сомневаюсь, что ты ответственный. Но мое дело касается самого Айдогдыева. Он должен узнать первым.

— Надо же, какие настырные артисты пошли. Ты, между прочим, не в театр пришел.

— А что театр? Теперь просто так и в театр не зайдешь, в дверях стоят солдаты.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Хочу сказать, что в нашей независимой стране нет не ответственных учреждений.

— Ну хватит. Говори, что надо тебе, и давай бумаги.

— Бумаги я получил от Айдогдыева — ему и передам. Или ты хочешь опередить своего начальника? Может, под начальника копаешь?

— Выйди в коридор! — заорал Прилизанный.

Минут пять Абдулла простоял в коридоре под надзором охранника. Прилизанный показался в дверях, подал знак охраннику и пошел вперед. Солдат толкнул Абдуллу: «Давай за товарищем следователем». Тоже «тыкает» старшему. Мальчишка ведь, только из аула... и где то аульное исконное воспитание? Дай крохотную властишку малограмотному — и все...

Так они втроем — следователь впереди, солдат замыкающим — прошли по коридору, поднялись по лестнице на второй этаж и через высокие резные двери вошли в приемную. За столом у окна, перед компьютером, красивая молодая женщи-

на. Она рукой показала на дверь, обитую черной кожей. Следователь осторожно открыл ее, просунул голову, затем, сам не входя, пропустил Абдуллу.

Айдогдыев в гражданской одежде сидел за большим столом. Видимо, это его главный кабинет. А тот, что на первом этаже, рабочий, для допросов.

Здесь вдоль стен стояли столы с приставленными стульями. И все равно на оставшемся пространстве можно устраивать танцы.

Над головой Айдогдыева — портрет Великого Яшули во весь рост, в форме Главнокомандующего, с саблей. Рукоять украшена бриллиантами. Большая фуражка с непомерно высокой тульей, как у гитлеровских офицеров в советских фильмах.

Абдулла разглядывал огромный кабинет, не обращая внимания на Айдогдыева. А когда перевел взгляд, отметил, что Айдогдыев смотрит на него озадаченно, наморщив лоб. Абдулла подошел поближе.

— Значит, хочешь добавить кое-что к показаниям? — спросил Айдогдыев несколько поспешно, словно утратил инициативу и сейчас возвращал ее в свои руки.

— Хочу. Но решил не делать это без вашего ведома.

— Правильно решил, одобряю.

— Знаю, что одобрите. Все в этой стране должно быть с вашего ведома. С вашего ведома заявляю, что вы убили моего сына Нурыева Хыдыра, и хочу дать показания, что вы террорист.

Абдулла заметил, как загорелись всегда мутные глаза Айдогдыева. Он аж голову пригнул, будто не мог толком разглядеть, кто стоит перед ним.

Должно быть, убедившись, что перед ним и вправду стоит Нурыев Абдулла, поднял голову и рассмеялся.

— Не боишься говорить мне такое?

— Если скажу, что не боюсь, вы не поверите. Если скажу, что боюсь, тогда непонятно, с чего вдруг осмелился... Тут все надо объяснять.

Абдулла сел за приставной столик и повернулся к Айдогдыеву.

— Пески начинались на окраине нашего аула. За песками — большой арык. Мы, мальчишки, купались в нем. Раскаленный песок обжигал подошвы. И мы, спасаясь, становились на разбросанную по пескам верблюжью колючку. Тоже больно, но не так, как на горячем песке. Рядом была колхозная верблюжья ферма, верблюды смотрели на нас спокойно — их копытам обжигающий песок нипочем. Наверно, верблюды не всегда были верблюдами и только с веками, постоянно ступая по пескам, нарастили такие нечувствительные копыта. Приходили купаться на арык и взрослые мужчины из аула, дехкане. Они ходили по песку спокойно — их грубые черные ноги были покрыты толстой коркой, которую и кожей назвать нельзя. Ну как копыта...

Айдогдыев слушал с непонятным, жадным вниманием. Не то действительно ему интересно, не то развлекается, как кошка с мышкой. Мол, болтай-болтай, бегай-бегай...

— Ты хочешь сказать, что терпелив как верблюд? — спроси он.

— Не только хочу, а говорю! Можете так и называть меня — верблюд!

Айдогдыев усмехнулся:

— Ты не верблюд — ты самый глупый из людей. Человек, имеющий хоть немного ума, бросился бы спасать своего сына. Попробуй забрать у верблюда его верблюжонка!

— Ну вот, — сказал Абдулла. — Сам признался, что убил Хыдыра.

— Речь не о том, кто убил, а о том, кого убили. От такого глупца, как ты, мог родиться только глупец. Не всем дано понимать логику управления людьми, государством. У каждого свой уровень. Да и не надо, чтобы все понимали. Главное — чтоб не задумывались. Твоя глупость в том, что ты задумываешься и не хочешь понимать. Если б понял, жил бы по привычке. Для привычки не обязателен ум, не стоит ломать голову, прислушивайся к тому, что говорят, — и живи себе спокойно. Мудрость и терпение верблюда — в его способности жить по привычке.

— Что-то вроде манкурта, да?

— Слово не имеет значения. Как ни назови, суть не меняется. Мы добиваемся и добьемся, чтобы каждый гражданин в нашей независимой стране жил с привычной верой в справедливое правление Великого Яшули. Народ спокоен и счастлив. А тебе

что надо? Ты и сам не знаешь. Ты ни то ни се. У тебя был простейший выбор — спасти или погубить сына. И что ты сделал? И кто ты после этого?

— У нашего спокойного и счастливого народа есть притча о том, как даже верблюд взбунтовался.

— Ну-ну, — подбодрил Айдогдыев. — Кстати, притчи и сказки запрещены Народным Собранием. И я тебя слушаю исключительно как следователь, ведущий допрос свидетеля.

Айдогдыев расплылся в улыбке, довольный своим остроумием.

— Верблюд все терпел от злого и глупого хозяина — побои, голод, холод, тяжелую работу. Но когда хозяин велел ему следовать за ишаком — тут и верблюд не выдержал унижения и набросился на человека. Хозяин побежал, но где спрячешься в пустыне! К счастью, увидел заброшенный, иссохший колодец и прыгнул в него. Однако и верблюд придумал, что делать. Он лег на колодец брюхом, закрыв воздух. Я ж говорю, хозяин его был не просто злой, но и очень глупый. Задыхаясь от злости и нехватки воздуха, он выхватил нож и распорол верблюду брюхо. Не подумав, что мертвый верблюд не сможет сойти с колодца. К тому же внутренности, кишки, потроха несчастного животного вывалились человеку на голову. Так они и умерли — верблюд, смертью своей отомстив за унижения всей жизни, и хозяин — с головы до ног в ... Надо уточнять, в чем?

Айдогдыев открыл ящик стола. Правой рукой, не глядя, достал оттуда что-то и привычным жестом положил в боковой карман пиджака. Абдулла решил, что это пистолет и стал ждать развития событий с азартом зрителя.

Айдогдыев медленно поднялся, словно охотник, боящийся спугнуть добычу, обошел стол и остановился в двух шагах от Абдуллы.

— Бумага с собой? — спросил он. За его спокойным голосом Абдулла почувствовал тревогу.

— У меня, — ответил он. — Такой документ надо в рамочку — и на стену повесить!

— Давай ее сюда.

— А зачем вам бумага без подписи?

— Тебе она тоже не к чему.

Абдулла вытащил сложенные листки, разгладил сгибы, затем плюнул на верхний лист и протянул Айдогдыеву.

Но тот схватил его за руку и резко вывернул ее за спину. Абдулла ударился лицом о стол. Айдогдыев тут же вывернул ему вторую руку. На пол упало что-то тяжелое. Пистолет, — подумал Абдулла. — Зачем он пистолет уронил? Он лежал лицом на полированном столе и видел, как в кабинет ворвался прилизанный следователь, а за ним — охранники в зеленых беретах. На руках Абдуллы сомкнулись наручники. Его поставили на ноги — и он увидел на полу возле себя большой нож с рукояткой из белой кости.

Айдогдыев, поправив отвороты пиджака, сел на место.

— Товарищ генерал, это нож! Он с ножом напал на вас! — закричал прилизанный.

Абдулла все понял и захохотал:

— Да ты у нас большой режиссер, Айдогдыев! Все вы тут — большие артисты!

Следователь поднял нож.

— Это теракт, товарищ генерал! Разрешите открыть уголовное дело?

С тех пор заслуженный артист республики Абдулла Нурыев исчез. Никто о нем ничего не знает. Вначале его официально обвинили в покушении на жизнь главного следователя. Но суда не было. Ходили слухи, будто бы убили в тюрьме. Согласно решению Народного Собрания, тела террористов — изменников Родины родственникам не выдаются и места их захоронений не разглашаются.

Январь 2004 — июнь 2005